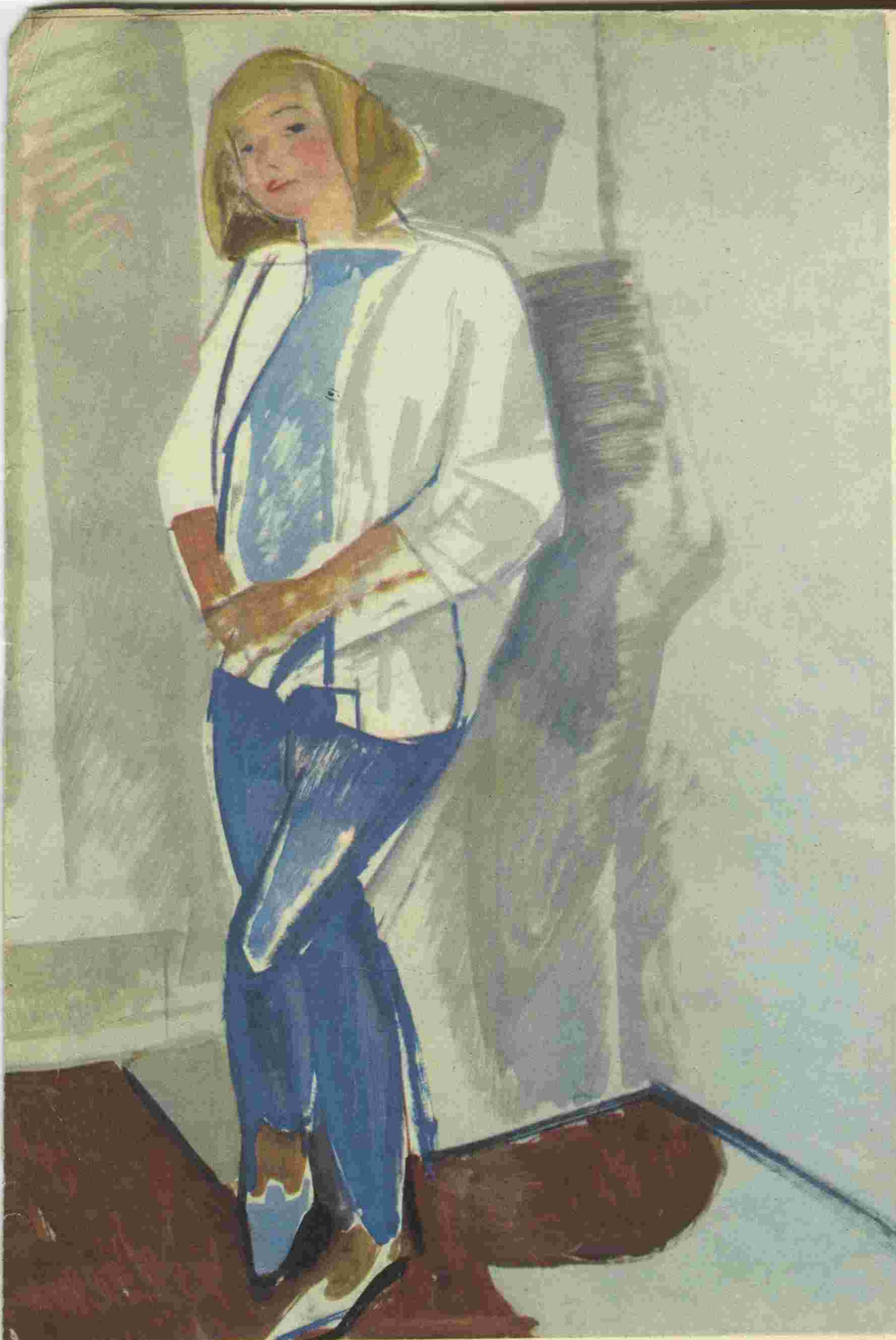


ЮНОСТЬ

11

1970



И. БОЛЬШАКОВА.

Архитектор «Артека» Наташа Гиговская.

На стенах
«ЮНОСТИ»

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ССР

1917-1970



11

(186)

НОЯБРЬ

1970

Журнал основан в 1955 году

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

✓ ● ПРОЗА			
✓ Борис ВАСИЛЬЕВ . Самый последний день... Повесть	5	Константин ТЕЛЕГИН . Последний штурм 73	
✓ Арн. СТРУГАЦКИЙ , Бор. СТРУГАЦКИЙ . Отель «У погибшего альпиниста». Приключенческая повесть. Окончание	37	В. СУХОМЛИНСКИЙ . Семья Несгибаемых (Главы из книги) 79	
● ПОЭЗИЯ		«Вот именно — первичная». Несколько суждений Бориса Сергеева, комсорга ЦИЦа 86	
Дмитро ПАВЛЫЧКО . Слово о Ленине. Львы. Притча о солнце. Перевел с украинского Лев Смирнов	2	Юрий СКОП . Встречное движение (Из цикла «Открытки с тропы») 88	
Флор ВАСИЛЬЕВ . Счастливые огоньки. «Родины себе не выбираем...». «Белый снег...». «Я здесь все сразу узнаю...». Перевел с удмуртского Эдуард Балашов	3	● СРЕДИ КНИГ	
Арсений РЯБИКИН . Севастополь. Катер «Светлана»	4	Маленькие рецензии и аннотации 84	
Вадим КУЗНЕЦОВ . Декабрь. Дядя Ваня. «Взбивая тундровую грязь...». Старый прииск	34	● ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ	
Владимир ЛЕОНОВИЧ . «Все я хочу написать...». «Во все концы дорога далека...». Вижу работу. Вкус	35	* Лев КОЛОДНЫЙ . На «Маянской» 6 ноября 1941 года. * Е. ТРОСТАНЕЦКИЙ . Недопетая песня. Иван ЧУМАЧЕНКО . Стихотворения: Друзья. «Посерели просторы земли...» * А. ПЧЕЛЯКОВ . Трудные дни Одессы 97	
Софья ПЕТРЕНКО . Про отца. «Двадцатый год...». «Красивою я не была...». «Все как положено...». Тополя	36	● СПОРТ	
Янов КОЗЛОВСКИЙ . Пятьсот двадцатый день войны. Стервятник. Тупичок. «Ты вся удивленье и прелесть». «В дар преподнес Корней Чуковский...». «Горит вдали закат пунцовый...». «Зима. Черенно серебро...»	56	Константин ЛОКТЕВ (ЦСКА) — Борис МАЙОРОВ («Спартак»). Диалог тренеров 102	
Александр КУШНЕР . «Друг милый, я люблю тебя...». «Какое счастье, благодать...». «Но иногда придет на ум...». Белые ночи. Вместо статьи о Вяземском	78	● ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ	
Николай ТАРАСОВ . Воспоминание о блокаде. «...А на Гергетском леднике...»	96	Наташа ХМЕЛИК . Две истории 107	
● ВСТРЕЧИ		Евгений ШАТЬКО . Случай с романистом 108	
Константин ВАНШЕНКИН . Из книги «Наброски к роману»	58	Каков вопрос — таков ответ 110	
● ПУБЛИЦИСТИКА		● НА СТЕНДАХ «ЮНОСТИ»	
Навстречу судьбе. К 150-летию со дня рождения Фридриха Энгельса. Публикация Я. Рокитянского	65	Григорий АНИСИМОВ . По велению души 111	

На 1-й и 4-й стр. обложки рисунок Е. ЗОЛОТАРЕВА.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: А. Г. АЛЕКСИН, В. И. АМЛИНСКИЙ, В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ, А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), К. Ш. КУЛИЕВ, Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор Ю. А. Цишевский. Технический редактор Л. К. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Тел. 291-62-47. Рукописи не возвращаются.

Сдано в набор 4/IX 1970 г. А 00481. Подп. к печ. 22/X 1970 г. Формат бумаги 84×108^{1/16}. Объем 12,18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л. Тираж 1 750 000 экз. Изд. № 2310. Заказ № 2619.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.



Дмитро
Навльчко

Слово о Ленине

(Отрывок)

Прочь от меня,
Мертвый,
Отправляется в путь
Врезая риторику,
Это сердце грохочет,
Это в души врывается
Ленин —
Ленин —
Ленин —
В Ленине
Правду великую
Ленин —
Ленин —
Стойте на этом
Боритесь
Наши жизни,
Это жизнь
Пусть в каждом деле,
Бьется частица его,
Только тот не изменит
Кто равняется

словеса елейные,
не жгущий сердца
глагол!
мое слово о Ленине,
как ледокол.
а не резолюция,
и в дома
мятежный,
как революция,
безбрежный,
как жизнь сама!
всей своей плотью и кровью
мы обрели.
моего народа здоровье,
будущее Земли.
неколебимо,
за ленинское торжество!
сложенные воедино,—
бессмертная
его!
в каждом человеке
горяча.
правде вовеки,
на Ильича.



Если кто-то
И лишь про райские кущи
Пусть в квартире вождя
у кровати железной

На себя посмотрит
Если кто-то
усталость почувствовал
в сердце,
Если в ком-то померк
Пусть почаще приходит
Ленинский кабинет.

Я и сам выхожу
Что всех слов
Мне
о Ленине
Как
о собственной жизни
моей.
Когда-нибудь
планета
от войн излечится,
И радость хлынет
И Ленина
вспомнит
А вместе с Лениным
вспомнит
и нас!

Львы

Когда-нибудь слышали вы
О том, как в нашем древнем Львове
На площадях, в подтеках крови¹,
Ревели каменные львы!

Быть может, пули супостата,
Искавшие сердец людских,
Задели рикошетом их!
Быть может, красный клич плаката
Их древний потревожил сон!
Быть может, тонкий, словно волос,
Открыл глаза, вернул им голос
Мальчишки раненого стон!

Кто знает! Только я поверил,
Что с бедными на богачей —
На этих истинных зверей —
Восстали каменные звери.

Приехал нынче я во Львов
И к ним пришел, как на свиданье.
Забвенье иль воспоминанье
Читаю я в глазах у львов!

¹ Имеются в виду апрельские события во Львове в 1936 году.

Я мощные их глажу гривы,
Дотрагиваюсь до их лап...
О Львов, ты в бурях не ослаб,
Не растерял свои порывы!

Ты власть сатрапов поборол,
Ты отомстил за кровь рабочих,—
И сердце льва в груди клокочет,
Его не выклевал орел!

Взгляните, как наш город молод,
Как он готов пуститься в пляс,
Хоть в прошлом брал его не раз
В свои объятия смертный холод.

Мы не бежали от зимы,
Своих отцов не предавали,—
Но эти камни согревали
Сердцами собственными мы!

Прислушайтесь, сердца поют,
Им вторят камни-монолиты.
А где-то нас мезуиты
Вороньим карканьем клянут.

Не склоним гордой головы
И не опустим гордой гривы...
Хоть и молчат, но живы, живы
На площадях столетних львы.

Притча о солнце

Лежало солнце в тихом броде.
Была вся армия в походе.

Солдаты шли в рассветном гаме,
Топча светило сапогами.

Когда же пушки протащили,
Оно померкло в черном иле.

Но миг прошел — и, как ребенок,
Смеется солнышко спросонок.

Промчалась конница лихая,
Все на пути своем сметая.

В него ударили копыта —
И солнце вдребезги разбито.

Даль предзакатная багряна,
А брод речной — сплошная рана.

Но миг прошел — и, как ребенок,
Смеется солнышко спросонок.

За танком танк прополз машиной,
Мешая солнце с рыжей глиной.

И каждый блик и каждый лучик
На гусеницу был накручен.

Железо золото месило —
И вновь растерзано светило.

Но миг прошел — и, как ребенок,
Смеется солнышко спросонок.

Перевел Лев СМИРНОВ.



Флор
Васильев

Счастливые огоньки

Мороз — как ни оденся —
Прохожих гонит прочь.
Но красногвардейцы
На улицах всю ночь.

На площадях и скверах
Горят костры кругом.
И крепче наша вера
В победу над врагом.

Костры, с ветрами споря,
Спешили всем помочь
И отгоняли горе,
И отступала ночь.

На огоньки, как исстари,
Шли люди без конца.
И западали искорки
В суровые сердца.

И встали мы под знамя
У правды на часах.
Костров далеких пламя
У каждого в глазах.



Родины себе не выбираем.
Имени себе мы не даем.
Землю, где родились и живем,
С детства называем отчим краем.

Потому всегда спешим домой.
Нас встречают шумные деревья.
На глазах меняется деревня.
Снова в сердце радость и покой.

Не грустят оконные глаза,
В них играет огонек веселый.
Дети возвращаются из школы,
Далеко слышны их голоса.

Но мы помним то, что было прежде,
Прежде, чем зажегся в доме свет.
Мы во тьме блуждали без надежды,
Нам надежду возвращал рассвет.

Словно мать, растила нас земля,
Наставляла в дальнюю дорогу.



Уносили в сердце мы тревогу.
Долго провожали нас поля.

Потому нет края нам милей:
Мягкие тропинки, теплый ветер.
Чистый воздух родины своей
Будем пить, пока живем на свете.

☆

Белый снег.
Молодая пороша.
Белый пух
На остывшей земле.
Хорошо,
Когда все по-хорошему.
И земле
Хорошо быть в тепле.

Замечтался,
Задумался, бедный,
Второпях
Закружился во мгле.
Белый снег
Потому, видно, белый,
Чтоб светало скорей
На земле.

А замерзшее солнце
Бессильно
Возродить
Свой утраченный свет.
Белой стаей
Сложив свои крылья,
Будто лебеди,
Падает снег.

Будто лебеди
Белыми стаями,
На земле
Собирается снег,
Словно светлое счастье
Оттаяло,
Словно выпал
На землю
Рассвет.

☆

Я здесь все сразу узнаю,
Здесь каждый встречный мне знаком.
И я со всеми говорю
На языке своем родном.

Иду ли в лес,
Бегу ль к реке —
С листвою беседую,
С волной.
И на удмуртском языке
Колосья шепчутся со мной.

Родник так чисто скажет:
«Пей!»
Коса приветствует:
«Живи!»
И по-удмуртски соловей
Поет мне о своей любви.

И в воздухе звенят слова,
Как удалые бубенцы.
И речь удмуртская жива
На берегу родной Чепцы.

Перевел Эдуард БАЛАШОВ.



Арсений
Рябин

Севастополь

В севастопольских двориках
трава зеленеет.
Месяц март. И кружится весь день голова.
Вновь проснулась земля для влюбленных. Над нею
Зеленеет трава.

Бродят двое, как дети.
Он ей пальцы тихонько сжимает...
Не семнадцать, не двадцать...
Но также пьянит синева.
За оградой с табличкой довоенной миндаль
зацветает.

На кургане Малаховом
зеленеет трава.

Завтра медленно двинутся под марш
глуховатый вагоны...
Но пока еще можно на часы не смотреть.
Батарея Матюхина...

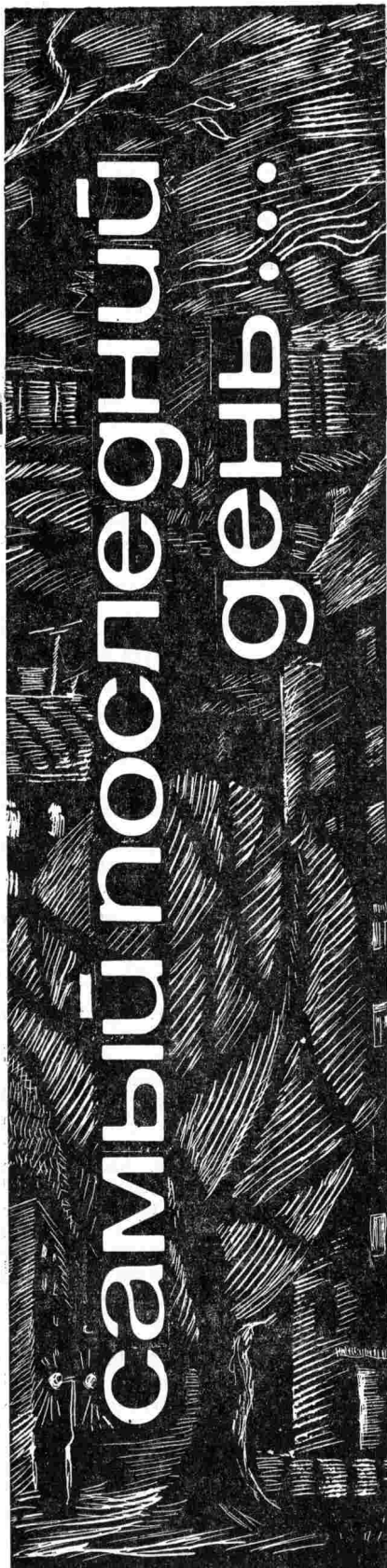
Истребитель зеленый
Четверть века взлетает
и не может никак улететь.

Катер «Светлана»

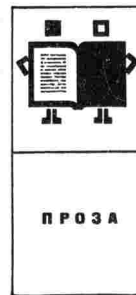
...Поброжу по городу без плана.
Там, где многолюдно, покручусь...
Прокачусь на катере «Светлана»,
По знакомой бухте прокачусь.

Прокачусь на катере «Светлана»,
Что хотел решить — недорешу...
Имя чье, мальчишку-капитана
С интересом скрытым не спрошу.

Паренек из рубки глянет, важен,
Вашим взглядом, девушка, так горд,
Почему назвали — не расскажет
И возьмет руля на левый борт.



Борис Васильев



ПРОЗА

ПОВЕСТЬ

1

— Значит, на пенсию решил, Семен Митрофанович? Не желаешь дожидаться шинели цвета маренго?

— И в этой ничего. Привык...

Семен Митрофанович Ковалев стеснялся вести разговоры с молодыми сотрудниками. Они и смеялись не так, и курили не этак, и даже форма на них сидела куда уютнее, чем на нем, хотя он форму свою носил аккуратно четверть века.

Приказ еще не был подписан, но все уже знали, что младший лейтенант Ковалев, выслужив и по годам и по здоровью полный государственный пенсион, подал рапорт и загодя отправил семью в деревню. Сделал он это по своей воле и вроде бы ни с того ни с сего, что удивило не только сослуживцев по отделению, но и тех в управлении, кто знал Семена Митрофановича. А знали его многие, и даже сам комиссар товарищ Белоконь здоровался с ним за руку и всегда называл только по имени-отчеству.

Семен Митрофанович аккуратно являлся на службу, дисциплинированно, точно ретивый первогодок, слушал инструктаж и делал, что приказывали. Учитывая возраст и ранения, его давно уже освободили от оперативной работы, а поручали дела тонкие — воспитательные или конфликтные. И Семен Митрофанович не обижался, потому что всякому делу положен свой возраст, и рыпаться тут несолидно. Кроме того, он умел улаживать ссоры, доводить до добрых слез свихнувшихся девиц и был невозмутим во всех случаях жизни.

Даже осложненные взаимным недоверием профилактические беседы с молодежью младший лейтенант Ковалев проводил лучше иных дипломированных специалистов. При всей невозмутимости он никогда не скрывал своих чувств и относился к аудитории не как к поколению в целом, а как к группе, состоящей из вполне конкретных личностей. В соответствии с этим он кого-то уважал, а кого-то любил, кого-то жалел, а кого-то откровенно ненавидел, но таких, к которым он относился бы безразлично, не было, и молодое население микрорайона активно платило ему той же монетой.

— Политически товарищ Ковалев человек девственный, — сказал года два назад начальник отделения комиссару Белоконю — просто пришлось к случаю.

Начальник отделения любил выражаться книжно и иногда позволял себе щегольнуть этим. Однако в

тот раз комиссар глянул так странно, что он сразу заторопился:

— Но ответственность восполняется большим опытом, товарищ комиссар. Большим опытом и исключительным старанием...

Комиссар по-прежнему смотрел необыкновенно, и начальник сокрушенно примолк. Тогда Белоконь спросил благожелательно:

— На рыбалку не ездили в этом году?

И все книжные наслоения тут же вылетели из головы собеседника. И он воскликнул:

— Во какая!..

Да, в милиции знали про старую дружбу комиссара и Семена Митрофановича, хотя никто никогда не видел их вместе, и младший лейтенант безропотно тянул свою ляжку, не прячась за широкую спину начальника управления. Поначалу сам вызвался в оперативную группу: вязал бандитов, преследовал воров и за пять лет к четырем фронтowym ранениям приплюсовал еще четыре. Последнее было особенно тяжелым: пуля пробила легкое. В госпиталь часто навещался капитан Орлов — зам по оперработе. Приносил яблоки да баранки, а перед выпиской сказал:

— Отдохнуть требуется, Семен Митрофанович. Путевку мы обеспечили, а кроме путевки, положен тебе еще месяц. Так, может, тебе в Москву с Кавказа не возвращаться? Может, прямо к своим, в деревню?

— Да нет, вернуться придется, товарищ капитан, — как всегда, тихо и чуть виновато ответил Ковалев. — Своих-то у меня нет. И пункта рождения тоже нету.

— Как так нету?

— А через него аккурат фронт семь месяцев проходил, товарищ капитан. Так что там и труб не осталось. То есть совсем ничего: просто пустырь с бурьяном, вот ведь какой факт получается.

— А родные?

— В наличии не имеется.

Капитан Орлов был упрям и, промолчав в этот раз, в день отъезда подчиненного на курорт сунул, не глядя, адрес:

— К моим поедешь. Под Новгород.

Семен Митрофанович поехал: зачем же обижать хорошего человека? Местность ему понравилась. С войны здесь все задичало, и на семь сел приходилось полтора мужика. Ковалев охотно чинил старые ходики, менял рамы, перекрывал крыши, подпирал скособоенные избы, делал все, что просили, с удовольствием выпивал стаканчик, но от второго решительно отказывался, потому что очень боялся заночевать в лично отремонтированном хозяйстве. Сделав много доброго, он так никого и не осчастливил, что гордые новгородки объясняли исключительно последствиями ранения. В следующий отпуск Ковалев опять поехал под Новгород и вдруг довел до полного онемения все местное общество, взяв за себя немолодую солдатку с тремя сиротами в придачу.

— Ты что, Ковалев, трехнулся? — деликатно спросил лихой капитан Орлов. — Да за тебя любая двадцатилетняя — толечко пальцем помани!..

— Двадцатилетняя — она и без меня не пропадет, товарищ капитан, а тут — детиски. Младшие-то конфет в обертках сроду не видали, вот ведь какой факт получается.

В каких обертках он сам показывал конфеты усыновленным детям, неизвестно, но вздыхать не вздыхал, и настроение у него вроде не портилось. С комнатой ему помогли, жена уборщицей в интернат пошла, а там — потихонечку да полегонечку — и дети подрастать стали. Теперь их, правда, пятеро уже было.

И вот нежданно-негаданно младший лейтенант Ковалев решил оставить службу. Сдал рапорт положенным порядком и, пока двигался этот рапорт из кабинета в кабинет, продолжал служить старательно и усердно. И помалкивал. И начальство тоже помалкивало.

2

В тот день он явился на службу, как всегда, за четверть часа до положенного срока. Доложил дежурному, расписался в книге и, тоже как всегда, пристроился покурить с ребятами из ночной смены. Не просто покурить — разведать новости. И не новости вообще — этого добра он за четверть века в милиции наслушался, навиделся и наглотался, — а того лишь, что его касалось. Его участка. Подшефного.

Это были четыре квартала — добрый кусок современных пятиэтажников, несколько чудом уцелевших деревяшек на два раскоряченных несуразных семиэтажных дворца, сооруженных в эпоху архитектурных излишеств. Теперь излишества эти обветшали и уже сыпались на голову, из-за чего над вторыми этажами пришлось соорудить грубую рабочую сеть.

Казалось бы, все было в порядке, но Семен Митрофанович домов этих все-таки не любил. Понимал, что поступает не по справедливости, сердился на себя — и не любил. Сердцу не прикажешь, даже если сердце это бьется под милицейским мундиром.

Поэтому и выспрашивал о них всегда особо до тошно:

— Из девятого дома звонков не было? Насчет магнитофонов там, шумов всяких?

— Нет. Из твоих, Митрофаныч, только один Кукушкин набедокурил: напился, шумел.

— Кукушкин из третьего «Б»? Слесарь-водопроводчик?

— Он самый.

Младший лейтенант достал толстую записную книжку и только успел записать про Кукушкина, как дежурный крикнул:

— Митрофаныч! Начальник просит. Давай на третьей скорости!..

Начальник отделения зимой и летом ходил в темных заграничных очках, и Ковалев не любил с ним разговаривать. Да и как можно любить разговор, когда неизвестно, в какую сторону косится твой собеседник?

— Финиширует ваша служба, товарищ младший лейтенант, — сказал начальник после того, как они поздоровались и самую чуть потолковали о здоровье. И вздохнул: — Как говорится, финита ля... — Что следовало за этим «ля», начальник произнести не решился и переменял разговор: — Никаких нераскрытых или там незакрытых за вами не числится? — Никак нет.

— Тогда могу доложить, что наступает у вас последний парад. — При этих словах начальник решил встать, и Ковалев в беспокойстве оглянулся, поскольку никак не мог понять, куда в данный момент смотрит его начальник. Но начальник, как видно, смотрел прямо на него. — Товарищ комиссар Белоконь просит вас, товарищ младший лейтенант, прибыть к нему в 10 часов ноль минут по известному вам рапорту...

Они еще маленько поговорили о разных вещах — для вежливости, — и начальник отпустил его, пожав

на прощание руку и приказав выделить в распоряжение младшего лейтенанта служебную машину.

Все, казалось бы, уже оставалось за кормой, уже начало отплывать, растворяясь в прошлом, но Ковалев не мог сесть вот так, запросто в служебную «Волгу» и сказать шоферу: «В управление!» Не мог, потому что, несмотря на слова начальника о последнем параде, все еще продолжал служить, каждой клеточкой ощущая себя частицей огромного и очень ответственного аппарата. И поэтому от начальника он прямехонько потопал к дежурному, которому и доложил, что откомандирован в управление для беседы с товарищем комиссаром.

— На «Волге» обязательно хочешь ехать? — спросил дежурный.

— Нет, не обязательно, — сказал старшина. — Все равно.

— А все равно, так будь другом, отконвоируй задержанную. Ребята, понимаешь, все в отпуске: лето...

Задержанной оказалась худая, как воробья, девчонка лет двадцати с крохотными сережками-слезками в маленьких ушах. На грязном — в пятнах помады, потеках туши и грима — лице свежили яркие пятна синяков и злые, неукротимые глазищи. Короткое ситцевое платье было заляпано грязью, в двух местах разорвано: при движении сверкало загорелое тело и наивные розовые трусики.

— В парке нашли, — тихо сказал дежурный. — Били ее трое, а кто — молчит.

— Может, не знает?

— Знает! — отрезал дежурный. — Знает, кто бил и за что, раз на помощь не звала. Наши ведь случайно на них напоролись, и она же первая заорала: «Валера, беги!»

— Задержали кого?

— Нет. Кусты, темень, а тут эта чертовка визжит и кусается. Но обрати внимание: трое, и среди них Валера.

— Это насчет...

— Да, да, ограбление пенсионеров Веткиных. Помнишь, что тогда взяли? Ерунду всякую, мелочь, а бухарский ковер, которому цена пол-«Москвича», не тронуди. Почему?

— Тяжело с ковром-то...

— Правильно, Ковалев. А это значит, транспорта у них не было. А женщина, которая той ночью встретила троих с чемоданами, показала, что одного из них другие называли Валерой.

— Ага!..

— Вот потому-то мы за эту девчонку и держимся, — сказал дежурный так, будто лично вел следствие. — Это она еще с ночи психованная, а успокоится — колотья начнет, что полешко...

В связи с таким поручением младший лейтенант Ковалев отбыл на свидание с комиссаром Белоконом в душном кузове зарешеченного «газика». Влез он в него, когда задержанная уже сидела возле передней решетки, вцепившись в переплет худыми пальцами с обломанными ногтями. Она искоса, мельком глянула на него и отвернулась, быстро поправив изорванное платье, чтоб не сверкали трусики. Как ни запрятано было это ее произвольное движение, Ковалев отметил его, а отметив, решил непременно доложить об этом следователю: девчонка, которая стесняется старого милиционера, совсем не такая уж распушенная и бывалая, какой изо всех сил старается казаться.

— Ну, с этой не заскучаешь! — подмигнул шофер, закрывая за ними дверцу согласно инструкции.

Как положено, младший лейтенант сел сзади, у выхода, где всегда трясло и швыряло. Поэтому он сразу, пока машина еще стояла, поторопился закурить и, прикуривая, опять заметил яростный карий глаз. Протянул пачку:

— Хочешь?

Она живо глянула и рассмеялась:

— «Прибойчиком» угощаете? Тронута, сдвинута, почти опрокинута!..

Ковалев несколько не обиделся: испуганный щенок и хозяина кусает. Спросил заинтересованно:

— Сигареток достать?

Машина еще стояла: шофер балагурил с ребятами, что расходились на посты и объекты. Младший лейтенант застучал, загрохал ногами. Шофер сразу же открыл, вытаращился:

— Ты чего?

Семен Митрофанович рубль протянул — мог бы, конечно, и мелочь, да не знал, почему нынче сигареток для девчат.

— Сигареток купи пачку.

— Сигареток? — Шофер похлопал глазами. — Каких сигареток?

— «Советский Союз»!.. — крикнула из угла девчонка. — Я патриотка!..

Шофер обернулся на удивление быстро: видно, и его заинтересовала неукротимая пассажирка. Сунул сигареты и сдачу, шепнул:

— Сорок копеечек, между прочим...

Опять с лязгом закрыл дверь. Семен Митрофанович аккуратно спрятал мелочь в кошелек, протянул сигареты задержанной.

— Не по карману куришь.

— А почему же не курить, если угощают? — спросила девчонка, прикуривая. — Вон даже милиция... не удержалась.

«Газик» тронулся, и, пока шофер неторопливо вырубивал на магистральную улицу мимо бесконечных новостроек, младший лейтенант откровенно разглядывал девичью. Разглядывал растрепанные, много раз перекрашенные волосы, дешевенькое платьице, худые, исцарапанные руки, беззащитные плечи, неожиданно элегантные тфюфельки последней моды. Разглядывал неторопливо, основательно — и думал.

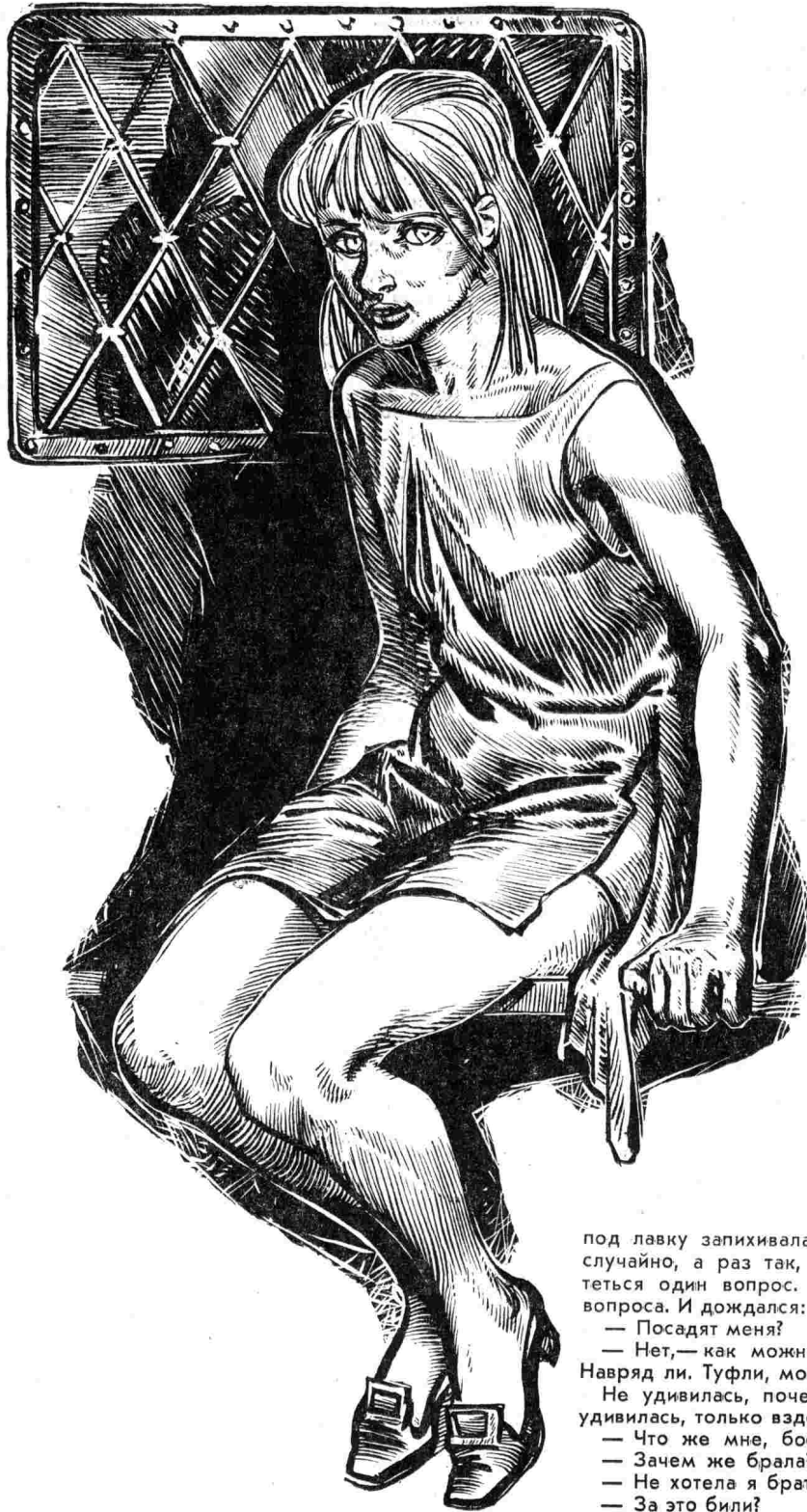
Он умел разговаривать с молодежью не потому, что сообщал что-то новое, и не потому, что никогда не повторял общеизвестного. Умение его, которому поразились даже в управлении, держалось на том, что Ковалев каким-то чудом всегда угадывал, что за человек сидел перед ним. И начинал не беседу вообще, не лекцию, а конкретный и неповторимый разговор, который касался только их двоих. И поэтому сейчас, разглядывая эту худую, некормленную и неухоженную, болезненно напряженную девочку, он думал о том, что довело ее до этого, какая у нее может быть семья и почему девочка из семьи этой убежала.

— Отец-то давно вас бросил?

По тому, как дернулась девочка, он понял, что попал в точку. Ниточка была в его руках, но, чтобы не оборвать ее, следовало медленно, неторопливо распутать весь клубок. Главное было удивить, и это получилось.

— А у меня он полковник. Летчик-истребитель, — с вызовом сказала она. — Он за каждый полет больше получает, чем вы за три месяца.

— Возможно, — миролюбиво согласился Ковалев. — Только сволочь он, летчик твой, раз маме не дает ни копейки.



Девочка вдруг резко повернулась к нему, странно и зло ощерившись и сразу став болезненно некрасивой:

— Врете вы все! Думаете, не понимаю, откуда знаете, да? Вы милиция, вы уж всех допросили! Всех!..

Он молчал, дружелюбно и серьезно глядя на нее. Задержанная, выкричавшись, сразу смолкла и снова ухватилась за сигарету. Семен Митрофанович не торопился с разговором, оставляя продолжение за нею, потому что дорожил он пока не словами, а интонацией. И еще он знал твердо, что долго она не умолчит.

— Мама...— с непонятым ожесточением сказала вдруг девчонка.— Мама, мамочка...

И опять замолчала, яростно затягиваясь. И младший лейтенант промолчал.

— Думаете, легко девчонкам, которые без отцов?— не глядя, тихо спросила она.— Ну, может, у которых матери— мамы, тем еще ничего, а другим...— Она опять помолчала.— Знаете, сколько нам на производстве платят? Нам, у которых специальности никакой нет? Только-только на еду да на дорогу и хватает. Но ведь и одеться модно тоже хочется. А у вас на всех один разговор...

— Нет,— сказал Семен Митрофанович.— Нет у нас такого разговора. Обманули тебя.

— А везете куда?

— В управление. Положено так.

Он глядел на ее туфельки: она все двигала ими, под лавку запихивала, прятала. Не случайно, ой, не случайно, а раз так, то должен в голове ее вертеться один вопрос. И он все время ждал этого вопроса. И дождался:

— Посадят меня?

— Нет,— как можно простодушнее сказал он.— Навряд ли. Туфли, может, и отберут...

Не удивилась, почему туфли отберут. Совсем не удивилась, только вздохнула:

— Что же мне, босиком по городу идти?

— Зачем же брала? Знала ведь, что ворованное...

— Не хотела я брать их. Как чувствовала...

— За это били?

— Нет...— Она вдруг странно поглядела на него, криво усмехнулась.— Влезли в душу и ворочаетесь? И вы такая же сволочь, как все...

И отвернулась. Младший лейтенант закурил новую папиросу и опять терпеливо стал ожидать вопросов.

Обычно, правда, он сам вопросы задавал, разговор направляя, но сегодня любая его неточность могла вновь захлопнуть ее чуть приоткрывшееся сердечко, и поэтому Семен Митрофанович предпочитал не спешить.

— А что, пистолеты у вас настоящие или так, для форсу кобуры носите? — вдруг, не глядя, спросила она.

— Самые настоящие, — сказал Ковалев и для достоверности похлопал по пустой кобуре. — Мы без оружия ни на шаг.

— Почему? — Девочка оглянулась.

Ему очень хотелось, чтобы она заулыбалась, и, увидев в глазах ее слабые искорки, он обрадовался:

— Боимся! Страх у нас такой...

— Врете вы все! — Она все-таки улыбнулась и тут же, словно испугавшись, спрятала улыбку.

Машина остановилась, шофер знакомо посигналил, и младший лейтенант догадался, что прибыли и что сейчас после проверки въедут во внутренний двор управления. И впервые за всю службу пожалел, что знакомый путь оказался вдруг таким коротким.



3

В пустых и гулких коридорах управления девочка вздернула голову, вызывая зацокала каблуками и стала еще больше похожа на воробыху. Ковалев, поглядывая на нее, все сдерживал улыбку: казалось, девчонка вот-вот суетливо и неунываемо зачирикает, заскачет и взлетит к потолку...

Возле кабинета следователя Хорольского младший лейтенант остановился. Усадил задержанную на стул у двери, погрозил пальцем, чтоб слушалась, одернул тужурку и только после этого постучал. Там что-то крикнули, Семен Митрофанович открыл дверь и спросил:

— Разрешите?

— Что еще?.. — Следователь был молод и поэтому всегда хмур: ему казалось, что так он выглядит солиднее.

Ковалев вошел в кабинет, притворил за собою дверь, отrapортовал, с чем прибыл, и отдал пакет. Хорольский, не глядя на него, разорвал пакет: там лежал заводской пропуск и сопроводительная. Хмурясь, следователь долго читал сопроводительную, а младший лейтенант все так же дисциплинированно стоял у стола.

— Где арестованная?

— Задержанная, — тихо поправил Семен Митрофанович. — Она там, в коридорчике ждет. Я что хотел сказать, товарищ следователь, я хотел сказать, что надо бы ее отпустить. Она сверху только злая, и если к ней по-доброму, так она сама же придет потом и все расскажет, вот ведь какой факт получается. И еще: насчет работы. Может, с комсомолом связаться, чтоб над нею шефство...

— Давайте без советов, а? — недовольно сказал следователь. — Ваше дело — арестованную доставить и расписку получить. Ясно?

— Так точно. Только, похоже, запуталась девушка...

— Введите арестованную.

— Я хотел...

— Введите арестованную!

Ковалев молча вышел, старательно пряча глаза от девочки. А та все ловила и ловила его взгляд, тиская в руках сигареты и спички. За дверью опять что-

то прорычали, и Семен Митрофанович так и не успел ничего сказать. Просто приоткрыл дверь и махнул рукой, приглашая в кабинет.

И вошел следом. Следователь, не глядя, писал что-то за столом, и поэтому Ковалев, кашлянув, рискнул-таки на продолжение очень неприятного для себя разговора:

— Разрешите потом соображения доложить...

— Получите расписку, — не поднимая головы, сказал Хорольский.

Младший лейтенант протопал к столу, взял равный конверт с подписью следователя, уголком глаза заметил суетящиеся по изодранному платью худые пальцы с обломанными ногтями, сказал громко:

— Вы все-таки разрешите...

— У меня все, — с явным раздражением прокричал следователь. — Можете идти.

Выйдя из кабинета и тихо притворив за собою дверь, Семен Митрофанович был вынужден сразу же присесть на тот самый стул, где только что сидела девочка. Сердце его вдруг сжало, точно в горячих тисках, а в глазах поплыли неторопливые и веселые цветные шары.

«Молодой еще, — расстроено подумал он. — Ах, молодой, ах, горячий: напугает девчонку, озлобит...»

А сердце щемило, и воздух никак не хотел пролезать в легкие, как ни пытался Ковалев вздохнуть. Но он все время думал об этой девочке, и тревожился, и поэтому отсиживаться не стал, а боковым коридором вышел к парадной лестнице. Тут он маленько пришел в себя и стал неторопливо подниматься на второй этаж, здороваясь почти с каждым встречным, потому что народу здесь было не в пример больше, чем в тех закоулках, которыми он вел девчонку к следователю. Поднявшись по лестнице, он прошел небольшой коридор, застланный толстой дорожкой, и приоткрыл тяжелые резные двери:

— Можно, Вера Николаевна?

— Семен Митрофанович? Здравствуйте, дорогой!..

В комнате этой, едва ли не единственной в управлении, никто никогда не курил — даже сам комиссар Белоконов. Не потому, что здесь хранились бочки с порохом, коробки с кинопленкой или лежали дышащие на ладан сердечники, а потому, что здесь работала Вера Николаевна.

— Сергей Петрович ждет вас.

— Один там?

— У него полковник Орлов. Да вы проходите, Семен...

— Нет, нет, Вера Николаевна.— Ковалев упрямо затряс головой.— Нет. Зачем же? Я обожду.

Когда-то он служил под началом лихого, безрассудно смелого капитана Орлова. Но время шло, и за двадцать лет капитан вырос до полковника, а он — до младшего лейтенанта. Каждому — своя песня: он на это не сетовал. Но входить, когда старшие работают, не мог. Позволить себе не мог.

— Вы к окошку садитесь,— вдруг тихо сказала Вера Николаевна и поставила стул у раскрытого окна.— Что, Семен Митрофанович, сердце?

— Не могу сказать,— он пересел к окну и виновато улыбнулся.— Раньше как-то не чувствовал такого факта.

Вера Николаевна порылась в сумочке и достала белую лепешку.

— Положите под язык.

— А что это?

— Конфетка мятная. Ну?

— Спасибо,— сказал Ковалев, сунув валидол в рот и причмокивая.— Холодит.

Из-за бесшумной двери вышел Орлов с кожаной папкой в руке. Он мельком глянул на коренастого младшего лейтенанта в тужурке из грубого сукна и вдруг заулыбался, отчего его сосредоточенное лицо сразу стало домашним.

— Митрофаньч!..— Орлов шагнул к поспешно вставшему Ковалеву, руками надавил на погоны.— Сиди, сиди. Хорошо, что я тебя встретил...

Вера Николаевна, привычно поправив прическу, прошла в кабинет. Орлов присел перед Ковалевым на подоконник, сказал таинственно:

— Хочешь со мной работать?

— Да я же рапорт, товарищ полковник...

— Знаю. Знаю, потому и предлагаю: с Сергеем Петровичем согласовано.

— Ну, какой из меня теперь оперативник? — усмехнулся Семен Митрофанович.— Года уж...

— А я не оперативником, я воспитателем хочу тебя назначить. На курсах оперработников.

Ковалев улыбнулся, покачал седой, коротко стриженной головой.

— Добрый вы человек, товарищ полковник. Спасибо вам, конечно, большое, только образование-то у меня — семь классов до войны.

— Да ведь не в преподаватели, а в воспитатели,— несокрушимо улыбался Орлов.— Должность я такую хочу прошибить: воспитатель. Чтоб не только самбо да боксу учить, а слову доброму. Слово — оно ведь посильнее любого приемчика, верно?

Ковалев ответить не успел, так как из кабинета вышла Вера Николаевна и негромко сказала:

— Вас просят, Семен Митрофанович.

Комиссар Белоконь собирал шариковые ручки. Он скупал их в магазинах, получал бандеролями, привозил из командировок и канючил у знакомых. Коллекция занимала дома два шкафа, но поскольку подросшие внуки стали проявлять к ней чисто практический интерес, Сергей Петрович наиболее ценные образцы держал в служебном кабинете. Весь огромный комиссарский стол был завален этими ручками — пластмассовыми и металлическими, круглыми и гранеными, многостержневыми, цветными, с секретными, с фривольными фотографиями, с особой мастикой. Но гордостью коллекции была очень простая и очень элегантная ручка, привезенная Белоконем из Парижа; когда комиссар был в хорошем настроении, он подписывал бумаги именно этой ручкой. Полковник Орлов серьезно уверял, что ее по-

дарил комиссару Белоконю сам комиссар Мегрз: молодежь верила, немея от восхищения.

— Здравия желаю, товарищ комиссар,— сказал Ковалев. И добавил: — Прибыл по вашему приказанию.

А комиссар играл знаменитой ручкой, глядел на него и улыбался. Но Семен Митрофанович улыбаться в ответ не стал, а, наоборот, нахмурился.

— Что-то ты, брат, грозен сегодня,— сказал Сергей Петрович.— Уж больно ты грозен, как я погляжу! Ну, улыбнись, Семен Митрофанович!..

— Разрешите доложить, товарищ комиссар,— с неприступной серьезностью продолжал младший лейтенант.— Может плохо произойти, если не доложить.

— Ну, давай,— с неудовольствием вздохнул Белоконь.

Ковалев доложил. Комиссар выслушал, нажал клавишу селектора:

— Следователя Хорольского срочно ко мне. С делом...— Он вопросительно посмотрел на Ковалева.

— Об ограблении супругов Веткиных.

— ...об ограблении супругов Веткиных.— Комиссар отпустил клавишу.— Садись, Семен Митрофанович. Закуривай.

— Нет, разрешите выйти, товарищ комиссар. Вы его при мне песочить будете, а это — нарушение...

— Садись!.. — нахмурился Белоконь.— Мне про этого Хорольского не ты первый докладываешь. Спесив да ретив, а толку пока — нуль.

Семен Митрофанович покорно вздохнул, но постарался устроиться в наиболее темном углу кабинета. Докладывая начальнику, он ни единым словом не обмолвился о грубости следователя, и все же ему было очень неприятно. Как тут ни крути, а выходило, что клепал он на сослуживца, используя личную симпатию высокого начальства, а это было совсем не по-мужски. И если бы не девочка та, не воробыиха, не взгляд ее, которым проводила она его, никогда бы Ковалев и полсловечка при начальстве не уронил. А тут не мог. Права не имел воробыиху эту забыть, крест на ней поставить. И не таких судьба общипывала до самого последнего перышка, и не помочь человеку при этом было просто невозможно. И плевать ему в конце концов, что про него станет следователь по всем коридорам возить: он девочку сейчас защищал, а это поважнее закоулочных криволтков...

Но все ж таки сел он так, чтобы Хорольский, в кабинет войдя, его не заметил. Вот, комсату, потому-то следователь быстренько все комиссару доложил, пока тот дело листал, ловко доложил и даже улыбнулся:

— Там у меня, товарищ комиссар, зацепочка сидит. Важная зацепочка: если нажать как следует — вся поколется. И кто ее бил скажет, и за что, и где вещички, что у Веткиных взяли, тоже, возможно, скажет.

— А чем же зацепочка эта зацеплена? — спросил Белоконь.

Знал Семен Митрофанович начальника, давно знал, а удивился: до того миролюбиво, спокойно прозвучал вопрос. И сам комиссар, внимательно читающий каждую строчку тощего «дела», тоже выглядел сейчас таким добродушным грибок-пенсционером. Хорольский сразу приободрился, потыкал в страницы пальцем:

— Валера—обратите внимание, здесь. И Валера—здесь тоже.

— Поразительно! — сказал начальник.— Пока я читаю, позвоните, пожалуйста, в справочную и попро-

сите девушек подсчитать, сколько в нашем городе Валер.

— Валер?..

— Да, да. Зацепочек...

Комиссар снова ссутулился над листами, старательно разбирая строчки.

Хорольский, осторожно прокашлявшись, набрал-таки справочную. Его долго футболили там, в справочной, от стола к столу, он тихо оправдывался, настаивал, умолял, но в тоне его уже не было ни презрительного невнимания, ни иронической покровительственности.

«Во учить! — с уважением подумал о комиссаре Ковалев. — Мозги вправляет — будь здоров!..»

А комиссар Белоконь невозмутимо изучал «дело». И, поглядывая на него, Хорольский страдал и мучился:

— Ну почему же невозможно? Ну я прошу вас. Лично прошу... По каким признакам? Ну хоть от 16 до 26 лет пока... Ну хоть приблизительно...

Начальник закрыл папку и забарабанил по ней пальцами. Потом снял очки, долго тер усталые глаза.

— Ну, как там зацепочка?

— Сейчас. — Хорольский напряженно слушал, что ему бубнят с другого конца провода. — В общих чертах, конечно... Сколько?.. — И тихо положил трубку.

— Так сколько же «в общих чертах»?

— Что-то там... за двадцать тысяч...

— Прекрасно, — сказал комиссар. — Вот и займитесь: как раз к пенсии и закончите. Если вас с работы не попрут.

— Товарищ комиссар, я полагал бы...

— Полагать буду я. — В голосе Белоконя прозвучало такое стылое железо, что младший лейтенант на всякий случай съехался. — А вы со всей прытью, присущей вам, вернетесь в свой кабинет и от имени милиции принесете девушке извинения. Затем лично проводите ее до выхода из управления, еще раз попросите прощения и улыбнетесь, как заслуженный артист. Понятно?

Хорольский угнетенно кивнул.

— Исполнив это, пройдет к начальнику следственной части и доложите ему, что я приказал не допускать вас до самостоятельной работы вплоть до моего особого распоряжения.

— Товарищ комиссар...

— Может быть, это научит вас ценить советы старших, Хорольский. Идите.

— Есть... — трагическим шепотом сказал Хорольский.

Тут он повернулся и глаз в глаз столкнулся с младшим лейтенантом. Замер, а потом, усмехнувшись, вскинул голову и так и вышел, заставив Ковалева сокрушенно вздохнуть.

— Чего пыхтишь? — недовольно спросил Белоконь. — Сделал доброе дело и стесняешься?

— Наклепал, получается.

— Наклепал?.. А я-то думал, ты слабого защитил и тем самым исполнил свой служебный долг. Эх, Семен Митрофанович, товарищ младший лейтенант, не тем твоя дурь мучается. Двадцать лет прошло, как мы с тобой в милиции служим, дети уж внуков мне надарили, а ты у меня дома так ни разу и не был. Не посетил. А почему? А у тебя на все один ответ: «Не положено». Сделаешь доброе дело и больше всего на свете боишься, что тебе за него спасибо скажут. Так, Семен Митрофанович?

Ковалев не ответил. Он пересел поближе к комиссарскому столу, заставленному ручками, и о чем-то старательно думал. Комиссар улыбнулся ему и достал из папки приказ.

— Уходит в бессрочный отпуск младший лейтенант Ковалев Семен Митрофанович. Очередной «дядя Яша» — бабьем руганный, шпаной битый, бандитами стрелянный — покидает пост. Проводы тебе надо бы устроить, а, товарищ младший лейтенант? Торжественные проводы с пионерами в красных галстуках...

— Я вот чего думаю, товарищ комиссар, — перебил Семен Митрофанович вдохновенную речь начальника. — Я думаю, что по справедливости за оскорбление женщины надо бы вдвое, а?.. Или нет, не вдвое даже — впятеро. Обругал женщину плохими словами — три года. Ударил — пять, а то и все десять строгого режима. Потому что, товарищ комиссар, девушку обидеть просто, это как игрушку сломать. А как ей потом, сломанной-то, детишек собственных воспитывать? Как в глаза им глядеть, когда об ее собственную гордость сволота грязная ноги вытерла? Согнуть легко, а распрямиться как? Как ей распрямиться потом, если согнули? Нет, товарищ комиссар, не одинаковые мы с женщинами, и поэтому кодекс надо менять. Надо про охрану женщин, а особо девушек и гордости ихней, отдельные статьи ввести. И поначалу, пока не привыкли, построже! И потом... — Семен Митрофанович вздохнул. — О скидке, может, подумать?

— Какой скидке?

— Ну, чтоб девушкам, которые на производстве хорошо работают, было бы облегчение. Скажем, раз в год сапожки на меху по казенной цене. Или там пальтишко какое. Ведь не обеднеем же мы от этого, ведь богатая же у нас страна, и можем мы красоту свою одевать достойно жизни...

Комиссар улыбался уже от уха до уха, и Ковалев, наткнувшись вдруг на эту улыбку, замолчал и застеснялся.

— Ликург, — сказал Белоконь. — Тебя бы в Верховный Совет.

— А все равно так будет. Не может быть, чтобы так не было.

— Наверно, будет, — вздохнул комиссар. — Кто ее знает, что завтра-то будет. А вот сегодня... Сегодня мне приказ о твоей отставке подписывать, Семен Митрофанович. Если, конечно, ты не передумал за это время.

— Нет, не передумал, товарищ комиссар. Семью уж в деревню отправил, уж сыновья ждут там. И внученька.

— Стало быть, подписывать?

— Подписывайте.

— А ко мне домой зайдешь?

— Зайду, — серьезно пообещал Ковалев. — Как только служить перестану, так и зайду. Как только прикажете.

— Завтра, — сказал комиссар. — Даю тебе денек на закругление всех дел, а с нуля часов ты, Семен Митрофанович, человек вольный. И поэтому жду я тебя у себя дома завтра к девятнадцати часам. Выпьем?

— Выпьем.

— Молодость вспомним?

— Вспомним, товарищ комиссар.

— И бой на Соловьевой переправе в августе сорок первого тоже вспомним... Хотя про это рассказывать мы не будем. Про это, Семен Митрофанович, у меня в доме все знают. Наизусть. — Комиссар взял знаменитую ручку, осмотрел ее, прицелился и еще раз спросил: — Так подписывать?

— Подписывайте, товарищ комиссар.

— Рука свинцом наливается, Сеня, веришь? — вздохнул комиссар. — Словно моя собственная половинка на пенсию уходит...

И размашисто расписался...

Назад Семен Митрофанович возвращался городским транспортом: сперва трамваем, а потом пять остановок автобусом. Транспорт этот ходил плохо, а очередей граждане не соблюдали и кидались все скопом. Этого младший лейтенант не любил, но особо на людей не сердился: сердиться надо было на транспорт. Но за передней дверцей следил ретиво: подсаживал бабок да мамаш, помогал инвалидам и решительно гнал тех, кто поздоровее. И сам правом своим — правом входа с передней площадки никогда не пользовался. Силенка еще имелась, а за бока не боялся: с народом потолкаться никому не обидно. Наоборот даже: приглядеть можно было, чтоб не выражался никто, чтоб женщин не обижали, чтоб какой-нибудь патлатый на инвалидном месте не развалился. За этим он всегда особо смотрел.

Вот так час с лишком потолкавшись в трамвае да автобусе, он и прибыл в собственное отделение. Доложил, как положено, что приказ завтрашним днем оформлен, и получил эти последние сутки службы своей в личное распоряжение для закругления дел.

— Акт прощания завтра организуем, — сказал начальник. — Прощание, Семен Митрофанович, — итог службы вашей. Венец, можно сказать...

Насчет венца Ковалев не очень понял, поскольку речь для него шла все-таки об уходе на пенсию, а не о свадьбе. Но начальник был человек образованный и, значит, знал, что говорил.

В курилке, а от начальства он сразу в курилку подался, никого не было: то ли ребята на задания разошлись, то ли на обед. Но Семену Митрофановичу это даже понравилось: он неспешно закурил и достал распухшую от записей, вкладок и справочек записную книжку.

Многое в этой книжке хранилось: жизнь его четырех кварталов. Не та жизнь, которую каждый на показ выставляет, не витринная — нутряная. Жизнь дворов и подъездов, лестничных клеток и общих коридоров, осенних вечеров и весенних ночей. Нет, не ошибки людей фиксировал младший лейтенант в своей книжечке, не оговорки их, не досадные оплошности — он доброе в них искал. В самом ответе пропойце, в каждой свихнувшейся потаскушке он искал тот кремешок, из которого можно было бы вышибить искру. И если находил, радовался безмерно и уважал тогда этого человека. А уважая, не жалел: вышибал искру...

Книжечку эту с бесценным ее содержимым он намеревался Степешко передать. Степану Даниловичу Степешко, старшему лейтенанту, который принимал от Семена Митрофановича его разностильные кварталы. Данилыч был солиден, нетороплив, хотя и молод: только-только за тридцать перевалило. Вот эти три обстоятельства да еще старательно скрываемая Степешко доброта и решили выбор младшего лейтенанта Ковалева. Долго он к Данилычу присматривался, а раскусив, пошел к начальнику и попросил разрешения передать участок в степешковские руки: «Серьезный человек».

Потом он неторопливо водил Степана Даниловича из квартиры в квартиру: знакомил. Знал, с кем пошутить можно, а на кого бровью шевельнуть, где чайку попить, а где и отказаться:

— Права не имеем. На посту находимся, извините, конечно...

Месяц ходили, пока Степешко со всеми не пере-знакомился. Хорошо он знакомился, уважительно,

себя не теряя. Но Ковалеву особо то понравилось, что Данилыч свою тетрадку завел. Что он там в ней писал, неизвестно, но раз писал, значит, примечал, значит, положил глаз на эти квартальчики, значит, не сиротами они останутся после ухода Ковалева. А это очень важно, когда после тебя не пустое место остается, не бабы ахи да воспоминания, а дело, тобою начатое. Очень это важно для совести и спокойствия души.

Об одном жалел Ковалев: нельзя было сегодня кварталы те Степану Данилычу передать. В госпитале лежал Данилыч: неделю назад компанию пьяную просил разойтись подобру-поздорову. Тихо просил, спокойно, а очнулся в госпитале: бутылкой сзади ударили. Так просто ударили — и все. Для смеха.

Но госпиталь Семен Митрофанович на завтра планировал. Навестить товарища, доложить, что в кварталах слышно, и книжечку передать. Для изучения. А уж потом, после этого последнего служебного дела, затянуться в мундир потуже и первый раз в жизни прийти в гости к товарищу комиссару Белоконову. Впервые за тридцать лет дружбы...

А сегодня следовало последний обход по кварталам сделать. Выборочно, конечно: с кем — попрощаться, кого — предостеречь, кому — погрозить маленько. Грозить тоже приходится, чего уж. На то у милиции и права, и власть, и авторитет, и сила. И пока младший лейтенант Ковалев не стал просто гражданином Ковалевым, он этот авторитет, власть эту и силу в своем лице повсеместно представлял. Всегда помнил об этом и гордился.

И сейчас, сидя в курилке, он книжку свою в который уж раз перечитывал, припоминал и выводы делал. И помечал, к кому когда зайти следует и в какой последовательности...

«17 февраля. У дома № 16 группа: Самсонов Олег, Нестеренко Владимир, Кульков Виталий и двое неизвестных нанесли оскорбление словом гражданке Тане Фролкиной и бросались в нее снежками. Проверить: почему Таня смолчала».

«18 февраля. Мать говорит: Таня два раза не ночевала дома, три раза приезжала на такси и — выпивши. Кто-то купил ей сумочку и платок. Потому тогда и смолчала: значит, стыд».

«23 февраля. Проведена беседа с гр. Таней. В праздник Советской Армии напомнил ей о покойном отце, героически умершем от фронтовых ран. Заплакала хорошими слезами...»

Нет, к Тане можно было не ходить: Таня вышла замуж, Таня счастлива, Таня девочку родила. А где человек счастлив, там милиции делать нечего...

«Кульков Виталий выпивает после работы, а в субботу так напивается непременно. Мать влияния не имеет, а бывший отец проживает в гор. Борисове».

7 марта. Имел беседу о гр. Кулькове Виталии в райвоенкомате. Отнеслись со вниманием...»

В армии гражданин Кульков Виталий. И матери пишется регулярно.

«Гр. Кукушкин, водопроводчик. Пьет и в нетрезвом виде бьет жену. Жена, несмотря, что женщина крупная, от побоев первого родила мертвенького, а второй — мальчик с нервами и детей дичится: видно, стесняется за отца...»

Вот Кукушкиных проведать придется: опять вчера шумел. Придется потолковать по душам, прощупать, вышибить искру: Степешко легче работать будет...

И так — листик за листиком — продумал он весь свой талмудик. Каждую запись прочитал как бы наново и за каждой такой записью увидел вполне конкретное лицо со своим взглядом и норовом, со своим говорком и со своими родимыми пятнышками...

Но до обхода этого прощального Семен Митрофанович все же плотно пообедал. Человек он был дальновидный и понимал, что одним чайком сегодня может не обойтись. Ну, а по сытому состоянию и от чарки легче отказываться, и опять же не так она, чарка эта, воздействует, если отказаться все же не удастся. Исходя из этого младший лейтенант купил в гастрономе две пачкипельменей и пошел домой.

Квартира у него была двухкомнатная — тесновато, конечно, для семерых-то, что и говорить, — но зато с большой кухней. В кухне на казенном, спиленном по дряхлости диване спала старшая дочка, Полюшка — та, что внученьку ему подарила неожиданно-негаданно. Тихая девочка была, войной пришибленная — оттого, может, и не задалась у нее пока жизнь. Но Семен Митрофанович в справедливость свято верил, а потому твердо был убежден, что такое доброе да простое сердечко, как у его Полюшки, отогреется еще и счастьем и радостью.

Парни — Колька, Владлен да Юрик — в маленькой комнате жили. Старший — Владлен — уж в армии отслужил, жениться собирался, да все откладывал. А Юрка учился еще. И Юлька училась — младшая самая: она с ними в большой комнате спала. За шкафом.

Юлька да Юрка — его были. Кровные. И хоть никогда, ни единым взглядом не сделал он различия между детьми — своими там или не своими, — а с кровных невольно строже взыскивал. Придирчивей и в смысле дисциплины и в смысле отметок. Но не потому, что его они были, плоть от плоти его, а потому, что не в лихолетье росли, не бурьяном на заброшенной пашне, а в семье, в городе. Сыты были, обуты, одеты — как с таких не спросить?..

В квартире многое их собственными руками было сделано. И не полки да антресоли — это его ребята еще мальчонками освоили и сделали сами всем соседям, — а серьезная мебель: шкафы, тумбочки, скамейки и обеденный стол. Огромный стол, на всех семь человек с простором, со столешницей из строганой липовой доски, которую ножом поскоблишь и — как новая. Настоящий стол: такому ни клеенок, ни покрывашек не требуется — он сам за себя говорит. И потому столом этим Семен Митрофанович чуточку гордился.

Сейчас на столе ворохом лежали подарки: жене и Полюшке — на платье, Владлену — костюм, Кольке-шалопая — приемник карманный, школьникам Юрке да Юльке — мелочишка всякая. Это все сюрпризом его было, это все он тайком покупал, из собственных карманных денег двугривенные откладывая. Давно он это задумал, сюрприз-то этот, и рапорт только тогда подал, когда кое-что скопил.

Зато теперь дедом-морозом в деревню ехал. И заранее представлял, как они все радоваться будут, как удивляться, как женский состав к зеркалу кинется. И даже как жена его ночью допрашивать начнет, где он столько денег раздобыл, и как заплачет потом — тоже представлял. И улыбался, в сотый раз подарки эти перебирая. Особенно, когда куклу в руки брал: хорошую куклу — ростом с внученьку.

Семен Митрофанович плотно пообедал двумя пачкамипельменей, напился чаю с калорийной булкой, со вкусом, неторопливо покурил на Полюшкином диване. В дрему его слегка клонило, но он сладко этак поборолся с ней и вышел победителем. Позевал, потянулся и встал: пора было в кварталы идти. В прощальный, а потому и чуток торжественный обход.

Он даже побрился перед этим походом: так, для порядка, поскольку с утра еще ничего не выросло. Побрился, смахнул с сапог невидимую пыль, почистил щеткой тужурку. Все это делал он неторопливо и улыбался. Себе самому улыбался, удивляясь, до

чего же, оказывается, важен был для него этот последний обход, это прощание с людьми, с которыми всегда держался только официально. По-доброму, конечно, по-человечески, но в рамках. Как положено.

Начать следовало с самого трудного: он всегда так поступал, всю жизнь. А трудными для него были семизатжки — те, с которых до сих пор сыпались архитектурные излишества. Не налаживался с их жильцами у него контакт, хоть и старался Семен Митрофанович его наладить. С одним, правда, все было в порядке, с сорок пятой квартирой, и поэтому сегодня младший лейтенант оставлял ее, так сказать, на закуску.

Понятно, он не всех подряд обходил: некоторых тревожить вообще не стоило, иных просто избегал, а другим только «до свидания» сказать собирался через дверную щель. Но были и такие, не посетить которых он по долгу службы просто не имел права...

5

В семнадцатой долго не открывали: Ковалев знал, почему, и только усмехался. И звонок давил настойчиво и требовательно: не в гости шел — навещал вполне официально, как представитель власти. Наконец зашаркали там, по коридору.

— Кто?

— Младший лейтенант милиции Ковалев. Откройте, гражданин Бызин.

— А зачем?

— Не тяните: все равно ведь войду.

Зазвякали за дверью: Семен Митрофанович здесь всякий звяк изучил досконально и потому с уверенностью мог заявить, что звякают дверной цепочкой. Потом щеколда брякнула, замок повернулся, и дверь открылась ровнехонько на длину предусмотрительно накинута цепочки. В щели показалось круглое лицо: частями, поскольку целиком не вмещалось, и посверкивало на младшего лейтенанта то правым, то левым глазом.

— Нагляделись?

— А к чему это посещение, позвольте спросить? Я не заявлял, не шумел, как некоторые, не скандалил...

— А времечко-то идет, гражданин Бызин. Да. Идет. А мы — стоим. Но я терпеливый, вы-то знаете. Гражданин Бызин подумал, посверкал на Ковалева то левым, то правым глазом (точно прицеливался), прикрыл на секунду дверь и звякнул цепочкой.

— Терять из-за вас драгоценные свои минуты я не намерен, — сказал он, пропуская младшего лейтенанта в квартиру. — Я воспоминания пишу о товарищах, о жизни.

Ковалев ничего на это не ответил. Снял фуражку, повесил на крючок, пригладил перед зеркалом седой ежик (сквозь него уж и лысинка просвечивала). А гражданин Бызин, ворча, накидывал тем временем на дверь бесчисленные засовы и крючки. Потом они молча прошли в комнату и сели за стол друг против друга. Бызин хмурился и прятал глаза, а Семен Митрофанович улыбался.

— Ну? — не выдержал наконец хозяин: он все время то потирал, то замысловато сцепливал пальцы. — Так в чем дело?

— А где же ваша машинка?

— Какая машинка?..

— Пишущая. Вот марки, правда, не знаю. Пока.

— Нет у меня никакой...

— Есть. — Младший лейтенант спрятал улыбку и вздохнул. — Есть, есть, гражданин Бызин. Та самая, на которой вы недостойные свои анонимки печатаете.



— Какие анонимки? — Хозяин вскопчил, метнулся к дверям, вернулся.— Это еще доказать, доказать надо!..

Ковалев неторопливо достал записную книжку и извлек из нее две вчетверо сложенные бумажки. Развернул одну:

— Заявление. От гражданина Бызина Геннадия Васильевича, проживающего там-то. И подпись. Ваша подпись: вы тут насчет внеочередного ремонта хлопчете.

— Ну и что из того? Имею право!

— А вот другой документ.— Семен Митрофанович развернул вторую бумажку.— Письмо в милицию насчет гражданки Ларионовой Ольги Юрьевны. И шпионка она, и фарцовщица, и развратница, и ночи напролет проводит в гостинице «Интурист».

— Правильно! — закричал Бызин, тыкая в младшего лейтенанта двумя указательными пальцами одновременно.— Сам, лично сам видел, как она в ресторане с американцами кривлялась, и штаны на ней в обтяжку вместо юбки! Я показания могу, я свидетелем...

— Ответчиком, гражданин Бызин Геннадий Васильевич. Ответчиком придется, вот ведь какой факт получается. Письмо-то это вы писали, хоть и без подписи оно. Писали и на машинке отстукали. Думали, шито-крыто все будет?

Гражданин Бызин сорвался вдруг с места и дважды обежал кругом стола.

— Докажите! Нет, вы докажите сперва!

— Так ведь доказано уже все,— спокойно сказал Ковалев.— Все доказано, и не надо вам бегать. Для здоровья это вашего опасно.

Хозяин хотел возразить, но захлопнул рот и, сев напротив, снова стал хрустеть пальцами.

— Была Ольга Ларионова в ресторане, гражданин Бызин. И в гостинице «Интурист» тоже была. И даже с иностранцами встречалась: практику она там проходит, на переводчика учится, и вы этот факт знаете прекрасно. Так зачем же дегтем-то мазать, а?

Хозяин молчал. Открывал рот, набирал полную

грудь воздуха, но звуки из горла не выходили. Младший лейтенант вежливо обождал и, не дождавшись, добавил огорченно:

— И таких анонимочек на разных граждан и по разным поводам написано вами восемнадцать штук. И все, извините, липа.

— Что?

— Липа, говорю. Неправда, значит. Или, сказать точнее, клевета.

Семен Митрофанович обстоятельно собрал все бумажки, вложил их в записную книжку, а книжку спрятал в карман. Хозяин по-прежнему отрешенно глядел на торшер возле журнального столика со столкой старых газет. Ковалев поднялся и, заложив руки за спину, неспешно прошелся по комнате.

— Пыльно живете, гражданин Бызин. Да оно и понятно: в двухкомнатной квартире площадью сорок два квадратных...

— Я заслужил! — вдруг закричал хозяин.— Я честно, себя не щадя, куда велели! Я сорок лет, я...

Он замолчал так же внезапно, как и начал. Ковалев подождал, не добавит ли он еще чего, но Бызин не добавил.

— Я ваших заслуг не отрицаю,— тихо сказал Семен Митрофанович.— Я ведь не о том, Геннадий Васильевич. Я ведь о том, что один вы в этих метрах остались, вот ведь какой факт получается. Дочь у мужа живет, жена — у дочери, а сын ваш с Ольгой Юрьевной Ларионовой в другом конце города комнату снимают. Он по ночам уголь на станции грузит, чтоб за комнату эту платить.

— Сожительство! — Геннадий Васильевич весь подался вперед.— Сожительство, а милиция потворствует?

— И здесь перебор,— строго сказал Ковалев.— Свадьба-то была. Была, гражданин папа, вот ведь какой факт получается.— Геннадий Васильевич молчал.— И откуда в вас злоба-то эта, Геннадий Васильевич? Почему вы никак понять не можете, что молодые по-другому жить хотят, не так, как

мы с вами прожили? Веселее, звонче, радостнее. И — я, конечно, извиняюсь — честнее.

Хозяин упорно молчал, уставившись в одну точку. Глаза его были напряженными, будто он что-то ловил, а это «что-то» все время ускользало от него, и он снова ловил.

— Вот тут адресок ихний, — сказал младший лейтенант и положил на стол записку. — Сходите к Ольге Юрьевне, когда сын на работе будет. Она хорошая, умная женщина, она все понимает...

— Что? Что она понимает?! — вдруг странным тоненьким криком перебил хозяин. — Тут сын родной, сын, сын ничего не понимает, сын собственный!.. Разве ж я о себе когда думал? Я ведь и думать-то о себе не умею. Не умею о себе думать и горжусь! Я о государстве нашем, о государстве день и ночь! Всю жизнь за благо его, всю жизнь до часа. Известно это кому? Почему же сын не уважает? Почему? Разве я сам себя когда до чего допускал? Я же только указаниям следовал, делал, как приказывали! А меня за преданность мою... Меня, меня, который, который...

Он скорчился, спрятал лицо в ладонях, повел плечами, сдерживая слезы, и не сдержал: вскрикнул. Семен Митрофанович горестно вздохнул, покачал головой:

— Где у вас капельки?

— Не надо... капелек, — шепотом сказал Бызин, ладонью растирая слезы. — Плохая молодежь, плохая. Развращенная. И отцов не чтит, заслуг их не уважает. Уголь грузит? Дурак! Пусть грузит, пусть!.. Небось, когда прижмет, прибежит. Прибежит ко мне, прибежит!..

— Нет, — сказал младший лейтенант. — Не прибежит. Не обманывайтесь.

— Да?..

— Да. Так что свыкнитесь с этим и не завидуйте другим.

— Это я-то? Я?.. Завидую?.. — Бызин с изумлением глядел на Ковалева.

И замолчал. И изумление на его лице словно окаменело, словно вдруг внутрь обернулось, в самого себя.

— Не завидуйте, Геннадий Васильевич, — тихо повторил младший лейтенант. — А сейчас попроситься с вами разрешите. Здоровья вам пожелать и спокойствия души. Очень это важно на старости лет — спокойствие души. Очень.

Прошел в коридор, долго надевал фуражку, топтался: слушал, как там хозяин. А тот все что-то не появлялся. Потом вышел, глянул на Ковалева, как на фонарный столб, и молча стал отпирать затворы. И так же молча на место все крючки накиннул, когда Семен Митрофанович вышел на лестничную клетку.

Давно уже замер звук последней задвинутой щеколды, давно прошаркали по коридору шаги, а Ковалев все еще стоял перед наглухо заложенной дверью — последней цитаделью, куда отступил этот так ничего и не понявший в жизни старик. Стоял, вздыхал и расстроено думал, что не так он провел свой последний разговор, как следовало. Ох, не так!..

раньше это как-то не очень заботило, и только сегодня пришлось-таки вспомнить, что на пенсию он уходит не по собственному капризу. Поэтому у нужной ему квартиры он задержался дольше обычного, чтобы отдышаться и разговаривать голосом, положению его соответствующим. И пока он одиноко пыхтел на пустой лестничной площадке, вздыхая и сокрушаясь, что по таким пустякам время теряет, вдруг показалось ему, что за дверью, перед которой он стоял, ясно и весело прозвучал девичий голос. Слов Семен Митрофанович не разобрал, но голос... голос узнал сразу: насчет этого слух у него был в полном порядке. Воробьи той голос-то был, девчонки, с которой он вместе ехал сегодня в служебном «газике».

А вот того, ради кого младший лейтенант сейчас перед дверью пыхтел, того совсем не Валерием звали, а Анатолием. И никаких Валер в друзьях его вроде никогда не числилось, как Ковалев ни пытался припомнить...

Но это так, на всякий случай в нем промелькнуло. Просто для уточнения, да и голос при всем его миллицейском слухе мог вполне свободной другой птице принадлежать и совсем, может, не воробьишке даже, а голубке или лебедушке. И младший лейтенант, усмехнувшись про себя этому соображению, нажал кнопку звонка.

Он только прикоснулся к ней — так ему показалось, — а дверь вдруг словно сама собой распахнулась, и на пороге оказался хозяин: в белой рубашке, хоть, правда, и без галстука.

— Ну, ты — молоток, старик! С космической ско...

Все это он выпалил бодро и радостно, но, увидев, кто стоит перед ним, осекся, сглотнул полслова и — онемел. Но Семен Митрофанович не глядел на него: он через плечо его смотрел в глубь коридора и слово был готов дать самое твердое, что мелькнула там, в глубине, легкая фигурка. Мелькнула, как видение, точно ветром снесенное, и все-таки Ковалев засек и худенькие плечи, и совсем по-особому вздернутую голову воробьишки...

— Простите, — растерянно бормотал Анатолий. — Спутал. Друг обещал заглянуть. Думал, он...

Пока шло это необязательное лихорадочное объяснение, Семен Митрофанович оглядывался. Видение, в котором он точно узнал свою недавнюю подопечную, уже скрылось где-то в недрах огромной квартиры, но у самого порога остались небрежно сброшенные модные туфельки: лак на одном был чуть поцарапан. Все это младший лейтенант успел разглядеть, пока Анатолий многословно и непривычно вежливо объяснял свою ошибку. И разглядеть успел и даже про себя усмехнулся, вспомнив, откуда царапина на туфле: девчонка в «газике» ноги под сиденье закинула, пряча от него обновку...

— Вежливый ты сегодня, Анатолий.

— Я вообще вежливый. — Парень неопределенно пожал плечами, выдавил улыбку, как пасту из тюбика, и впервые рискнул поднять на Ковалева глаза. — Меня вежливости еще мама с папашей...

— А сейчас где они?

— На даче... — Анатолий как-то странно усмехнулся. — А зачем вы спрашиваете? Вы же и так все знаете.

А глаза были блудливы, как мыши: то ли боялся, что младший лейтенант родителям про девчонку расскажет, то ли еще чего-то боялся, посерьезнее. И в квартиру не пускал, явно не пускал, стоя на пороге. И еще — спешил. Спешил куда-то, слова без оглядки роняя. Пустые слова: не для разговору — для болтовни.

Обо всем этом младший лейтенант думал как-то сразу, в целом, не отделяя причин от следствий да

С этим неприятным осадком он спустился вниз, пересек двор и поднялся на пятый этаж последнего подъезда. Поднимаясь, он не торопясь, с одной, правда, остановкой, потому что строители этих семиэтажных ампилов забыли предусмотреть в подъездах лифты. Однако Семена Митрофановича

и не ища их сейчас. Он по опыту знал, что хуже нету, как причины да следствия с ходу устанавливать, и поэтому, все замечая, выводы делать опасался. Выводы завтра сделать можно будет, в госпитале, вдвоем с Данилычем.

— Жалуются на тебя, Анатолий.

— Что?.. Кто?

— Так и будешь меня в коридоре держать?

— А... Извините.— Анатолий отступил в сторону, предупредительно распахнул ближайшую дверь.— Прошу.

И это было не совсем обычно, потому что — Семен Митрофанович все эти квартиры, весь строй их и быт давно наизусть знал, потому что прежде его всегда в большой комнате принимали, в столовой. А это была папашина комната: сюда самому Анатолию и то был вход заказан.

А сегодня — и дверь нараспашку, и это Ковалев тоже запомнить постарался.

Комната была маленькой: дворцы эти лишь снаружи роскошно выглядели, а внутри только лестничные клетки соответствовали внешнему виду. А комнаты в каждой квартире были на редкость неудобными, и эта, хозяйская, была более схожа с кладовкой, чем с жильем человеческим: свету в ней было мало, дверь — велика, да и барахлишка здесь скопилось тоже предостаточно. И барахлишко-то странное было, очень странное: громоздкое, старое, неудобное, широкозадое какое-то.

— Присаживайтесь,— сказал Анатолий.— Можете закурить.

«Советский Союз»,— подумал Ковалев.— Сорок копеек пачечка...»

И сказал:

— А закурить-то у тебя найдется?

Парень хлопнул по карману, метнулся к дверям:

— Сейчас!

Услужлив он сегодня был, ох, услужлив! И вежливостью от него несло, как одеколоном из парикмахерской...

— Вот, пожалуйста.

«БТ». Младший лейтенант даже обрадовался, что другими оказались сигареты. Почему обрадовался, и сам понять не мог, но обрадовался.

И закурил, хоть от сигареток этих в горле у него першило.

— Жалуются на тебя соседи, что нарушаешь ты постановление горсовета.

— Какое постановление?

— Насчет шумов. Магнитофон у тебя больно зычный, Анатолий. На весь квартал хватает.

— Так ведь музыка. Искусство, товарищ младший лейтенант.

Осваивается понемногу, раз об искусстве заговорил. Значит, страх проходит. Перед чем же страх-то был? Что его напугало?

— Искусством, согласно постановлению горсовета, заниматься можно до двадцати трех часов. А потом — конец всякому искусству. Ясно?

— Усвоил.

— Если бы ты песни красивые играл, тогда бы и нареканий не было. А у тебя будто режут кого. Орут какие-то нетрезвые на иностранных языках. И орут громко.

— Вы попутно и эстетике обучаете?

— Попутно.— Ковалев поднял палец.— Именно что попутно, Анатолий. Это ты умно сказал.

И замолчал. Пыхтел себе сигареткой, разглядывал громоздкие комоды и ждал. Видел, как Анатолия вдруг в краску кинуло, как закурил он...

— А что вам, собственно, нужно? Неужели ради магнитофона этого?..

Не выдержал. Брякнул с нервов и замолчал. Проболтаться боится, что ли?

— Попутно,— повторил Семен Митрофанович.— Магнитофон — это попутно. Веткиных знаешь?

— Не знаю я никаких Веткиных!..

Громко слишком выкрикнул. Слишком громко.

— Среди прочих вещей, что взяли у них, туфли лаковые числились. Иностранного производства туфли: дочка их за границей купила и у родителей на хранение оставила.

— Ну и что из того? — грубо перебил Анатолий.— Мне-то что до этих туфель заграничного производства?

— А то, что они у тебя в передней стоят, эти туфли.

Это он спокойно сказал, размеренно. Сказал и ждал, что будет. Вскочит Анатолий, закричит, покраснеет — что?.. Что-то должно было произойти, потому что туфли эти он видел собственными глазами и сейчас по первой реакции парня должен был понять, знает ли сам Анатолий, что туфельки эти — ворованные?..

И промахнулся. Позорно, как первогодок несмышленный, опечатку допустил. Крупнейшую опечатку!..

Не вскочил Анатолий. Не закричал, не покраснел — спросил. Спокойно спросил, улыбаясь:

— Какие туфли, товарищ младший лейтенант?

Все понял Семен Митрофанович. По глазам, по чуть прорвавшемуся торжеству, по спокойствию. И поэтому снял этот вопрос с повестки как неоправданный:

— Шучу я, Анатолий. Шучу!

Встал, пошел к двери — Анатолий и здесь поспел предупредительно распахнуть ее. Вышел в коридор, стельнул по полу глазами: все правильно. Тю-тю туфельки те вместе с ножками! С приветом, как говорится!..

— Вместо меня теперь будет Степан Данилыч Степешко,— официально сказал Ковалев.— Ты уж не беспокой его нарушениями, ладно? Как-нибудь до двадцати трех укладывайся в рамки.

— Уложусь.

— Ну, счастливо тебе, Анатолий.— Шагнул к дверям, обернулся вдруг.— А ведь туфельки-то были. Были, Толя, вот ведь какой факт получается. Так что учти. Если умный.

И вышел. Нарочно быстро вышел, чтоб парень наедине с его последними словами остался. Очень это сейчас было важно: оставить его наедине с этими словами.

А сам во второй дом направился: из семизатжек — второй. И пока шел, улыбался: перехитрила его, старого волка, молодежь эта магнитофонная. Провела да вывела без стука, без шороха, пока он над собственными планами потел. Ну, и правильно сделала: не держишь ногу — выходи из строя. Еще одно доказательство, что в самый цвет он рапорт подал. В самый раз, в яблочко.

Нет, не верил он, что Анатолий в квартирной краже замешан. Ну, задирист парень, ну, нагрубить может, ну, старших не почитает, ну, с девчонками там, с винцом замечен — так ведь от этого до уголовщины никакая ниточка не ведет. Совсем это разные вещи, и под один параграф ставить их не следует: ошибочно это. Да и по характеру Анатолий не из тех, что в капезе, как в собственную квартиру, приходят. Он ведь не милиции боится, он заплакаться боится и, значит, именем своим дорожит. А это тормоз надежный.

Однако воробыха была у него? Вроде была. Туфли на полу в прихожей лежали? Лежали. Без всяких «вроде»: точно лежали. И ждал Анатолий кого-то, с нетерпением ждал. Кого, спрашивается?



не задумываясь, точно раскручивала много лет назад взведенную пружину. Без оглядки жила, словно на бегу. Ну, а теперь... теперь добежала. Теперь ей самая пора была к месту причаливать, на якорь становиться, а якоря-то этого в наличии и не имелось. О якоря своевременно заботиться следует, и умные люди его загодя подбирают...

— Входите!

Дух в большой комнате стоял, точно в милицмейской курилке под утро. И окурки везде понатыканы: в пепельницах, в тарелках, в цветах. И рюмки невымытые на столе и бутылки пустые: хороший кавардак здесь вчера устраивался, на всю катушку...

Младший лейтенант первым делом окна настежь распахнул, чтоб выдуло весь этот кабацкий дух к чертовой матери. Тут Агнесса Павловна вошла—в пестром халате, зеленая то ли с пересыпу, то ли с перекуру. Сказала безразлично:

— А, это вы...

Плюхнулась в кресло, схватила сигарету. Семен Митрофанович ждал у окна, пока она в соображение войдет. Ждал, глядел на измятое, безжизненное лицо этой еще совсем нестарой женщины, на дрожащие пальцы и жалел ее. Раздраженно жалел, дурой чертовой про себя ругая.

— Хотите кофе, Семен Митрофанович? Я вам по-особому сварю: меня композитор один научил.

— Это потом, спасибо. Тихо вы вчера гуляли.

— При закрытых окнах.— Она усмехнулась.— Цените, Семен Митрофанович.

— Ценю,— серьезно сказал он.

Не отшутился: правду сказал. Он уважал ее, беспутную, добрую и очень одинокую. И она его уважала: вся гульба здесь втихую шла, за тяжелыми шторами, чтобы ему, младшему лейтенанту Ковалеву, поменьше было беспокойства.

— С прошедшими именинами вас.

Она покивала. Потом вдруг улыбнулась, даже глаза чуть ожили.

— Учтите: мне — тридцать девять, и ни на один день больше!

Сорок три ей вчера исполнилось, но точность здесь была ни к чему. А вздохнул Семен Митрофанович по другому поводу:

— Себя бы пожалели.

Всерьез сказал, и не во исполнение параграфа — от души. Сроду бы он никогда себе не признался, что... Ну, да что уж там: он милиционер, а она — кофе с композиторами... Да и потом, усмехнулся Ковалев, ему завтра на пенсию, а ей вчера — тридцать девять, и ни на один день больше. И вздохнул:

— Пожалели бы вы себя, Агнесса Павловна!

— А!..— Она беспечно махнула рукой, сигарета

Вопросы эти в книжку он заносить не стал, а решил при встрече ознакомить с ними Данилыча. Не просто ознакомить: обсудить. Насчет профилактики и девчонки этой. Воробыхи...

— Не заперто! Входите!

Он и не заметил, как к Агнессе Павловне поступал.

Вошел, снял фуражку, крикнул в гулкую квартиру:

— Добрый день, Агнесса Павловна! Это из милиции к вам. Семен Митрофанович.

— Ну, что там еще? Погодите, оденусь!

Усмехнулся Ковалев: то не заперто, то погодите. Станный народ, женщины одинокие!

Агнесса Павловна в тридцать овдовела, красивая бабенка была, тугая, ядреная, и все соразмерно, ничего не скажешь. Завидная вдовушка: и квартира, и дача, и машина, и в самом соку. Однако тогда она не спешила. Тогда она так считала, что лучше быть вдовой профессора, чем женой аспиранта. И жила,

немного привела ее в чувство.— Так как же насчет кофе?

— Кофе?..— Он прошел, сел напротив.— Это потом. Сами выпьете. Я ведь просто так зашел. Попрощаться зашел, точнее сказать.

— Попрощаться? Уезжаете куда?

— Уезжаю, Агнесса Павловна. Совсем уезжаю, потому как с ноля часов выхожу на пенсию.

— На пенсию?..— Она встала, глядя на него и вслепую тыкая сигарету в пепельницу.— Семен Митрофанович, дорогой, вы шутите так, да?

— Нет, не шучу. Сдаю участок новому товарищу старшему лейтенанту Степешко Степану Даниловичу. Мы с ним заходили к вам, да вы аккурат на даче были...

Она вдруг бросилась к столу, зазвенела бутылками:

— Черт!..

— Что вы там, Агнесса Павловна?

— Погодите!..

Зло сказала, с сердцем и вышла так стремительно, что полы халата крыльями взлетели в воздух. И вернулась быстро: Ковалев даже подивиться не успел, куда это ее унесло. Притащила початую бутылку коньяка и две чайных чашки: остальная посуда, видать, вся грязная была.

— Не все вчера вылакали.

Плеснула в чашки.

— Не надо,— сказал он.— Я при исполнении, а у вас печень бо́льшая. И ночь вы не спали и курили много...

Он замолчал, потому что увидел вдруг, что из глаз ее медленно, одна за другой текут слезы. И она их не вытирает, а только моргает часто.

— Семен Митрофанович!— Она глубоко вздохнула.— Семен Митрофанович, дорогой мой, вы же один-единственный во всем свете ко мне по-человечески относились... Нет, нет, вы не говорите ничего, вы помолчите, я говорить буду. Вы меня от всех этих баб, от всех этих Бызиных, от склок, сплетен, дрызг вот уж сколько лет грудью своей прикрываете. Если бы не вы, сожрали бы они меня. Сожрали бы, Семен Митрофанович, сожрали!.. Вот почему...— Она помолчала, улыбнулась.— Реветь хочется, понимаете? Но это так, это пройдет...— Агнесса Павловна вдруг совсем по-девичьи шмыгнула носом.— Живу я беспутно, глупо, пошло живу— это я все понимаю. За это и наказана: ни семьи, ни детей, ни внуков— пустота впереди. И вы, вы один поняли, что мне... мне... Ну, скажите, что мне, Семен Митрофанович. Скажите на прощание.

— Страшно вам, Агнесса Павловна,— тихо сказал Ковалев.— А особо по ночам страшно, и потому вы ночей одиноких боитесь и себя губите, гостей со всего города созывая...

— А теперь и вы уходите,— перебила она.— Так будьте хоть вы счастливы, дорогой мой человек! Будьте счастливы среди детей и внуков: уж кто-кто, а вы заслужили это.

Она залпом выпила коньяк,хватила чашкой об пол: только осколки брызнули.

— На счастье!.. А сейчас уходите. Уходите, Семен Митрофанович, а то я так реветь начну, что не обрадуетесь!

— Хорошо.— Он аккуратно поставил чашку, пошел к дверям.— Я вас Данилычу передал, Агнесса Павловна, так что не волнуйтесь. Данилыч— человек очень серьезный...

— Не надо меня никому передавать. Не надо: я ведь не деревяная.

— Тогда...— Он потоптался, обдумывая, следует ли ей говорить то, что только сейчас пришло ему в голову,

— И говорить ничего не надо,— сказала она.— Не надо, пожалуйста, не надо: этак и до пошлостей можно договориться.

— Я к вам завтра зайду, Агнесса Павловна. Завтра в десять утра.

И вышел. И пока шел в следующую квартиру, все думал о том, что пришло ему вдруг в голову и о чем он завтра собирался беседовать с Агнессой Павловной.

А пришло ему в голову уговорить Агнессу Павловну бросить эту забубенную жизнь. Оставить город, продать дачу, а вместо нее купить дом в том селе, в котором он сам намеревался жить. Там бы она уж никак не была бы одинока, там бы вокруг нее живо бы завертелись и бабенки и ребятишки, потому что в сельской местности на культурных людей голод стоит великий, а Агнесса Павловна когда-то кончила музыкальное училище и играла на пианино. Да и кроме пианино, кроме бесед да лекций, многим она могла привлечь детвору, потому что детвора— она доброту аж за восемь верст чует и платит за нее червонной любовью. А в доброте Агнессы Павловны Семен Митрофанович не сомневался: он доброту в человеке тоже за восемь верст чуял...

Основная трудность в том была, что надо было как-то завтра к этому вопросу подойти. Тут ведь не в слова дело заключалось— слова у нас одни на всех выданы,— тут основное, как эти слова сказать. Как не обидеть, не задеть, как согреть ими человека. Согреть— он об этом всегда думал, потому что мерзнет душа человеческая при центральном отоплении, мерзнет, льдинкой покрывается, и всегда надо стараться так сделать, так сказать, чтоб от льдинки той только роса осталась. Роса— это ничего, это хорошо даже. Роса— она освежает...

Шел старый милиционер по крутым лестницам, потел в грубой тужурке, отдувался на площадках и думал. Думал, как ему завтра росу эту в душе прокуренной пробудить...



И только перед знакомой дверью думы эти временно в сторонку отложил. Поправил фуражку, тужурку одернул, проверил, на месте ли галстук: словно не к жильцу шел, а к самому комиссару товарищу Белоконю, который ждал Семена Митрофановича завтра ровно в двенадцать часов. Но уж очень уважал Семен Митрофанович этого жильца, очень уж разговаривать ему с ним приятно было, и поэтому младший лейтенант Ковалев к встрече всегда готовился строго.

А зауважал он его сначала от удивления. Давно это было: он тогда только-только с домами этими знакомился и в эту квартиру позвонил по долгу службы. Времени было аккурат половина пятого, но хозяева чай пили, и ему пришлось приглашение к столу принять: чай— не водка, инструкция не препятствует. Хозяин и тогда был не молод (сейчас-то совсем уж облез и побелел!). Далеко не молод, а улыбался, как молодой,— глазами. Младший лейтенант представился как положено...

— Митрофанович?— Молодо глаза улыбались, озорно.— Воронежский, значит?

— Точно,— растерянно подтвердил Ковалев.— Как угадали?

— Это теперь гадать приходится, откуда родом, скажем, Руслан Спартакович: то ли из русской былинки, то ли из футбольной команды. А в старые времена в обычае было называться по местным святым: Митрофан— значит, воронежский, Абрам— из

Смоленска, Пропок — из Великого Устюга. И имен в обиходе было куда больше, и толк в них был совершенно особый: не внешний, а внутренний, привязанный к своему месту, к своему роду-племени, к своей истории — не соседской...

С удивления началась их дружба. Семен Митрофанович терялся среди книг, которыми были заняты все стены до потолка. Терялся, слова путал, мямлил чего-то, но хозяин был прост, радушен, и вскоре Ковалев освоился. А освоившись, полюбил это место: старые книги, старую мебель, кабинетную тишину, уют. Но главное, что полюбил, — беседы хозяина. Разговоры он умел разговаривать, вот в чем дело было...

Так было и сейчас.

— Почему люди зло совершают, Артем Иванович? Зло ведь труднее совершить, чем добро, а совершают. И ведь голода нет, одеты все, обуты...

— А по-вашему, Семен Митрофанович, как: человек — добр или зол? Человек вообще?

— Вообще добрый он, Артем Иванович. Он ведь и рождается добрым: дети — они ведь все добрые, они ведь, что такое зло, и не понимают. Просто не понимают — и все.

— А добро?

— А добро понимают. Ведь ребенок, если с ним по-хорошему, он все свое отдаст. И поможет всегда, сколько сил имеет, без расчета. И слезы-то его первые — от зла. Он не понимает его, зло-то, потому и расстраивается. Нет, не от боли он плачет, Артем Иванович, он от обиды плачет. От обиды, что зло в мире водится, вот ведь какой факт получается.

Артем Иванович — маленький, седенький, в золоченых очках — утонул в кресле по самые плечи. Поблескивал острым глазом, обдумывал каждое слово. И угощал чаем с вафлями. Вафли какие-то особенные были: дочка из Москвы присылала.

— Да, мир добр, человек зол — так в старину считали. А рождаются все одинаковыми, и ребенок гитлер ничем не отличался от любого другого ребенка. А потом стал отличаться. Почему? Очевидно, есть во зле какая-то притягательная сила.

— Нет такой силы, — застенчиво сказал Семен Митрофанович. — Добро — это сила, а зло... Зло, я извиняюсь, конечно, вы человек ученый, зло, Артем Иванович, бессильно. Потому бессильно, что души за ним нету. А без души какая же сила?

— Справедливо, Семен Митрофанович, совершенно справедливо. Только припомните, пожалуйста, кого-нибудь доброго из истории.

— Да я ведь насчет истории-то...

— А я, историк по профессии, никого не могу припомнить. Маккиавелли — помню, Игнатия Лойолу — помню, Святополка Окаянного — тоже помню. Даже о Петре Великом думаю, я в первую очередь казнь стрельцов вспоминаю. И знаете, почему? Со всем не потому, что зло всеильно, а потому лишь, что зло есть отклонение от нормы. Зло есть горбатость духа человеческого, уродство его, а уродства, ненормальности, естественно, запоминаются прочнее, чем нечто обыденное. А норма-то для человечества суть добро, и будет время — будет, Семен Митрофанович, будет! — когда норма эта восторжествует окончательно, повсеместно и на веки веков!..

Артем Иванович давно уже о чем-то другом рассказывал — об истории чая, что ли, — а Семен Митрофанович, хмурясь, старательно обдумывал его слова. И чем больше думал над ними, тем все больше не соглашался и страдал.

— Я извиняюсь, конечно, очень, — опустив голову, тихо сказал он. — Вы человек ученый, вы книг вон шесть стенок прочли, а только очень я с вами, Артем Иванович, не согласен. Не обижаются?

— Помилуйте, Семен Митрофанович...

Семен Митрофанович осторожно откашлялся. Ему очень хотелось закурить, но хозяин был некурящим.

— Насчет того, что добро — нормальное дело, это я не спорю. Это все — правда чистая, тут я под любым вашим словом по два раза подпишусь. Только, как бы сказать... Причину-то вы не вскрыли, Артем Иванович. Говорите, у злого душа горбатая. Верно, горбатая, а отчего? По какой причине?.. Кто душу-то его с печки уронил? Нет ответа. А душа — она ни с того ни с сего горбатой стать не может. Тут причину надо иметь, вот ведь какой факт получается.

— И что же, Семен Митрофанович, нашли вы эту причину?

— Думается мне, нашел. — Младший лейтенант еще раз кашлянул, вздохнул поглубже. — Злой — он что такое? Он брать все любит. Он под себя все подминает, о себе лишь заботится, а на остальных ему, я извиняюсь, наплевать. А добрый — он как раз наоборот, Артем Иванович. Он потому и добрый, что о себе не думает, что о соседе страдает, что готов рубаху с себя последнюю снять. Давать и брать — вот что значит добро и зло. И пока давать да брать не сроднятся друг с дружкой, пока не уравниются, до тех пор и зло с добром рядышком шагать будут. Рядышком по жизни.

— Значит, вы считаете, что всеобщая экономическая уравниловка способна ликвидировать эту извечную проблему?

— Нет, не считаю я так, Артем Иванович. Конечно, экономика — это могучий, как говорится, фактор, только не в ней одной дело. Экономика — это возможности: ну, купить там что, так я понимаю. А кроме купить, у человека еще желаний-то ой-ой! Он и славы хочет, и почета, и удобства жизни, и прав со всеми равных. Он брать все это хочет, а он давать должен, вот в чем вся штука-то. Сейчас какой самый главный глагол вредно действует? Брать. А должен какой по всему смыслу жизни нашей? А должен — давать. И пока каждый человек сам это не прочувствует, пока сам не поймет, что давать обязан, до тех пор мы зло не выкорчем. Не искореним, как говорится, Артем Иванович.

— Ну, а рецепт какой пропишем человечеству, Семен Митрофанович? Всеобщее самоусовершенствование, что ли?

— Воспитание, — серьезно сказал младший лейтенант и опять вздохнул. — Плохо у нас этот вопрос заострен, Артем Иванович. Перепутали мы где-то воспитание с учением и до сих пор никак в этом не разберемся. Что должна школа делать? Учить. А семья? А семья — воспитывать. Так почему же арифметике там, письму — этому специалист учит, а воспитание граждан — государственное дело, правда ведь? — мамаше оно поручено. А мамаша от работы, от толчеи магазинной, от корыта, от кухни очумелая вся как есть. Ей не то что воспитанием, ей самой себе лоб утереть некогда, вот ведь какой факт получается... — Семен Митрофанович похмурился, посопел.

Все, что Ковалев сейчас Артему Ивановичу излагал, не вдруг родилось, не враз надумалось. Нет, Семен Митрофанович любил над жизнью поразмыслить, поворочать ее и так и этак, покантовать с грани на грань. И не просто поразмыслить, не повздыхать над трудностями, а свое предложить. Свое, взвешенное, обсосанное, ночами продуманное решение. Потому что не гостем он себя чувствовал в государстве своем, не винтиком, а хозяином. Хозяином с полной мерой ответственности. И потому решения эти он тоже в книжечку заносил: под особый параграф. И насчет этого параграфа тоже надлежало завтра с комиссаром Белоконом потолковать...

Итак, с семизатжками, с дворцами этими покончено было раз и навсегда. С кем надо, поговорено, кому надо, указано, а кому просто: прощай, мол, гражданин хороший, дай тебе бог никогда с милицией не встречаться. Трудный это был отрезок, и шел в семизатжки Ковалев всегда без удовольствия, всегда с напряжением и потому уставал. А когда на работе без удовольствия устаешь, разве ж это работа? Это не работа, это — наказание господне. Карторга.

В этом смысле для младшего лейтенанта роднее всего пятиэтажки были. Жил там народ и попроще, и помоложе, и повеселее. Здесь если уж не любил кто кого, так об этом без всяких анонимок весь квартал знал. Если гулял кто, так и окна настезь. Если спорил, ноль-два звонили. А то и ноль-три случалось...

Но скандалов не было. В целом. Мирным путем конфликты разрешались, а разрешившись, гасли, и вчерашние противники на следующее утро мирно калякали в автобусе по пути на работу. И вот за эту простоту, за отходчивость и беззлобность и любил Ковалев свои пятиэтажки.



Правда, он их напоследок оставлял, на сладкое. А пока, выйдя из семизатжек, крюк сделал и навесил три оставшихся в его перестроенном районе деревянных домишка. Прежде здесь село было, потом село это само собой в дачный поселок переросло, а в послевоенное строительство влилось в черту города и пошло под бульдозер. Почти все пошло: три дома всего уцелело. Два потому, что в тупике оказались и на место их никто не зарился, а один — под голубой крышей, веселый такой, один Семен Митрофанович сам сохранил. Лично. И крышу в прошлом году сам перекрасил голубой краской. Еле-еле краску такую достал. Нестандартную.

Собственно, понятия «сам», «лично», равным образом, как и «мое», Семен Митрофанович употреблял редко даже в потайных своих мыслях. Стеснялся он этих слов, если за ними не стояло что-либо предосудительное: вина или проступок. Вот тогда младший лейтенант Ковалев громче всех кричал «сам» и «лично», а в прочих случаях предпочитал число множественное. Но домик под веселой голубой крышей как раз и явился причиной столкновения числа множественного с числом единственным, и тут уж младший лейтенант без слова «лично» так и не смог обойтись.

В те времена домик—черный, скособоченный, под ржавой крышей — торчал среди новеньких пятиэтажек, как гнилой зуб среди стальных коронок. С каждым месяцем все ближе и ближе подбирались к нему строители и в конце концов зажали с трех сторон. Кто-то уже свалил забор, кто-то спалил его на веселом костре, кто-то случайно сгрузил возле входной двери бетонные плиты, а домик стоял упрямо и несокрушимо, и хозяева его по-прежнему упорно отказывались переезжать куда бы то ни было.

Впрочем, хозяев не было. Была хозяйка. Одна: Мария Тихоновна Лукошина, по-местному баба Яга.

До той поры Семен Митрофанович как-то мало с ней встречался. В конфликты ее с соседями не ввязывался, жалоб на нее со стороны соседей не принимал (зачем жалобы, когда вот-вот люди по разным улицам разъедутся?), в гости не заходил: не приглашали. Дважды, правда, пытался: первый раз аккуратно тогда, когда дома эти принимал, — но оба раза встречали его у дверей два сухих старушечьих гла-

за, и было в глазах этих что-то такое жесткое, такое неласковое, что младший лейтенант дальше порога и не заглядывал. И по взглядам этим, по угольям горящим под седыми бровями убежден был, что бабой Ягой старуху эту одинокую и мрачную назвали совсем не напрасно.

Второй раз он к ней официально ходил, как представитель, поскольку от строителей поступила жалоба, что старуха уезжать не хочет, домишко ломать не дает и вообще всячески мешает прогрессу на данной улице. Но и в тот день Семена Митрофановича пустили не дальше порога, и разговор поэтому получился на сквозняке.

— Отказываетесь, значит, гражданка Лукошина Мария Тихоновна?

— Дайте помереть спокойно.

— Но ведь вам предлагается отдельная однокомнатная квартира в новом доме со всеми удобствами. Вы, Мария Тихоновна, подумайте только: вам, одинокому человеку, наше государство дает целую квартиру! Да тут...

— Дайте помереть спокойно.

— Выселим, гражданка Лукошина. Силой ведь придется...

— Дайте помереть спокойно...

До сих пор он того разговора простить себе не мог.

Вот на следующий день утром все и случилось. Получил бульдозерист наряд, подогнал машину к дому, постучал вежливо:

— Эй, хозяйва, вытряхайте! Полчаса на сборы — и вонзайтесь я в вашу трухлявую жизнь!..

Не отвечали в доме. Стучал, кричал — молчание. Побежал за бригадиром, тот прораба притащил, прораб — штукатуров и маляров из соседнего дома, что уже был сдан под отделку. Тоже стучали, тоже кричали — молчал дом. Молчал, пока прораб не приказал двери выломать. Только взялись за них — радостно, надо сказать, взялись, потому что не каждый день малярам такое развлечение, — только взялись: распахнулись эти двери, как в сказке. И баба Яга на пороге. Молча крик весь выслушала и вроде не поняла: смотрела спокойно, за вещи не хваталась и даже не плакала.

— Ломать вас буду, бабуся, — сказал бульдозерист.

Поглядела на него угольями своими.

— Не бабуся я, — сказала. — Не бабуся, не мамаша, не теща: просто старая женщина. Очень старая женщина...

— Ломай! — закричал прораб. — Ломай к чертовой бабушке на мою ответственность! И так полдня потеряли!

— Как же можно так! — зашумели девчонки-маляры. — Права не имеете ломать! Перевезти сперва человека надо!.. Давайте, бабушка, мы вам поможем...

— Не надо, — сказала баба Яга. — Ничего не надо. И ушла в дом. И пропала. Прораб, плюнув, к себе пошел, маляры на обеденный перерыв, а бригадир сказал бульдозеристу:

— Встряхни домишко — она враз выскочит.

Тут старуха сама вышла. Вышла, как давеча: в домашнем халате, только портреты в руках. В рамках портреты, четыре штуки.

— Ломайте.

— А вещи? — закричал бульдозерист. — Да она чокнутая, бабка эта! Где ваши вещи?

— Какие вещи? Глупости вы говорите. Ломайте и все. Ломайте. Только я погляжу.

Села на плиты и портреты рядом сложила. Мастер подошел, пошутить хотел:

— Иконы, что ли, спасаешь, бабка?

— Иконы,— сказала.— Святые мученики великорусские: святой Владимир, святой Юрий, святой Николай и святой Олег. Живыми сгорели под деревней Константиновкой двадцать девятого июля сорок третьего года.

— Сыновья?— только и спросил бригадир.

— Сыновья,— ответила.— Экипаж машины боевой.

Тихо вдруг стало: бульдозерист двигатель выключил. И сказал тихо:

— В дом идите, бабушка. Пожалуйста.

А сам— в отделение, где все, как было, и рассказал. Вот тогда-то и включился Семен Митрофанович на последнем, так сказать, этапе. Восемь раз в Архитектурное управление наведывался; просил, умолял, доказывал. Школу нашел, где танкисты эти учились, музей там организовал. С частью списался, с деревней Константиновкой: и из части и из деревни в назначенный день делегации приехали. Матери альбом от части преподнесли и модель «тридцатьчетверки», а от деревни четыре урны с землей. С могилы земля, где все четверо ее сыновей, все ее внуки и все правнуки лежали.

А стройдетали на другую ночь в иное место перевезли. И забор новый поставили. Это все просто было, это сами строители сделали. А вот, чтобы домишко, где четверка эта по полу ползала, в план новый впихнуть, вот тут Семену Митрофановичу побегать пришлось. Вприпрыжку побегать, по этажам и кабинетам.

Но добился. Площадь чуть передвинули, сквер предусмотрели, и домишко тот в этот сквер как раз и вписался. И как только утвердили бумагу, так Семен Митрофанович и шагнул впервые за порог...

А теперь-то друзьями они с Марией Тихоновной были. И не только они: дом пионерами с утра до вечера кишел— тут музей братьев-героев организовали, и шуму в доме столько появилось, что Семен Митрофанович даже заопасался. Но Мария Тихоновна улыбалась, и уголья на лице ее давно уже теплыми стали: грели, а не жгли...

А голубой краской крыша у домика в сорок первом году была покрашена. Еле-еле младший лейтенант отыскал этот колер...

Но пока шагал он от дворцов к деревняшкам, думал совсем не о Марии Тихоновне, а об Артеме Ивановиче. Думал с уважением, сколько лет сидит среди книг в душевной, плохо спланированной квартире тихий, незаметный работяга-ученый, давным-давно позабывший о том, что у людей есть законные выходные и отпуска. И еще с неудовольствием думал, что у папаши Анатолия, к примеру, дача есть, а вот у Артема Ивановича ничего нету, и что это очень несправедливо. И тут ему пришло вдруг в голову, что несправедливость эту устранить легче легкого: в деревне той, куда он через сутки уезжать собирался, домишко купить труда не составляло. И даже, думал он, даже и покупать-то не надо, а надо только потолковать с руководством колхоза, какой умный и полезный для деревни человек Артем Иванович, и колхоз— Ковалев в этом ни секундошки не сомневался— немедленно выделит ему дом и, возможное дело, даже будет отпускать молоко и картошку. И, обдумав это, Семен Митрофанович сразу повеселел и решил завтра же еще раз навестить Артема Ивановича и во что бы то ни стало уговорить его переселиться к ним в деревню хотя бы на три-четыре месяца в году.

И тут Ковалев во весь рот заулыбался, представив и Агнессу Павловну и Артема Ивановича в деревне: вот это была бы компания на старости лет, вот это была бы жизнь. Думал он об этом вроде бы и всерьез, с удовольствием даже думал, а сам улы-



бался, еще и потому, что все это было только мечтой. А мечтать Семен Митрофанович любил, но всегда посмеивался над собой за такую особенность.

Однако на подходе к домику с голубой крышей он улыбочку с лица смахнул: хоть Мария Тихоновна, как оказалось, никакой бабой Ягой не являлась, все равно через порог этот он с улыбкой перешагивать не решался. Права не имел, если разобраться.

Вторично Ковалев за этот вечер чай пил: на сей раз настоящий — из самовара. Не мог он Марии Тихоновне в этом отказать и мужественно хлебал из стакана кипятка, сидя за тихим вдовьим столом на кухне.

— Конфеты берите, Семен Митрофанович. Пионеры вчера гостинец принесли.

— Спасибо, Мария Тихоновна. Вкусные конфеты.

— Володя шоколадные очень любил. И Коля. А Олежка с Юрой равнодушны к ним были. Я даже удивлялась; до чего равнодушны...

И это тоже в обязанность входило: слушать душевную эту осиротелую. В сотый раз одно и то же слушать и вместе с нею переживать. Мелочь, пустяк, а старушке почти праздник: с кем же еще она о сынах-то своих поговорит, как не со старым человеком?..

— Дружные, просто на удивление дружные мальчики были. Ну, конечно, ссорились иногда, не без того. Но ссоры их никогда дальше порога не шли, и никто про это на улице и не знал...

Насчет этих воспоминаний Семен Митрофанович специально Степешко предупреждал. И водил его сюда трижды: для тренировки. Но Данилыч был человеком серьезным и сам понимал, где, как и кого слушать требуется.

— Они в первый же день решили, что будут в одном танке воевать. В первый же день, в воскресенье то. А сложно было: Володя уж действительную отслужил, а Колюше и семнадцати не было. И ни за что их вместе брать не хотели, и все — и райвоенком и горвоенком — все только ругались. Вот тогда Олежка — он всегда все придумывал и в школе только на отлично учился — тогда Олежка и предложил написать письмо в Москву. Самому Сталину...

Все знал Семен Митрофанович. Все документы, все письма их наизусть выучил, но поддакивал, когда надо, и вздыхал, когда положено.

Что после человека на земле остается? Память? Нет, память — это надстройка, это штука непрочная. А фундамент у нее — дело, которым человек всю жизнь занимался. А если человек этот ничего сделать не смог? Если он, как этот Колька, в неполных девятнадцать свечкой в танке сгорел, тогда что?.. А разве в бою свечкой сгореть — это не дело? Это не просто дело — это сумма всех дел, итог жизни, то, что прописью писать положено. И — удивляться, откуда ж у людей характер берется, что его и на такое хватает...

— А вот скажите мне, Мария Тихоновна, по правде скажите: пошли бы ваши ребята добровольно, если бы знали, что погибнут?

Спросил — и сам испугался: глупый вопрос получился. А ведь он совсем о другом узнать хотел: он узнать хотел, чем те, сороковые, отличались от этих, семидесятых.

— А вы сомневаетесь в этом, Семен Митрофанович?

Опять у нее глаза угольями вспыхнули. И нос словно заострился: баба Яга проглянула.

— Я-то не сомневаюсь. Я понять хочу, Мария Тихоновна. И в смысле морали и в смысле общем...

Девочек ваши ребята не били случайно? Не обижали? Как вы думаете, может человек, который на женщину руку поднял, героем стать? Я считаю твердо: нет, не может. Герой — он и в мирной жизни герой, как, вон, Гагарин наш, вот о чем я думаю, Мария Тихоновна.

— Мальчики хорошие были. Очень хорошие. Это я вам не как мать говорю. Это я истину говорю.

— Вот-вот! — очень обрадовался Семен Митрофанович: он все никак не мог сформулировать свою

мысль. — И я об этом же самом, Мария Тихоновна, об этом же самом! А у молодежи, знаете, часто неверное представление: раз, мол, драчун, раз хулиган, значит, ничего он не боится и обязательно будет героем. А тут все как раз наоборот. Чем хуже человек в смысле дисциплины, тем скорее всего не выдержит. Не выдержит настоящего боя, потому что настоящий бой выдерживают настоящие люди.

— Да, — сказала Мария Тихоновна. — Люди они бы-ли настоящие...

— И потому у меня к вам огромная просьба, Мария Тихоновна. Вы теперь часто с молодежью встречаетесь, — подчеркните эту мысль! Рассказывайте им, какими настоящими парнями были ваши сыновья. Как они слабых защищали, как девушек берегли, как старшим всегда почет оказывали...

— Знаете, что я немцам забыть не могу, Семен Митрофанович? — вдруг ни с того ни с сего сказала она. — Сыновей, думаете? Нет, сыновей я им забыла. Я им внуков своих забыть не могу. Внучаток...

А он о воспитании заладил... А у человека этого вместо сердца одна рана незаживающая. И говорить он может только о боли своей, и ни о чем другом.

Вот так и скисло у него настроение на пути от семизэтажек к пятиэтажкам. И никто в том виноват не был, только он сам. Сам, лично, потому как ближайшую задачу посчитал самой главной для всех, для всего населения.

Расстроился Ковалев. Так расстроился, что остановился посреди улицы и закурил. И курил, пока не окликнули:

— Эй, начальник, прикурить позволишь?

Оглянулся: верзила под два метра. Глазки заспанные, кепочка набок, перегаром разит. И лицо незнакомое: не из его домов лицо, это точно... Семен Митрофанович нарочно спички помедленнее доставал, чтоб всмотреться. Верзила прикурнул, сказал с зевком:

— Стоишь, начальник?

— Стою.

— Ничего у тебя работенка. Не пыльная.

И пошел себе вразвалочку. Усмехнулся младший лейтенант:

— Не пыльная...

Он на такие встречи только сначала обижался, а потом понял, что обижаться-то и не следует. Ведь как раз у таких вот, заспанных, он и проторчал двадцать пять лет, как бельмо на глазу: честный гражданин милицию не замечает. А раз так, не обижаться надо: гордиться.

И, как ни странно, встреча эта уравнивала перекося в душе его. Тот перекося, что возник после неуклюжего разговора с Марией Тихоновной. Решил Ковалев еще раз зайти к ней, завтра, как от Агнессы Павловны и Артема Ивановича выйдет. Зайти, повиниться за бестактность сегодняшнюю, прощения попросить и попрощаться. А решив так, повеселел Семен Митрофанович и к любимым своим пятиэтажкам зашагал в лучшем виде.

10

Был вечер, люди давно уже вернулись с работы, пообедали и теперь вылезли из всех подъездов во дворы подышать свежим воздухом. И в этом тоже была особенность пятиэтажек; лезли люди из них во двор при малейшей возможности. Стремись друг к другу, к общению, к разговорам, легко заводили знакомства, и поэтому во всех этих пятиэтажках не было ни тайн, ни секретов. Никто по

норам своим не прятался, то ли потому, что жители привыкли к коммунальным квартирам, то ли потому, что, толкаясь по утрам в транспорте, работая на заводах, они уже органически не могли жить изолированно, жить только своими интересами. И Семен Митрофанович тоже не мог жить изолированно, тоже не мог жить только для себя и ради себя. И поэтому чувствовал он себя здесь, как дома, и его принимали, как своего, без всяких скидок на род занятий.

— Здорово, Семен Митрофаныч! Ну, как служба идет?

— Да ведь, считай, прошла уже, Кирилл Николаевич, закругляюсь я. Дела сдаю старшему лейтенанту Степешко... Я вроде знакомил тебя с ним?

— Знакомил, Семен Митрофаныч, знакомил. Закуришь моих?

Семен Митрофанович присел на скамейку рядом с суровым мужчиной со шрамом на лице, в белой рубашке, домашних брюках и в тапочках. Они закурили, и к ним со всех сторон потянулись отцы семейств. Рассаживались вокруг, кто где уместился, закуривали, шутили, вспоминали свое, смеялись. И младший лейтенант Ковалев, вдруг размякнув, расстегнул тужурку и снял давивший располневшую шею форменный галстук.

— ...А она в ответ: «Знаю,— говорит,— я вас, командировочных: улетишь-уедешь, а мне это ни к чему...»

— Хо-хо!.. Ну, Петрович дает!

— Не Петрович — девки дают прикурить!

— Так ты ни с чем и отчалил?

— Это тебе, брат, не в городе. Это Заволжье, там девки до сей поры кержаками пуганные.

— Вот где жену-то искать, Серега! Мотай на ус.

— А зачем мне пуганая? Мне непуганые больше нравятся.

— Глупый ты, Серега, парень...

— Ладно, отцы: вы свое, мы свое. Так, Семен Митрофанович?

— Смотря, в чем свое, Сережа.

— Да он все больше насчет девок, Митрофаныч!

— Я всерьез, отцы: мне жениться пора.

— Гуляешь с кем?

— Я-то?.. Да была тут одна, с фабрики.— Парень смахнул улыбку, прикинул.— Хорошая девчонка, ладная. А потом с Толиком крутанула.

— С каким таким Толиком?

— Да с семизтажек, Митрофаныч.

— А ты и спасибо сказал? — спросил суровый мужчина.— Увели девку, а он... Дал бы ему пару раз без третьих глаз!

— А мне это, Кирилл Николаевич, ни к чему. Силой любить не заставишь...

Вокруг гомонили о чем-то, а Семен Митрофанович вдруг выключился из общего хора, вдруг опять вспомнил воробыху в служебном «газике», синяки на ее лице. И еще Анатолия вспомнил, Толика этого: его трусоватую растерянность, его наглинку и — тупельки в коридоре, которые потом ушли как бы сами собой.

Нет, не мог Серега про эту самую воробыху здесь толковать: слишком уж просто все тогда выходило. Хотя по-прежнему неясность оставалась, за что девчонку эту били и кто же такой все-таки этот самый Валера?

— Ты, Сережа, Валеру случаем не знаешь?

— Какого Валеру, Семен Митрофанович?

— Ну, того, что с Анатолием дружит?

— Н-нет, Семен Митрофанович, вроде у Толика никакого Валеры в корешах не водится... Не знаю, может, сейчас появился. А что?

— Да так, на всякий случай.

— Напарник у меня Валера. Валерка Гольцов..

— Да нет, Сергей, нет...

Зря он, конечно, про Валеру этого спросил, ни фамилии, ни примет, ни адреса его не зная. Стареть, видно, ты начал, Семен Митрофанович, что вопросы такие ставишь. Стареть...

Но Серегину девчонку, которую отбил Анатолий из семизтажки, Ковалев все-таки постарался запомнить. Запомнить и сообщить об этом завтра старшему лейтенанту Данилычу.

— Уходишь, стало быть, Семен Митрофанович? Покидаешь нас, грешных?

— Ухожу, мужики,— вздохнул Ковалев, не выдержал.— Всякой службе свой срок положен.

— Неужто же мы вот так, всухую Митрофаныча отпустим, ребятя? Не чужой же он нам.

— Верно говоришь, Гриша. Тут у меня где-то два рубля жена проглядела.

— Да у меня рублевка.

— Держи трояк, Серега: тебе все одно бежать, как младшему.

— Сбегаю.

— Вот еще держи. Пятерка с нас троих.

— И с меня взнос. Закусочки прихвати, Серега.

— А у меня дома еще грибки сохранились..

— Гляди, супруга засечет, больше не выпустит.

— Это Митрофаныча-то провожать не выпустит? Да ты что? Или она не человек у меня?

— Стойте, что это вы? Не надо ничего, не надо...

— Ты, Митрофаныч, помалкивай. Ты гость сегодня.

— Товарищи, я же на службе. Я же официально прошу вас, граждане...

— А мы тебе сегодня не подчинимся...

— Вот, Сергей, еще взнос: с нашего подъезда.

— Не допру я столько, отцы...

— Пацанов для подхватахвати — учить тебя...

— Давай, Серега, не задерживай, а то мужской отдел закроют!

— Граждане жители, я же официально предупреждаю, что не могу. Не имею права.— Семен Митрофанович решительно напялил галстук и застегнул на все пуговицы тужурку.— Я нахожусь при исполнении служебных обязанностей...

— Погоди, Митрофаныч,— перебил строгий Кирилл Николаевич.— В семизтажках был?

— Ну, был.

— Бабу Ягу навещал?

— Ну, навещал.

— Так. Кого у нас по плану охватить должен?

— Ну, это известно! — улынулся Гриша, шустрый, улыбчивый мужчина без возраста.— Кукушкина повоспитывать надо, верно, Семен Митрофанович?

— К Кукушкиным зайти требуется,— подтвердил Ковалев.

— Ну, так зайди,— сказал Кирилл Николаевич.— Исполни служебный долг, пока мы тут гоношиться будем. Иди, иди, чего время зря теряешь? Все равно ведь всухую не выпустим.

Все сейчас смотрели на него, улыбались, и по этим улыбкам Семен Митрофанович понял, что всухую отсюда он действительно не уйдет. Придется выпить, хоть самую малость, а придется. Чокнуться с этими развеселыми, шумными мужиками, пожелать им счастья в трудовой и личной жизни и распрощаться. Да, отступать тут было некуда, и младший лейтенант Ковалев сказал:

— Ладно, уговорили. Пойду пока к Кукушкину...

— А Кукушкина дома нет! — крикнул какой-то малец с велосипедом.

— А ты найди! — строго сказал Кирилл Николаевич. — Найди и скажи, что его немедленно требует на квартиру Семен Митрофанович. Живо давай!

И мальчишка сразу же куда-то исчез.

Хороша была Вера Кукушкина: статная, чернбровая. Она стояла в дверном проеме, как в раме, и Семен Митрофанович, улыбаясь, любовался ею. Любовался и жалел: глаза у нее потерянные были. Красивые серые глазницы и — потерянные. И еще синяк на шее. Возле уха.

— Здравствуй, Вера Кукушкина. В дом-топустишь?

— Семен Митрофанович, зачем вы?

— Надо, надо, нечего! Ну, чего на пороге-то стоим?

— Так нет его. Опять с дружкой пьет, видно.

— А он мне и не нужен. Мне ты нужна, Вера.

— Я?.. — улыбнулась все-таки чернбровая. — Зачем же я-то?

— Узнаешь. — Семен Митрофанович отстранил ее, вытер ноги, повесил у входа фуражку. — Ну, хозяин в комнатах встречает, хозяйка кухней хвастает. Так куда же пойдем, Вера?

— Нечем мне хвастать, Семен Митрофанович.

И все же в кухню провела. Сели там на табуретки — друг против друга. Уставился Ковалев в ее налитое, без намека на морщиночку лицо, опять заулыбался. А она отвернулась.

— Смейтесь все?

— Зеркало тебе показать?

— Зачем мне зеркало?

— Нет, все-таки где оно у тебя? — Младший лейтенант встал, и хозяйка хотела было следом подняться, но он удержал. — Сам принесу. В комнате? — В комнате. А зачем, Семен Митрофанович?

Семен Митрофанович, не отвечая более, прошел в комнату: бедная комнатка была, пропитая. Кровать детская, диван продавленный, стол, стулья да шкафчик с полкой. На полке стояло зеркало, но Семен Митрофанович вдруг потерял к нему интерес, потому что в углу играл худенький мальчонка лет пяти: складывал что-то из чурок и кубиков. Увидев младшего лейтенанта, он неуверенно заулыбался, захлопал большими, как у матери, ресницами.

— Привет, Вова! — сказал Ковалев и с трудом присел на корточки возле ребенка. — Дом строишь?

— Дом... — шепотом согласился Вова, хотя строил совсем не дом, а Кремль.

«Запуган... — подумал Семен Митрофанович. — Ай, запуган парнишка, запуган!»

И вдруг остро пожалел, что за делами, за хлопотами сегодняшнего самого последнего дня напрочь позабыл об этом запуганном, тихом ребенке и не принес ему ни вафли, ни конфетки.

— Дом, — повторил. — А с кем же ты жить там будешь?

— С мамой, — тихо ответил мальчик.

В забитости его было что-то болезненное, почти ненормальное. И Семен Митрофанович сразу вспомнил своих сорванцов: шумных, горластых, веселых...

— А с папой?

Вова молчал, еще ниже опустил голову.

— С папой будешь в этом доме жить?

— И с папой... — послушно ответил ребенок, но ответил еле слышно и без интонаций.

— Да, — вздохнул Семен Митрофанович, тяжело поднимаясь. — Ты побольше дом строй, Вова. Попроторнее...

Он еще раз тоскливо оглядел полупропитую эту комнату, в которой из каждой прорехи выглядывала самая неприкрытая бедность, снял с полки зеркало и, озлобившись вдруг, большими шагами вышел на кухню.

Вера Кукушкина сидела между кухонным столиком и газовой плитой — на обычном хозяйском месте, но он сразу почувствовал, что место это не ее и что у нее здесь вообще нет своего места. Она улыбнулась Семену Митрофановичу той же тихой, испуганной улыбкой, какой только что ему улыбался ее сынишка, но Семен Митрофанович еще ту же сдвинул сердитые брови, не давая в своем сердце простору для жалости.

— Поглядишь, — сказал он, держа перед нею зеркало, как икону, на животе. — Хорошенько поглядишь, гражданка Кукушкина.

— А чего? — робко удивилась Вера. — Зачем это? — Хороша? Нет, ты глядишь, глядишь! Ну как, хороша?

— Н-не знаю...

— А вот я знаю. Я точно знаю: хороша. Очень даже. И глаза у тебя, и брови, и губы, и зубы — ну все, как надо, все на своем месте и все в лучшем виде. — Младший лейтенант вдруг почему-то опять вспомнил воробыху и расстроился еще больше. — Ты в таком соку, в таком, я бы сказал, ядреном теле состоишь, что мужики за тобой, если захочешь, табунами ходить будут. Будут не для глупостей каких, а потому, что мать в тебе видят. Мать человеческую!.. Ты же здоровая женщина, Вера, ты же рожать должна! Ты же таких парнишек, таких девчонок жизни подарить можешь, что хоть в витрину их ставь!.. А что имеем, Вера? Что мы имеем-то на текущий момент?..

— А-а!.. — вдруг закричала она, тут же испуганно зажав себе рот. Слезы бежали по тугим щекам, путаясь в золотистом пушке. — Не надо... Не надо, пожалуйста, не надо!.. Ну, зачем вы опять, зачем же?.. — Поплачь маленько, — вздохнул Семен Митрофанович.

Отложил зеркало, закурил, присел напротив. Вера уже привычно вытирала слезы, но полные губы ее еще дрожали и кривились.

— Мы с Вовочкой через день в ванной ночуем, — тихо сказала она. — Как он пьяный придет, так мы в ванную. Запремся там на задвижку и сидим в темноте, потому что он свет нарочно гасит. Я сыночку сказки рассказываю веселые или пою, чтоб не пугался он в темноте-то... У меня там кожушок висит и одеялку я прячу. Постелю кожушок в ванну, ляжем мы с сынком, укроемся и — до утра.

Ковалев только крикнул. Выразительно крикнул, потому что ругнуться ему хотелось от всей души. Вера посмотрела, улыбнулась понимающе.

— А что делать, Семен Митрофанович? Развестись, скажете? Так я готова. Я хоть сейчас готова, если бы одна я была. А с сынком куда же мне? Родителей у меня нету, угла нету и специальности тоже нету. Развести-то разведут, в этом сомнение меня не тревожит, люди жалостливые, а жить где буду? Угла-то ведь никто не даст, значит, опять с ним? Уж не как жена законная, а как неизвестно кто, да? Ну и что изменится? Пить, думаете, перестанет? Нет, не перестанет. Бить меня, думаете, перестанет? Тоже не...

— Ну тогда-то мы его за избивание женщины!.. — начал было младший лейтенант.

— А сейчас он кого бьет, лошадь, что ли? Нет, Семен Митрофанович, мне не разводиться с ним надо. Мне надо...

— Слушай, Вера, — таинственно зашептал вдруг Ковалев и даже подсел поближе для убедительности. — Слушай, Вера, я вот что тебе скажу. Ты здоровая, ты богатырь прямо, а он, Кукушкин твой? Он же, по силе ежели судить, в половину тебя будет, никак не больше. Да еще и в пьяную-то половину... Так ты, знаешь, что? Ты дай ему как следует, кулаком дай! Кулаком прямо по роже его, по роже пьяной!..

Вера смотрела серьезными круглыми глазами, и Семен Митрофанович вдруг запнулся. Покашлял, похмурился, вновь в папиросу вцепился.

— Нехорошо,— тихо сказала она и осуждающе покачала головой.— Ай, как нехорошо вы советуете, Семен Митрофанович! Как это так: дай кулаком по роже? Это бить, значит, так выходит? Человека бить, да?.. Ай, ай, ай, ну как можно-то, а?

— А что? — хмуро спросил Семен Митрофанович.— Он же тебя бьет?

— Так он дурной,— с непреклонной уверенностью сказала она.— Он очень дурной, а вы мне такой же стать предлагаете? Да разве ж можно такое советовать, Семен Митрофанович?

— Ну, учи меня, учи,— проворчал смущенно Ковалев.— Будто ты милиция, а я неизвестно кто...

— Так это же вы от добра сказали, разве я не знаю? — Вера улыбнулась ему, словно маленькому, ласково и покровительственно.— Вы нас с Вовочкой жалуете очень, и мы это знаем прекрасно даже. Только не советуйте нам такое, ладно? Мы ведь с сыночкой человеками хотим остаться...

Семен Митрофанович вскочил, сделал круг и снова сел верхом на табурет.

— Ах, Верунька, Верунька!.. — вздохнул он.— Правда твоя, во всем твоя правда, и крыть мне нечем. Конечно, сгоряча я про драку-то, сгоряча. Это нельзя делать, это и закон запрещает, и вообще скотство это! Нет, тут другое надо, и ты прости меня, старого, что посоветовал...

— Да что вы, Семен Митрофанович...

— В деревню я завтра еду,— не слушая ее, продолжал младший лейтенант.— Там уже все семейство мое, там дом у нас имеется, хозяйство какое-нито заведем, может, даже кабанчика купим. А поезд завтра без пяти двенадцать ночи или, официально сказать, в двадцать три пятьдесят пять. И поедем мы все втроем: я, ты и Вовка, вот какой факт получается...

— Нет... — неуверенно улыбаясь, она затрясла головой.— Нет, что вы, что вы...

— Завтра без пяти двенадцать,— твердо повторил он.— Собирайся.

— Семен Митрофанович... Семен Митрофанович, миленький, что вы говорите-то, что?

Она опять заплакала, но не горько, как тогда, а радостно и словно бы с облегчением. И поэтому Ковалев улыбнулся и строго сказал:

— Не реви. У нас в семье реветь не положено.

— Семен Митрофанович, миленький, зачем же вам обуза-то эта, зачем? Ведь не отдаримся мы вам ничем за добро ваше, ничем же не отдаримся, потому что за такое и отдариться-то невозможно, хоть две жизни проживи!.. А Вовочке, Вовочке-то моему воздух деревенский нужен, ой, как еще нужен: мне врач говорила!.. Нет, нет, это же не то я говорю, не то!.. Господи, я здоровая, я все по дому делать буду! Я полы мыть буду, стирать буду, воду носить...

Слезы мешались у нее со смехом, а Семен Митрофанович очень боялся такой смеси и хмурился еще больше.

— Перестань,— сказал он строго.— И не выдумывай: в колхоз работать пойдешь. Или учиться, пока мы с женой еще в силе, еще за внучатами углядеть можем.

— Учиться? — Она счастливо рассмеялась, и круглые слезы запырпали, заиграли на тугих щеках.— А что? Я пять классов кончила, у меня даже пятерки были. Да нет!.. — Она опять засмеялась.— Я работать буду. Я очень теляток люблю. Я... Подождите!..

Она вдруг легко, по-девичьи сорвалась с места, кинулась в комнату. Семен Митрофанович улыбнулся ей вслед, покачал головой: немного, ой немного че-

ловеку для радости надо. Совсем немного, а мы подчас и этого ему не даем: либо жалеем, либо забываем...

Сияющая Вера ворвалась на кухню, крепко зажав в руке что-то, аккуратно завернутое в белую тряпочку. Она положила на стол этот пакетик, поглядывая на Ковалева и загадочно улыбаясь, развязала узелки на тряпочке и с торжеством распахнула вдруг эту тряпочку перед его носом.

— Вот!

Это были деньги: десятки, старательно уложенные одна к одной. Младший лейтенант зачем-то потрогал их пальцем, спросил вдруг строго:

— Откуда?

— Заработала,— лукаво сказала она.— Не подумайте дурного чего: я тайком от Кукушкина в уборщицы нанялась. Давно уж — два года скоро. Я, как поняла, что мне не жить с ним, так и решила: деньги скоплю. Скоплю сотен пять, а тогда уж и уйду от него. Угол сниму с сыночком или завербуюсь куда: деньги всегда пригодятся, правда?

— Правда,— сказал он.— Ты заведи их, Вера. На книжку положи: на них и оденешься и обуешься.

Отодвинул ей деньги, но она встретила на полпути его руку и вновь передвинула эту тоненькую пачечку к нему. И так они некоторое время потолкались: Вера смеялась, закидывая голову, а он смотрел на синяк на ее щеке и не смеялся, а только повторял:

— Ты спрячь, спрячь...

— Нет уж, Семен Митрофанович, нет уж.

— Вера... Что это еще?

Она вдруг перестала смеяться.

— Вы нас всерьез брать с собой хотите или так, от жалости просто сказали? Всерьез, сама знаю, а раз так, то деньги вы возьмите. Нет, нет, Семен Митрофанович, роденький, теперь мы с сыночком ваши полностью, и все у нас общее должно быть. Берите, Семен Митрофанович, берите, а то не поверю, что завтра увезете нас из ада этого кромешного в рай земной. Ну, берите же, берите, здесь уже много, здесь четыреста двадцать...

Но Ковалев все еще не решался брать эти плаканные-переплаканные деньги, заработанные горбом на заплыванных лестницах. Он словно видел сейчас, как трет она ступеньку за ступенькой, и потому хмурился, думал, как бы уговорить ее положить все на книжку, но Вера смотрела на него такими счастливыми глазами, что не поворачивался у него язык выкладывать соображения с деловым прицелом.

— Барахлишка много не бери, чего возиться-то? Не в тряпках счастье, а все, что надобно, мы и там купим.

— Да у меня и нет-то ничего: все Кукушкин пропил!

Это она беспечно сказала, весело, словно уже и не жила в этом пьяном угаре, словно уже шагнула в другую жизнь — с зеленой травой, птицами по утру и глупыми добрыми телятами...

— Ну, добро.— Ковалев положил тряпочку с деньгами во внутренний карман тужурки, подумал, что о них следует доложить комиссару, и сказал: — Завтра я еще по магазинам похожу: давай решим, что прикупить надо.

— А ничего не надо! — сказала она.— Там уж, как приедем, тогда и решим.

— Совсем-совсем ничего?

— Нам не надо. Вы вообще покупайте, для всех: знаете ведь, что в деревне-то требуется. А нам... Знаете, чего? Вы Вовочке пистолетик купите, ладно? А то Кукушкин вчера пистолетик его каблуком раздавил, так сынок уж так в ванной плакал, так плакал...

— С пистонами пистолетик-то?

— Нет, простой. Из пластмассы: они дешевенькие.

— Из пластмассы?— Ковалев улыбнулся.— Я своим огольцам сам пистолеты делал. Из дерева. Такие пистолеты, что прямо от настоящих и не отличишь, ей-богу!

— Да Вовка еще маленький, что понимает?

— Сделаем и ему пистолет. Настоящий пистолет, как положено.— Семен Митрофанович встал.— Завтра я в девятнадцать часов у товарища комиссара Белокопя быть должен, вот какой факт получается. А от него — прямо к тебе. Готовься.

II

Так и не дождался Семен Митрофанович Кукушкина. Да и не нужен ему был Кукушкин этот, если разобраться: о нем и Данилыч знал, и все их отделение, и в смысле профилактики здесь все было в порядке. А в смысле жизни он Семена Митрофановича больше не интересовал, так как Семен Митрофанович уводил от него этих людей.

Но, по счастью, лестница длинной была, а козлом скакать Ковалев давно отучился. По счастью потому, что еще на спуске он успел все заново обдумать и решить, что не поговорить с Кукушкиным права не имеет. Нет, не о вливании тут уже шла речь, а о том, что — хотел этого Семен Митрофанович или не хотел — объективно получалось, что именно он уводил от Кукушкина жену и ребенка. Хоть и не для себя уводил, а все-таки мужской закон требовал тут играть в открытую, и не повидаться с водопроводчиком — пьяным или трезвым, не важно — было уже невозможным.

Поэтому, спустившись во двор, он повернул налево, к котельной. За домами уже слышались шутки, смех и веселые мужские голоса: там, среди детских песочниц и качелей, опустевших ввечеру, собирали для него, младшего лейтенанта милиции Ковалева, прощальный товарищеский ужин. Но Семен Митрофанович на это сейчас не отвлекался, а раздумывал, где бы ему найти Кукушкина, и надеялся, что в котельной.

Однако Кукушкина в котельной не оказалось. Дежурный слесарь — немолодой уже, домовитый, как мышь, которого во всех квартирах запросто звали Сашей, — пояснил:

— Увели его, Семен Митрофанович. Руки, значит, за спину — и как положено.

— Куда увели?

— На профилактику, — хохотнул Саша. — Сильно надоел он жильцам, Семен Митрофанович, если правду сказать. Деньгу цыганит, шабашничает, а дело свое исполняет плохо, и краны текут во всех квартирах.

— Кто же увел-то?

— А этот, из второго корпуса. Ну, у которого сыновья...

Дело было серьезным, и поэтому младший лейтенант рванул из котельной, как молодой оперативник. Забежал за дом, мельком глянул, что врытый в землю стол для пинг-понга, по которому ребята с утра до вечера шариком щелкали, женщины накрывают белыми скатертями. Но этого Семен Митрофанович как-то не осознал, потому что профилактика была в полном разгаре.

Хмурый и трезвый Кукушкин стоял в центре мужского круга, заложив за спину корявые руки. Росту он был небольшого, но кряжист, широк в кости и на кулак увесист. Перед ним за детским столиком сидел Кирилл Николаевич.

— Сегодня у нас очень торжественный вечер, Ку-

кушкин, — говорил он. — На вечере этом присутствовать ты будешь как полноправный жилец, а вот пить мы тебе не дадим. Ни грамма.

— Очень надо, — сквозь зубы сказал Кукушкин.

— Не надо, — подтвердил Кирилл Николаевич. — Пить не надо, а вот торжественное обещание Семену Митрофановичу тебе дать придется. При всех!

— Какое еще обещание?

— Торжественное обещание, что ты никогда пальцем жену не тронешь...

— Ну, пальцем-то пусть трогает! — засмеялся Петрович.

— Он понимает, что тут к чему, — улыбнулся Кирилл Николаевич. — Он у нас не дурак, Кукушкин-то. И соображает, что ежели сегодня выкинет фортель какой, так завтра с ним разговаривать буду не я, а сыны мои — Витька да Володька.

Сыновья Кирилла Николаевича — близнецы-богатыри — вместе учились в заводском техникуме, вместе занимались тяжелой атлетикой, вместе ходили на танцы. Были они парнями скромными и незлобивыми, но не стеснялись и подражаться, и кто-кто, а Кукушкин про это знал хорошо.

— Понял, — хмуро сказал он. — Сделано, считай.

— Вот это разговор! — улыбнулся Гриша. — Эй, пацаны, за Митрофановичем сбегайте.

— Здесь я, — сказал Ковалев. — Добрый вечер, граждане.

— Здесь он! — почему-то в восторге прокричал Гриша. — Мы его, понимаешь, всем миром искать собрались, а он здесь!

И все сразу засмеялись, заговорили, точно слова Гриши или присутствие младшего лейтенанта было событием чрезвычайно занятым. Семен Митрофанович понимал, что происходит это от радостного волнения, вызванного и наспех организованной складчиной, и им, младшим лейтенантом Ковалевым, и возникшим вдруг чувством необычайной общности всех людей во дворе.

— А жены нам мужской-то выпивон забраковали! — громко рассказывал чернявый мужчина, который собирался сбегать за грибками. — Мы, говорят, тоже Митрофановича проводить желаем!

— А мы тут, понимаешь, с товарищем Кукушкиным немного поговорили, — несколько смущаясь, признался Кирилл Николаевич. — Кукушкин — парень артельный и самостоятельный, и слово у него — сталь, Митрофанович.

— К столу просим, к столу! — певуче прокричала рослая и скандальная жена услужливого Гриши.

— Ну, уж закусить разве что... — сказал Ковалев, садясь к столу.

Удивительные это были проводы! И наспех накрытый стол для пинг-понга, и детские качели рядом с ним, и одинаковые силуэты домов по обе стороны, и кресло, которое Гриша притащил из квартиры специально для него, для Семена Митрофановича. Удивительным здесь было все, но самыми удивительными здесь были люди.

Все знал про них младший лейтенант Ковалев. Знал, что рослая супруга поколачивает безответного Гришу; что Петрович крутит с продавщицей из соседнего магазина; что суровый Кирилл Николаевич скуповат и постоянно ворчит на сыновей за каждую копейку; что вот этот как-то ни с того ни с сего ударил вон того, а тот где-то обманул вот этого и что все они знают то, что он все знает. Но сегодня это стало вдруг каким-то мелким, второстепенным, отошло на задний план, заслонилось добрыми, мягкими, приветливыми лицами.

— Расстаемся мы сегодня с нашим Семеном Митрофановичем, — говорил, держа в руке стакан, Кирилл Николаевич. — Почему же мы так с ним расста-

емся? Что он нам — сват, брат, сосед хороший? Отчего же происходит это? Да от того, что душа в нем есть, в Митрофаныче нашем. Есть душа, товарищи неверующие!..

Тут все разом засмеялись, загомонили, закричали. Кирилл Николаевич выждал, когда стало тихо, и продолжал:

— Вот за эту твою душу и относимся мы к тебе с полным нашим уважением, Семен Митрофанович. И дай я тебя, фронтовичок дорогой, по-нашему поцелую, погвардейски!

— За нас! От всего нашего имени! — кричал Гриша.

— Женщинам поручите, — советовал Петрович. — Товарищи женщины, окажите внимание Семену Митрофановичу!

Да, много было шуток, много речей, много веселья. Мужчины тарелочку его наполнять не забывали, хоть и не ел он почти ничего: не хотелось. Папиросами угощали: каждый требовал, чтоб он непременно из его пачки закурил, и Семен Митрофанович старался никого не обидеть и только повторял:

— Спасибо. Спасибо, граждане. Спасибо.

А на другом конце вскоре и песни завели. Потом Серега на балкон радиолу вытащил, и как рванула она на всю мощь, так младший лейтенант вмиг за часы ухватился, но в режим, горсоветом установленный для искусства, пока еще укладывались.

И тут Семен Митрофанович решил вдруг с Петровичем поговорить насчет жены и продавщицы из соседнего магазина: по-хорошему поговорить, по-дружески. Только встал, чтоб подойти, за плечо тронули. Оглянулся: Кукушкин. Уставил на него трезвый, но совсем неласковый взгляд. Хотел Семен Митрофанович пошутить насчет профилактики, но во взгляд этот уперся и вовремя сообразил, что шутить не стоит. Спросил только:

— Дома был?

— Разговаривал. — Кукушкин перекинул папиросу в другой угол рта, плюнул, не разжимая губ. — Что ты ей там напорол, лейтенант?

— Это ж насчет чего? — Семен Митрофанович нарочно прикинулся непонимающим.

— Вот и я хочу знать, насчет чего, — раздраженно сказал Кукушкин. — Ходит по квартире и поет, как... — Он не нашел сравнения и опять плюнул. — Спросил, чего распелась. А она улыбается.

— Значит, настроение у нее доброе.



— Доброе?— Кукушкин сверкнул вишневым глазом.— Что же ты ей наговорил, если она такая веселая вдруг стала?

— А тебе веселые не нравятся?

Семен Митрофанович нарочно необязательные слова бормотал. Специально бормотал, потому что все время думал, стоит говорить водопроводчику правду или не стоит. Думал и никак пока не мог этого понять...

— Не любишь, что ли, веселых-то?

— Я для веселья, лейтенант, в цирк хожу. Клоунов смотреть.

— Дело, Кукушкин. Это — дело.

— Я ведь все равно все узнаю. Только не хочу к верному способу прибегать. Пока.

И так он сказал это «пока», что Ковалеву опять стало боязно за Веру и мальчишку: нет, нельзя было правду ему говорить, зверю этому. Никак нельзя!

— Ничего я ей не говорил, Кукушкин.— Семен Митрофанович, вздохнув, опустил глаза: он вообще не терпел вранья, а при исполнении служебных обязанностей в особенности. Но от правды сегодня могли пострадать безвинные, и он врал во спасение.— Тебя ждал, ну и калякал о чем-то...

— В деревню приглашал?

Знает, значит... Еще раз вздохнул Ковалев.

— Приглашал.

Круглые злые вишни на миг уперлись в его лицо, на миг сверкнули и спрятались. Кукушкин медленно провел ладонью по лбу, словно припоминая что-то, достал папиросы, протянул, не глядя:

— Закури моих, лейтенант.

— К своим привык...

Единственный это был человек, которому отказал на проводах Семен Митрофанович. Резко отказал, как отрезал:

— К своим привык.

— Ну, дело твое,— тихо сказал Кукушкин, прикуривая от собственного окурка.

Он курил медленно, опустив голову, рассматривая огонек папиросы. А вокруг гомонили, смеялись, плясали и пели, и играла радиолка у Сереги на балконе. А Семен Митрофанович, отрезав Кукушкину все пути к дружескому общению, нисколько об этом не жалел.

— До чего же просто вы все решаете,— вдруг тихо, словно нехотя сказал Кукушкин.— Пьет да бьет — значит, надо воспитывать. Значит, кого-то жалеть надо, спасать надо, уводить надо. А на меня наплевать и растереть, да? Меня можно за стол не посадить, мне можно рюмки не поставить, а можно и в котельной избить без третьих глаз, как гвардеец тот говорит.

— Избить?

— Ладно, что было, то прошло: я не из жалостливых.

— А что же все-таки было?

— Знакомство,— криво усмехнулся водопроводчик.— Гвардейские сыны из меня непочтение к их папаше выколачивали. Тяжелые у них кулачки...

— Так что же ты сразу...

— Ладно, лейтенант, не пыли. Сказано: не из жалостливых я. Сам не жалею и сам не жалею. Только с одного боку вы все глядите.

Ковалев подумал, что о самоуправстве Кирилла Николаевича надо непременно рассказать Степешко. Рассказать и обдумать меры. Поэтому спросил рассеянно:

— А что за вторым боком, с которого не глядим?

— Я,— сказал Кукушкин.

И замолчал. И Семен Митрофанович молчал, удивленный этим очень простым ответом. И так молчали они долго.

— Ты, Кукушкин...

— Кукушкин!..— раздраженно передразнил водопроводчик.— Меня Алешкой зовут, а кто про это знает? Даже Верка и та — Кукушкин да Кукушкин.

Потоптался младший лейтенант.

— Дай закурить, Куку...— и запнулся.

Кукушкин рассмеялся невесело, достал пачку.

— Ты извини,— тихо сказал Семен Митрофанович.— Привычка, знаешь...

Вон как разговор обернулся. Вроде и не жаловался Кукушкин и овечью шкуру на свою волчью шерсть не напяливал, а — поди ж ты! — высек искру из самого Семена Митрофановича.

— Завтра поговорим, Алексей,— сказал младший лейтенант.— Трезвым будь: разговор серьезный намечается. А состоится он ровно в половине одиннадцатого вечера: я к вам перед отъездом зайду.

— Добро,— сказал Кукушкин, но добра в тоне его не было.

— И гляди у меня, парень...

— Трезвым я не бью,— тихо сказал Кукушкин.—

Трезвым я прощения прошу. А прощения мне никто не дает, и потому трезвым я бываю редко... Ты забудь все это, лейтенант. Я Верку не трону, слово даю, но и ты все, что наговорил тебе сегодня, тоже забудь. Забудь, очень прошу!..

Повернулся, не дожидаясь ответа, пошел куда-то из освещенного круга. Не домой—в обратную сторону...

12

И Ковалев заторопился. Заторопился потому, что было уже одиннадцать, а он еще обещал сделать сегодня пистолет для Вовки Кукушкина. И музыку тоже пора было кончать, потому что вступало в силу постановление горсовета. Ну, с этим особо не спорили, и Серега быстро уволок радиолу в дом, а вот отпускать Семена Митрофановича ни за что никто не хотел, и он еле-еле отбился. Обошел всех, со всеми за руку попрощался, поблагодарил от всего сердца. Пошел было, да вскоре его Серега нагнал:

— Я провожу вас, Семен Митрофанович. Можно?

— В наряд, значит, назначили тебя?— усмехнулся Ковалев.— В наряд по охране моей персоны?

— Да ну, что вы, Семен Митрофанович...— Парень врал неумело, смущался.— Просто поговорить хотел...

— Поговорить? Ну, давай поговорим.

Они уже далеко отошли от домов: шум, который провожал их (это жильцы разбирали по квартирам свои стулья, скатерки, рюмочки), здесь, на пустынных, слабо освещенных улицах, почти не слышался. Поскольку парень все еще молчал, соображая насчет разговора, Семен Митрофанович спросил:

— Кукушкина опасаетесь, что ли?

— Он чокнутый,— сказал Серега.— Ему что в голову ударит, то он и сделает.

— Не бойшься его?

— Нет.— Парень ответил очень просто, и младший лейтенант сразу поверил, что он действительно не боится никого.

— И долго же ты меня конвоировать собираешься?

— Да я не конвоировать!— Серега улыбнулся.— Человек, может, просто поговорить с вами хочет, пройтись, а вы — конвоировать да конвоировать...

Семен Митрофанович усмехнулся и сказал в точности, как за пятьдесят шагов до этого:

— Поговорить? Ну, давай поговорим.

— Значит, на пенсию уходите, Семен Митрофанович?— Парень явно не знал, о чем ему говорить, но

честно старался подладиться под грузно шагнувшего рядом младшего лейтенанта.— Работать где устроишься или так, на законном отдыхе?

Семен Митрофанович усмехнулся:

— Рано тебе, Серега, пенсией-то интересоваться. Ты мне лучше про ту девчонку расскажи, которую Толик у тебя отбил.

— Отбил?.. Нет, этого не было.

— Ты извини, конечно, что я так, понимаешь, прямо. Но я не из любопытства: мне знать про нее все нужно.

— Нет, «отбил» тут не подходит,— вздохнул Сергей.— Тут посложнее, Семен Митрофанович...— Он помолчал, почмокал сигаретой.— Черт, сигареты сырые... Мать у нее закладывает здорово, ну, пьет, значит: видать, отец из-за этого их и бросил, хотя Алка—ее Алкой зовут (Семен Митрофанович кивнул)—и в глаза его никогда не видала. Ну, сначала она у тетки жила: там все нормально было, там она десятилетку хорошо закончила и даже в институт поступила.

— В институт?

— Ну да. В этот... иностранных языков на немецкое отделение: она там с Толиком-то и познакомилась. А проучилась всего два месяца, и тетка ее умерла. А Алка у матери прописана была, и пришлось ей к пьянчуге этой возвращаться. Ну, тут уж не до учебы, сами понимаете: мать каждый день пьяная, каждый день водит кого-то, каждый день у нее шум, гам, скандалы, а то и драки когда. Алке бы из дома уйти, а она не смогла тогда и институт бросила. Год с мамочкой этой прожила: и поили ее там, и шоколадом кормили, и одевали, и продавали—все, наверно, было в год-то в этот. Она, Семен Митрофанович, рассказывать об этом не любила, она вообще скрытная очень: это я все по кусочкам из нее вытянул, по намекам разным.

— А с уголовниками мать не связана, не знаешь?

— Все может быть при жизни такой,— вздохнул Серега.— Там и пьяницы были и спекулянты—про это Алка сама рассказывала. Ну, а где такая компания, там и блатные, возможно, появлялись, не без того. Только это все прошло уже, Семен Митрофанович, это все теперь—древняя история, потому что через год жизни такой сбегала Алка. Летом где-то в Сочи прокантовалась...

— С кем?

— Говорит, с братом каким-то,—нехотя сказал Сергей: ему было неприятно вспоминать об этом.— Да это и неважно. Важно, что через год она к нам на производство пришла, потому что у нас общежитие и городской дают. Ну, поработала сперва ученицей, потом...

— Погоди, погоди,—остановил Семен Митрофанович.—А тот, что на Кавказ ее возил, брат-то этот, тот больше не появлялся?

— Не знаю,—с явной неохотой сказал Серега.— В то время мы с ней гуляли, и никого вроде у нее не было.

— А с матерью она связь поддерживала?

— Бывала. И я два раза был: один раз до того уключался, что на бровях домой уполз, ей-богу!

— Мамаша напоила?

— Нет, там у мамыши постоялец какой-то жил. Толстый такой...

— Ну, а девчонка что, воробыха-то?

— Какая воробыха?

— Ну, эта... Алка твоя.

— А-а... А почему воробыха?

— Ну, оговорился, про другую вспомнил. Вы что с ней-то, поссорились, что ли?

— Да как сказать...—Серега снова прикурил, по-

чмокал и снова с отвращением швырнул сигарету.— Сырая, черт... Смесь у нее в голове странная, у Алки-то, Семен Митрофанович. По характеру-то она девчонка добрая: зла не помнит, денег не жалеет, не бережет их, как некоторые, и уж очень подарки делать любит. Пустяк, мелочь всякую—галстук там, запонку или еще ерунду какую, а подарит. Просто так, чтоб порадоваться только. Про некоторых, знаете, говорят: рубашку, мол, с себя последнюю снимет—так она такая, честное слово, такая. Она все отдаст и глазом не моргнет. И безалаберная какая-то в то же время: о завтрашнем дне не думает, получку в два дня спустит, а потом мороженое ест. Раз цветов на десятку купила. Я говорю: куда тебе охапка-то целая? А она: хочется, говорит, и все... Это характер у нее такой, а мамаша да и тетка, наверно, тоже воспитание к ней приложили. Всю жизнь ей одно жужжали: деньги, деньги, деньги. Мол, деньги—это сила, это—счастье, это—самое главное, и пока ты молода, пока в цвету—добывай. И вот все она только на деньги мерила: «Волга», конечно, лучше, чем «Запорожец», это понятно, но она и людей так же делила—по мощности. Профессор лучше, чем студент, инженер лучше, чем шофер, а артист какой-нибудь знаменитый, тот вообще всех на свете, потому что у него рубли с колесо размером. Вот какая у нее психология сложилась, Семен Митрофанович, понимаете?

— Понимаю,—вздохнул Семен Митрофанович.— Дурная это, брат, психология.

— Вот и я ей то же самое говорил, и из-за этого мы с ней постоянно ругались. День мирно разговариваем, а к вечеру обязательно переругаемся: ее почему-то все больше вечером насчет шикарной жизни схватывало. Ну, а тут Толик и объявился, и она отчала. Хочу, говорит, пожить в свое удовольствие, пока молода.—Он помолчал.—А все-таки я уверен, что с Толиком у нее ничего не было.

— Уверен?...—рассеянно переспросил Семен Митрофанович, думая о своем.—Это хорошо, что уверен ты...

— Я как-то вечером с тренировки ехал...

— С какой тренировки?

— Боксом занимаюсь,—улыбнулся Серега.—Думаете, почему Кукушкин меня не трогает? Да потому, что у меня разряд.

— Это хорошо,—рассеянно поддакнул Ковалев.—Спорт—это полезно...

— Да...

Они помолчали, потому что Семен Митрофанович вдруг перебил Серегину мысль, и Серега отвлекся. Но младший лейтенант опять направил интересующий его разговор:

— Ну, ехал ты, значит...

— Да, с тренировки ехал автобусом номер восемь. Вечером дело было, народу мало. Гляжу: Алка с каким-то типом у выхода стоит. Я—к ней: здорово, говорю, Алка, что-то давно не видались. А мы с ней в разных цехах-то работаем. Да... Сказал, значит, а этот тип—молодой мужик, а уже рыхлый, с лысинкой и перстень с печаткой на пальце,—тип, значит, этот на меня вдруг: «А ну, отлипни, пижон». Ну, меня, понятное дело, на горло не возьмешь, я таких сырых на первом раунде уложу. А Алка испугалась вдруг чего-то, сильно испугалась, побелела: «Валера, говорит...»

— Валера?

— Валера... Точно, Валера,—подтвердил Серега.—Только он к Толику никакого отношения не имеет.

— А к Алке?

— К Алке?...—Серега помолчал, вздохнул.—Знаете, я до сих пор взгляд ее помню: за него она ис-

пугалась. А чего испугалась-то, знает ведь, что я первым никого не трогаю...

Он умолк, вздохнул, помотал головой. Некоторое время они шли молча, потому что Семен Митрофанович повторял про себя рассказ Сереги и старался поточнее его запомнить, чтобы пересказать завтра Данилычу. Здесь покопать надо было, и следовательно Хорольский не так уж был сегодня неправ. Есть у него чутье, у Хорольского этого, ничего не скажешь, но методы... Комиссар Белоконов сказал однажды на собрании актива, что справедливее упустить десять виновных, чем задержать одного безвинного, и младший лейтенант Ковалев всем сердцем воспринял это.

— И чего она тогда испугалась за пижона этого? — размышлял Серега. — А ведь испугалась, я точно помню...

— Может, не тебя она испугалась, а милиции?

— Какой милиции?

— Ну, если бы скандал начался, драка, допустим, то могли же милицию позвать? Могли. Могли, Серега, могли, вот Алка за него и испугалась. А что это все значит? Это значит, — Семен Митрофанович еще раз подумал, вздохнул, — значит это, что Валера этот недопеченный...

— Сырой, — поправил Серега.

— Ну, сырой, — согласился Ковалев. — Значит, сырой этот Валера нашего брата почему-то опасается.

— Опасается?

— Только ты, Сергей, о нашем разговоре пока помолчи. Я к тебе старшего лейтенанта Степешко пришлю, как только он из госпитали выпишется. Ему все доложишь в точности. Как мне.

— Понятно.

— Ну, а сейчас ступай. Спасибо тебе за провожание и особо за разговор.

Семен Митрофанович пожал парню руку и свернул в переулок. Не к себе: он в противоположной стороне жил. К знакомому столяру, у которого всегда делал пистолеты для своих сорванцов.

Однако дома столяра не оказалось. Дверь открыла жена — яростная костистая старуха, с которой у Семена Митрофановича дружба так и не сложилась за все четверть века знакомства. Стрельнула сухими глазами:

— Семен Митрофанович, ты? В половине двенадцатого людей беспокоишь...

— Что, опять молиться помешал? — пошутил Ковалев.

Не приняла она шутки. Рассердилась даже:

— Ты моего бога не трогай. Я твоего не трогаю, и ты моего не касайся.

— Да молись ты хоть двадцать пять часов в сутки, Катерина Прокофьевна, слова не скажу. Я к супругу твоему, к Леонтию Саввичу.

— В преисподней ищи. В бездне самой...

И дверь захлопнула, не попрощавшись: одно слово — сектантка...

Семен Митрофанович спустился в преисподнюю, в подвал то есть. Там у Леонтия столярная мастерская была оборудована: он при домоуправлении столярном состоял, ну, и заказы принимал на разные поделки. Когда-то, еще до войны, руки его славились на весь город, а в войну, хоть и пощадила она руки эти, что-то надломилось в нем, и никаких тонких заказов бывший краснодеревщик уже не брал. А тут еще — одна за одной — обе дочери его померли. Вот тогда-то жена его в бога ударилась, а он попивать стал. Ну, а с пьяных рук что за работа? И дела Леонтия Саввича пошли совсем набекрень.

— Пропил ты свой талант, Леонтий, — вздохнул Семен Митрофанович, когда достучался-таки до спящего на верстаке в подвале столяра. — А талант у

тебе природой был заложен, и ты беречь его должен был, как совесть к старости.

— Талант! — презрительно фыркнул Леонтий Саввич. Он сидел на верстаке в шерстяных носках, так как в подвале было сыровато. — А что же это такое — талант? Ты знаешь?

— Знаю, — сказал Ковалев. — Вот у тебя в руках талант был: ты умел такое с деревом сотворить, что дерево то в темноте светилось. А у иного талант — в голове: он, брат, законы всякие открывает или изобретает полезные машины. А бывает талант и в ногах: скажем, наш знаменитый футболист Игорь Нетто.

Худой, заросший, всклокоченный со сна столяр сидел перед ним на верстаке и качал головой.

— В руках, в ногах, где еще? — сердито спросил он. — Глупый ты, Семен, ровно дитя. Разве талант в руках или там, в ногах живет? Там секреты живут, понял? Секреты того дела, которому человек обучен. Скажем, у рабочего секреты — в руках, у инженера — в голове, у танцора, к примеру, — в ногах. А талант, Сеня, он в сердце живет.

— Ох, чего-то ты плетешь, Леня! — вздохнул младший лейтенант. — Мистика это называется, насчет сердца-то, и наука это отрицает. Наука прямо говорит, что сердце есть такой мускул, который кровь по всему организму гоняет. Вроде насоса.

— Насос! — закричал столяр. — Там любовь у человека, там горе, там ненависть, все человеческое там, а ты — насос!.. Глупый ты парень, Семен, раз такую околесицу городишь. Скажи, когда у тебя несчастье, что у тебя болит — голова? Сердце у тебя болит, сердце! А радость если какая, если, скажем, День Победы, что тогда в тебе ликует? Может, живот твой жратве радуется? Нет, сердце твое поет, Семен, сердце!

— Ладно, не будем спорить. Время позднее, а мне надо пистолет для парнишки сделать: обещал...

Столяр отыскал подходящую доску, и Семен Митрофанович, сняв тужурку и галстук, с радостью ухватился за инструмент. Пилил, вырубал, и Леонтий Саввич молча смотрел на него.

— Вот у тебя талант как раз там, где надо, — вдруг сказал он. — В сердце у тебя талант, Сеня.

— Опять ты, Леня, за свое...

— Поздно одну штуку понял, — вздохнул столяр. — А штука эта простая: для чего человек на свете живет? Чтoб есть, пить да с женой спать?

— Всякий человек живет для своего дела.

— Для дела? Нет, Сеня, дело — это само собой. Дело и лошадь может сделать или, скажем, машина. А человек — он для чего тогда?

— Ну и для чего же? — Семен Митрофанович был увлечен работой и слушал вполуха.

— Для добра, — убежденно сказал Леонтий Саввич. — Обязательно каждый человек должен хоть в одной душе добро посеять. Хоть в одной-единственной, и если бог все-таки есть, то это ему зачтется. Это, а не машины какие, не табуретки там и не космосы.

— Вот ты уж и до бога договорился.

— Это, Сеня, супруга моя с ним договорилась, а не я. Я с нею, с супругой то есть, сражаюсь ежедневно по этому вопросу, но, боюсь я, ничьей дело закончится. А мы с тобой, Сеня, фронт прошли и очень даже точно знаем, что бога нет. Но ведь кто-то должен же добро творимое на весах взвешивать, а?

— А зачем его взвешивать? Для отчетности, что ли?

— Для очищения совести, Сеня.

— Ну, совесть сама все взвесит. Точно взвесит, как в аптеке.

— Это у тебя, потому что у тебя талант есть. А у простых людей, которые добро, может, раз в жизни-то делают? Совесть у них грубая, нетренированная совесть-то, и ничего взвесить не может. И это мне обидно, потому что хочу я перед смертью точно знать, сколько я добра высеял и сколько зла распустил. И поглядеть, какая чашка переважит.

— А ты не считай добро-то, Леня, не регистрируй его, так-то оно честнее выйдет. И помрешь ты тогда спокойно, и совесть тебя не потревожит ни разу.

К этому времени Семен Митрофанович уже отделил пистолет и теперь, расстегнув кобуру, вытаскивал из нее тряпки. Вытащив все, сунул в нее пистолет, и пистолет пришелся к кобуре тик в тик.

— Точная какая работа! — с удовольствием сказал Семен Митрофанович, застегивая клапан кобуры с деревянным пистолетом. — Утречком я его черной эмалью покрашу, а к вечеру он высохнет, и отнесу я его Вовке.

— Значит, не регистрировать? — спросил Леонтий Саввич. — Трудная задача, Сеня. Человек слаб, и ему свою собственную душеньку очень даже хочется по шерстке погладить. Очень даже...

Семен Митрофанович неторопливо убрал на место инструмент, подмел в мастерской. Потом посмотрел на Леонтия Саввича, как на больного, и вздохнул:

— А ты ведь о себе думаешь, добро делаешь. А если о себе, так какое же это добро? Это уже и не добро, это так, для утехи совести. Вот поэтому-то она, совесть-то твоя, и терзает тебя, что не от души ты добр, а от ума. А по мне так добро от ума хуже зла от души. Хуже, ей-богу, хуже! Подлее: вот как вопрос обстоит.

Столяр сидел на верстаке, угрюмо нахохлившись. Ковалев надел тужурку, повязал галстук, похлопал по кобуре, улыбнулся:

— Вроде опять я с оружием!..

Обидел ты меня, Семен, — тихо сказал Леонтий Саввич. — Зачем же обижать-то на прощание?

— Я тебе правду сказал. А что обидела тебя правда, то не моя вина, а твоя беда. Перестань ты о себе думать, Леонтий Саввич, перестань! Ты о других страдай, о других думай, вот и переважит в тебе заветная чашечка...

— Обратно «равняйся» командуешь? — криво усмехнулся Леонтий Саввич. — Все кругом только и делают, что «равняйся» кричат. И по телевизору, и по радио, и по газетам...

— Равняйся? — переспросил Семен Митрофанович. — Именно, что равняйся. Именно, что так, Леонтий Саввич, и кричать мы вам эту команду будем, пока вы смысла ее не поймете.

— Кто это такие — мы?

— Мы, коммунисты, значит. Равняйся — это что такое? Равняйся — это значит грудь четвертого человека видеть. Не свою, персональную, не соседа даже, а четвертого! Как бьетса она, вольно ли дышит, не мешает ли ей что... А ты скольких видишь, Леонтий? Себя ты одного видишь, на пуп свой собственный всю жизнь глядишь и примериваешься, как бы под старость с совестью сторговаться. А добром не торгуют, Леонтий Саввич, это не редиска.

Неспокойным он из того подвала вышел, очень беспокойным. Вышел в темный, глухой переулочек, закурил (в столярной не покуришь, понятное дело), прошел к автобусной остановке. По ночному времени транспорт вообще ходил из рук вон плохо, но Семен Митрофанович пешком до дому своего идти не захотел, потому что сильно притомился за день. Здорово набегался в этот свой самый последний денек.

Он стоял на остановке автобуса, курил и думал, и думы его были не сердитыми, а горькими. Он не злился на Леонтия Саввича, а искренне расстраивался, что вырос в его душе этакий ядовитый грибок и что вырвать его столяр, видать, не сможет до самой смерти своей. И это огорчало младшего лейтенанта Ковалева, потому что он видел за спиной Леонтия Саввича бесконечную вереницу последователей.

Семен Митрофанович был свято убежден, что добром торговать нельзя, что это едва ли не самое подлое, что может сотворить душа человеческая, и при этом отчетливо понимал, что добром этим торгуют направо и налево. Что продают его за почет и звания, за карьеру и удобства, за спокойную совесть и безмятежную славу. Продают тем, что творят это добро не для того, кто нуждается в нем, а для себя, и потому творят гласно, трубно и многолюдно. Творят, заранее прикидывая, какой отзвук вызовет оно в верхах и в низах и какие блага получит за это дарующий.

И еще Семен Митрофанович думал о том, что люди могут и должны быть счастливыми. Они станут счастливыми тогда, когда поймут, что добро не товар и что торговать им так же невозможно и противостоительно, как спекулировать лекарством. И убежден был, что это полностью будет достигнуто при коммунизме.

Показался автобус, и еще издали Ковалев заметил, что народу в автобусе том было достаточно, и вспомнил, что сейчас аккурат конец второй смены. Автобус шел по восьмому маршруту и Семену Митрофановичу был не по пути: до дому пришлось бы через парк идти, а это крюк немалый. Поэтому младший лейтенант отступил, чтобы не мешать людям, а потом, когда машина уже трогалась, вспрыгнул на заднюю подножку и прошел в салон.

Он не знал, почему так сделал. То есть знал, конечно, но не успел обдумать: просто глянул рассеянно на автобус и за стеклом в освещенном салоне увидел вдруг худенькую девчужку с сережками-слезками в маленьких ушах. Он даже не понял, воробья это его или нет, а вспомнил только, что Серега говорил про встречу в восьмом автобусе, и тут же вскочил на подножку.

Он в заднюю дверь вскочил — он всегда только через нее в городской транспорт входил, — а воробья (если это, конечно, была она, в чем Семен Митрофанович совсем не был уверен), воробьях впереди стояла, у выхода, и Ковалев начал осторожно протискиваться вперед. Рейс действительно был рабочим, народу скопилось много, и все молчали, как это всегда бывает в автобусах, которые развозят людей, отработавших смену.

Сзади еще кто-то прорывался, давил младшего лейтенанта в спину, наступал на пятки, дважды почему-то в поясницу его толкнул и вроде ошупал кобуру под тужуркой. Ковалев хотел было обернуться, но тут на повороте автобус накренился, и тот, что тискался позади Семена Митрофановича, поспешно уцепился за поручень сиденья. Младший лейтенант тоже качнулся, тоже уцепился за поручень и увидел сырую руку: в толстый безымянный палец намертво впаялся перстень с печаткой. Семен Митрофанович вскинул глаза: за спиной стоял рослый, рано располневший мужчина лет тридцати. Черные брови его срослись на переносице, тонкие губы сжаты плотно, будто струбчинкой стянута: щель одна. Глаза... Вот глаз Ковалева не разглядел. Бежали эти глаза из стороны в сторону, не давались.

— Валера?..

Семен Митрофанович спросил тихо: не для постонных. И по тому, как дрогнули брови, понял, что не ошибся. Понял, что в точку попал, хотя услышал в ответ другое:

— Вы ко мне, товарищ младший лейтенант? Ошибаетесь тогда...

— Так вот ты какой, Валера,— тихо повторил Ковалев, не спуская глаз с его лица.— Это что, Алка впереди?

— Какой Валера? Какая Алка?.. Путааете вы что-то, товарищ младший лейтенант.

— Путаю?

— Вы проходите? Или...

Автобус тормозил. Семен Митрофанович прошел вперед — теперь между ним и той, со знакомыми сережками-слезками, еще двое было, не протолкнешься, а она не оглядывалась.

— Выходи...

Ясно сказали, отчетливо, как приказ. Сережки сверкнули на миг, повернулись, и младший лейтенант Ковалев в упор увидел свою утреннюю подопечную, воробьюху свою.

— Выходи...

Кто это говорил?.. Семен Митрофанович быстро обернулся, но тот, с перстнем, в окно смотрел, отвернувшись. А воробьюха — или Алка, он и этого-то в точности не знал,— воробьюха все еще в глаза ему глядела, и Ковалев вдруг понял, что глядит она на него с ужасом, и головой качает, и вроде шепчет беззвучно:

— Нет, нет...

Автобус вздохнул, двери разъехались. Девчонка эта еще раз отчаянно глянула на Семена Митрофановича и прыгнула прямо в темноту. В какое-то мгновение хотел он за нею шагнуть, но оглянулся: рыхлый по-прежнему равнодушно смотрел в окно, и оставлять его Ковалеву не хотелось. Тем более им пока было явно по пути.

— Выходите? — спросил Семен Митрофанович на всякий случай.

— Пока нет.

Автобус немного опустел: он теперь на каждой остановке терял людей, исчезающих в темноте, а новых пассажиров не было. Места свободные появились, и рыхлый этот — все-таки Валера он или не Валера? — сел на сиденье, а Семен Митрофанович на всякий случай продолжал стоять, чтобы опять нос к носу столкнуться, если этот, с перстнем, вздумает вдруг выходить.

И еще одна остановочка подкатила, предпоследняя. Автобус почти опустел: сзади двое каких-то парней сидело, впереди несколько пассажиров да на отдельном сиденье — этот, с перстеньком. Выходить он, видно, не собирался, ехал до конца, и поэтому Семен Митрофанович подсел к нему.

— Не возражаете?

Рыхлый молча подвинулся.

— По пути, значит, нам, Валера?

— Ошибаетесь, товарищ младший лейтенант.— Теперь он и говорил спокойно, и улыбался спокойно, и смотрел на Семена Митрофановича тоже спокойно.— Игорем меня зовут. Игорь Васильевич Колесников: паспорт могу показать.

— Покажите.

Чуть дрогнули брови. И голос сразу высох.

— Дома. С собой не вожу.

— Тогда придется пройти.

— Куда же?

— В отделение.

Промолчал рыхлый. Усмехнулся криво и промолчал. Почему?

— И без шума,— негромко добавил Ковалев.— Я официально прошу вас пройти со мной в отделение.

— Пожалуйста, пожалуйста! Разве я возражаю? Вежливо вполне, даже с перебором. И спокойно. Вот это спокойствие, по правде сказать, сильно смущало Семена Митрофановича. И поэтому он добавил:

— После установления личности вас доставят домой на машине. Не беспокойтесь.

— Я не беспокоюсь. Пожалуйста.

И снова улыбнулся. И даже не поинтересовался, на каком основании его в милицию доставляют и зачем, собственно. Либо действительно младший лейтенант неприятную ошибку допускал в самый последний день службы своей, либо этот рыхлый по дороге попросту удрать рассчитывал от старого милиционера. Тем более, что дорога через парк пролежала, тот самый парк, где сутки назад кто-то и за что-то бил воробьюху. И она тогда крикнула: «Валера, беги!..» Кого же она выручала? Неужели вот этого, рыхлого, начинающего лысеть самодовольного пижона с перстнем на толстом пальце?..

Захрипел репродуктор в салоне.

— Конечная...

Автобус развернулся, со вздохом распахнул обе двери. Семен Митрофанович сошел первым, подождал рыхлого. Вслед за ними вышли последние пассажиры и те два парня, что сидели сзади. Пассажиры быстро свернули в улицы, а Ковалев и тот, что назвался Игорем Васильевичем Колесниковым, пошли в парк: темный, без единого фонаря, шумящий уже по-ночному — загадочно и тревожно. У входа висели последние лампочки, и, пройдя их, Семен Митрофанович оглянулся: парни, что ехали на заднем сиденье, шли следом за ними.

«Вот это хорошо,— подумал Семен Митрофанович.— Видать, заводские ребята, свои: в случае чего помогут...»

Но помогать пока не требовалось: рыхлый шел спокойно, по сторонам не глазел и убежать не собирался. Когда углубились в лес, в прохладную темень тропинок, спросил благожелательно:

— Что это вы припозднились сегодня, товарищ младший лейтенант? С дежурства, что ли?

— С дежурства,— сказал Семен Митрофанович, решив, что так лучше: пусть этот Игорь, или как его там, думает, что он при оружии. И добавил для убедительности: — Отрапортую, сдам оружие, а там, глядишь, и с вами разберутся. Вы где проживаете-то?

Блеснули в темноте зубы.

— Представьте себе, нигде. Ночью пока в семизатках: там у одного доброго человека старики на даче околачиваются. Впрочем, вы же все знаете: мы с вами сегодня чуть-чуть разминулись, буквально на минуточку.

— У Анатолия?

— Совершенно точно! — рассмеялся рыхлый.

Самоуверенно рассмеялся, почти с торжеством. Почему вдруг? Какая причина? Может, на темноту надеялся, на собственную силу, на парк этот пустынный, где и днем-то от милиции удрать — раз плюнуть? Семен Митрофанович осторожно оглянулся: две фигуры смутно виднелись позади, и он опять успокоился.

— Откуда же вы Анатолия знаете?

Опять рассмеялся спутник его. И не ответил.

— Чего это вы развеселились вдруг?

— Смешно, товарищ младший лейтенант. Подумал я, сколько еще у нас неиспользованных возможностей, чтобы вас за нос водить, и мне сразу стало смешно.

— У кого это — у вас?
— У умных людей имею в виду, товарищ младший лейтенант.

— Это ж каких таких — умных?
Семен Митрофанович подобрался весь, нехорошее что-то почуяв. Ой, не зря рыхлый этот разоткровенничался, не зря!.. Только что же он, чудака, пареньков тех не видит, что ли? И Ковалев на всякий случай шаг сбавил, чтобы парни те подтянулись поближе.

— Сутки назад как раз в этих кустах пришлось проучить одну глупую девчонку, — сказал вдруг его спутник. — И знаете, за что? За то, что она отказывалась участвовать в операции «Пистолет», которую разработал один умный человек. А сегодня эта операция разыгрывается, как по нотам... — Он остановился. — Не хотите ли закурить? Я патриот, курю только советские...

— Идем, гражданин, идем, — сказал Семен Митрофанович, невольно отступив на шаг, чтобы быть поближе к тем парням, что шли за его спиной. — В милиции доскажешь...

— Пришли уже, — сказал рыхлый и чиркнул спичкой. — Пришли, лейтенант...

Удар обрушился на Семена Митрофановича сзади. Он не почувствовал его, а услышал и с какой-то странной горечью успел подумать о тех парнях, что напрасно они ударили его, ах, напрасно: он ведь еще не на пенсии, он еще на службе, и им за это... Но он успел только пожалеть их, а что им будет за это, додумать так и не успел. И еще он успел почувствовать чужие, грубые руки, которые почему-то лихорадочно рвали из его кобуры игрушечный пистолет...

14

Комиссар Белоконь приходил на работу в восемь сорок пять. А ровно в девять часов Вера Николаевна приглашала к нему первых посетителей.

В тот день посетитель был приятный: начальник АХО доложил, что для городской милиции пришло первых пятьдесят комплектов обмундирования нового образца, и принес список наиболее достойных кандидатов. Сергей Петрович, нацепив очки, придирчиво изучал этот список, отмечая французской ручкой фамилии тех, кто вне всякого сомнения должен был одним из первых получить новую шинель загадочного цвета маренго.

— А капитану Голованову не дадим, — улыбаясь, говорил он. — Капитан Голованов в театр не ходит: зачем ему шинель цвета маренго?

Полковник Орлов вошел в кабинет без стука. Вошел, остановился, точно собираясь с духом, а за ним молча шли начальники отделов. И стало вдруг

очень тихо, и в этой тишине отчетливо было слышно, как всхлипывает в приемной Вера Николаевна.

— Час назад в парке нашли Митрофаныча, — тихо сказал Орлов.

— Что?

— Убит.

Кажется, комиссар крикнул. Крикнул, с маху хватил обоими кулаками по полированной столешнице, и шариковые ручки посыпались на пол. Слезы текли по морщинистым, старательно выбритым щекам, и комиссар не замечал их. Он сидел, выпрямившись, бросив на стол огромные рабочие кулачищи, строго глядя перед собой. Начальники отделов молча смотрели на него, и только бледный полковник Орлов повторял:

— Найду, товарищ комиссар. Под землей найду. Лично найду.

Белоконь рукою вытер лицо, недоуменно посмотрел на мокрую ладонь, сказал тихо:

— Ищи.

И Орлов тотчас же вышел. А начальник АХО робко потянул из-под комиссарского локтя список претендентов на новые шинели.

— Что? — спросил Белоконь.

— Ничего, ничего, — поспешно сказал начальник АХО. — Это список, это не обязательно. Это потом...

— Список?.. Подождите.

Комиссар тяжело нагнулся, поднял с пола знаменитую парижскую ручку и вписал ею в список младшего лейтенанта милиции Ковалева Семена Митрофановича.

А народ со всего управления все шел и шел и, стесняясь комиссара, оседал в приемной. Вера Николаевна плакала в углу и каждому, кто входил, говорила:

— Курите. Курите, пожалуйста...

И почему-то все закуривали, даже некурящие. И впервые за много лет густые облака табачного дыма плавали в этой комнате.

— Может, с целью ограбления? — тихо расспрашивал кто-то. — Может, просто грабеж?

— Да какой там грабеж! — вздохнул рослый оперативник. — В порядке его кошелек, в кармане лежит. Там все его богатство: семьдесят восемь копеек. Пистолетик деревянный рядом валяется: видно, детям игрушку сделал. И еще — тряпочка какая-то...

В приемную вошел Хорольский. Он был как-то странно оживлен, и поэтому все отвернулись.

— Где полковник Орлов? — спросил он в дверях.

— Работает, — сухо сказал оперативник. — Просил не беспокоить.

Не удержался Хорольский. Даже в это утро не удержался: улыбнулся торжествующе.

— Ну, меня-то он примет, — сказал. — Там ко мне девчонка пришла. Вчерашняя девчонка. С показанием. Вот адреса.

И положил на стол бумажку...



**Вадим
Кузнецов**

Декабрь

Невероятное творится!
В Москве в середине декабря
ударил гром,
и по столице
разлились мутные моря.
Взбурлили бешеные воды,
снега замешивая в грязь...
И в этой выходке природы
совсем отсутствовала связь
между дождем
и здравым смыслом,
добром и логикой зла...
На плечи неба
коромыслом
шаловная радуга легла.
Круша обычая
сезона,
сердца прохожих веселя,
на перекопанных газонах
курилась талая земля.
Наперекор моей тревоге,
что из-за облака текла,
трава вставала у дороги
на зов нежданного тепла.
На тополях дышали почки,
под ярким солнцем округлясь...
Зима ворвалась в город ночью
и снова захватила власть.
А ранним утром стало ясно,
что сомневался я не зря,
что верил
все-таки напрасно
теплу
в середине декабря...

Дядя Ваня

*2 декабря весь наш дом
хоронил дворника дядю Ваню...
(Запись в дневнике.)*

Я, проснувшись, улыбаюсь,
мысли свежи и светлы,
потому что просыпаюсь
я от шарканья метлы.

Это летом.
А зимою,
как от крепкого толчка,
просыпаюсь в полседьмого
я от скрежета скребка.

Скоро, скоро солнце встанет
и затмит собой зарю.
— С добрым утром, дядя Ваня! —
дяде Ване говорю.
Он как будто мрачен вечно,
он как будто нелюдим.
Но несется мне навстречу:
— С добрым утречком, Вадим!
Снегом улицы забило,
из подъездов пар валит.
— Матерьялу подвалило,—
дядя Ваня говорит.
Хохотнет.
Хлебнет из фляги.
Крупный пот из-под седин
наполняет все овраги
многочисленных морщин.
Пот течет рекою слитной,
где —
совсем не для красоты —
полосой лесозащитной
поднимаются усы.
— Что, замерз! —
с усмешкой спросит,
глянет шало, весело.—
Кто ж зимой баретки носит!
Дуй, Петрович,
ты в тепло!
Что тебе никак нейдется!
Видишь, дом пока что спит!
Улыбнется,
повернется
и протезом заскрипит.
Знаю я —
слыхал когда-то,
дяди Ванина нога
потерялась в сорок пятом
где-то в логове врага.
В знаменитом сорок пятом...
А любимая жена
вместе с дочкой,
вместе с хатой
под Смоленском сожжена.
Дядя Ваня пьет из фляги,
без компании, один.
И бежит слеза в овраги
многочисленных морщин.
Раз в году,
забыв про беды,
он медали достает,
отмечая День Победы
тем,
что в этот день не пьет!..
...Заметают снег дороги...
Как от крепкого толчка,
просыпаюсь от тревоги —
не от скрежета скребка.
Целый день в тоске смертельной,
и не клеятся дела,
потому что спит в котельной
одинокая метла...



Взбивая тундровую грязь,
а может быть, бродя по югу,
ругаясь,
радуясь,
молясь,
тоскуют люди друг по другу.

Тоскуют трудно, горячо,
как матери у обелисков,
тоскуют по родным и близким
и тем,
незнаемым еще;
тоскуют по упрямству глаз
былых друзей,
что смотрят мимо.
Как будто все они
для нас
единственно-необходимы...

Старый прииск

Заросли отвалы иван-чаем.
Тишина тягуча, словно сон.
Старый прииск
молча нас встречает
темными провалами окон.
В рыжий лес,
оскалясь оскорбленно,
убегает рыжая лиса.
Я кричу,
и в избах разоренных
оживают чьи-то голоса.
Оживают,
мечутся по стенам,
словно птицы,
бьются в потолок...
Из тайги
могуче и надменно
приплывает медленный гудок.
Новый прииск
протрубил победу,
как любовью опаленный лось.
Мне — туда.
И я сейчас уеду,
только рад,
что в жизни довелось
постоять у пыльного порога,
погрустить у старой городьбы,
в первый раз задумавшись немного
о возможных странностях судьбы...

□ □ □



**Владимир
Леонович**

☆

Все я хочу написать
стихотворенье без слов,
стихотворенье-мотив,
самой прекрасной ценой оплатив
исчезновение слов.

Стихотворение-лес,
где шелестенье древес,
отдохновенье очес
от опорных стволов.
Кроны или облака!
Освобожденье от линий, углов,
краски, мазка...
Без языка
музыка — стихотворенье без слов.

☆

Во все концы дорога далека,
но в зрелые черты сумей взглянуться —
и различишь прекрасного младенца.
Сморгнешь — и угадаешь старика.

И возраста у человека нет.
Я это видел в ясные минуты
посередине той тяжелой смуты,
что мы зовем вершиной наших лет.

Я возрасты мои в себе несу,
и, как деревья в лиственном и хвойном
ноябрьском или мартовском лесу,
они толпятся в беспорядке стройном.

Вижу работу

Кафе. Стена обнажена,
и кладка плотная видна.
Бетон — влиянье моды,
опалубки следы,
древесные разводы
надежно отлиты.
Каменотеса керн
едва прошел по буту.
Я слышу про модерн,
а вижу я работу.
Колонна или свая?
Здесь дух черновика,
и ко всему живая
приложена рука.
Изнанка! Ничего.
Да тут и незавидно
такое мастерство,
которого не видно.

Вкус

Вкус художественный развивая,
знайте, что художественный вкус
есть необходимо роковая
категория или искус.

Хорошо воспитан, образован,
волю он берет и тот же час
наше дело поверяет словом,
совершенства требуя от нас.

И уже тебя — твое создание
не на шутку пересоздает:
все его святые предписанья
сбудутся в урочный час и год.

Исповедник веры идеальной,
так — живи. Не отврати лица
от неоспоримой музыкальной
той каденции, того конца...



Софья
Петренко

Про отца

Бежит матрос к фортам Кронштадта,
По бескозырке чуб льняной,
И полы черного бушлата
Взлетают за его спиной.

Отрывисто и часто дышит.
Ладонью смахивает пот
И знает, что из темной ниши
В него нацелен пулемет.

Упал, прижат огнем к торосам.
Рука с гранатой вперед.
И кровь горячая матроса
Расплавила балтийский лед.

Скользят снежинки без участия
С окаменелого лица.
Я так и не узнала счастья
Примолкнуть на груди отца.

☆

Двадцатый год.
Разруха. Тиф. Фронты.
И топлива и хлеба очень мало.
И мыла, чтоб стирать кровавые бинты,
И марли на бинты не доставало.
И вот тогда
Нас — жителей котлов,
Привыкших к чесотке и трахоме
И втихомолку грезивших о доме,—
Страна спасла.
Дала еду и кров.

Мы не бездомные!
Ура! Над нами крыша.
Столовая и чистые постели.
Но только всех роскошеств и излишеств
Мы оценить, как надо, не умели.

Не дорожили мраморным фонтаном
И нос отбили у Афины грозной.
А на стене
В соседстве с Левитаном
Плакат повесили:
«Борись со вшой тифозной!»

Зато в гостиной меж больших зеркал
Взамен монарха в золоченой раме
Наш беспризорный Репин написал
Максима Горького с широкими усами.

☆

Красивою я не была.
Счастливою, удачливою — тоже.
И все-таки мы так с тобой похожи —
Как перышки из одного крыла.

Любимые, и матери, и жены,
Как часто нежность, ласковость свою
Скрывали мы за жестом непреклонным
Суровости, усвоенной в бою.

Не в гавани у тихого причала,
На перекрестках боевых дорог,
Переступив отеческий порог,
Искали мы единое начало.

Не честолюбья ради и награды —
Мы по-другому не умели жить
И не могли кому-то уступить
Передний край, где падают снаряды.

☆

Все как положено,
А защемило грудь.
Шинель моя,
Прощаемся с тобою.
Приказ подписан.
Я — за проходною.
Как говорят:
Родная, не забудь.

Теперь, армейской выучкой богата,
Пойду по новому пути.
Пусть труден он,
А мне легко идти
Сноровистой походкою солдата.

Спасибо,
Что ростки души живые
Под скаткою не омертвели, нет.
И пропускали все посты сторожевые,
И птичий пересвист,
И звезд далеких свет.

Я по-пластунски ползала, бывало.
Известно,
Что армейский быт не прост.
Зато потом я в полный рост вставала,
Пусть в небольшой,
Но человеческий рост.

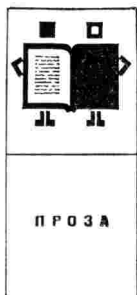
Тополя

Еще снега, а стайка тополей
Между железною дорогой и домами
Зеленоватыми пронизана дымами
И трепетом, всходящим от корней.

Под тонкою корой движенье соков,
Деревья загодя готовятся в полет.
Раскинут листья крыльями, и вот
Они взлетят, не упуская сроков,

Сквозь дни весны и грозное лето
Вперед и ввысь неведомо куда.
А мимо пробегают поезда
Вдогонку солнцу и навстречу свету.

И дальних странствий радости суля,
Кричат грачи про виденное где-то.
И рвутся сквозь морозные рассветы
В апрельские просторы тополя.



Арк. Стругацкий,
Бор. Стругацкий

ОТЕЛЬ

«У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Рисунки Г. Новожилова.

Глава 12

Увидев меня, незнакомец живо наклонился вперед и спросил:

— Вы Олаф Андварафорс?

Такого вопроса я не ожидал. Совсем не ожидал. Я поискал глазами стул, придвинул стул к кровати, неторопливо уселся и только тогда посмотрел на незнакомца. Был большой соблазн ответить утвердительно и посмотреть, что из этого выйдет. Но я не контрразведчик и не сыщик. Я честный полицейский чиновник. Поэтому я ответил:

— Нет. Я не Олаф Андварафорс. Я инспектор полиции, и зовут меня Петер Глебски.

— Да? — сказал он удивленно, но без всякого беспокойства. — Но где же Олаф Андварафорс?

По-видимому, он вполне оправился после вчерашнего. Тощее лицо его порозовело, кончик длинного носа, такой белый вчера, теперь был красен. Он сидел на кровати, закрывшись до пояса одеялом, ночная рубашка Алека была ему явно велика, ворот висел хомутом и обнажал острые ключицы и бледную безволосую кожу на груди. И на лице его не было растительности — только несколько волосков на месте бровей да редкие белесые ресницы. Он сидел, наклонившись вперед, и рассеянно наматывал на левую руку пустой рукав правой.

— Прошу прощения, — сказал я, — но предварительно я должен задать вам несколько вопросов.

На эти мои слова незнакомец не ответил ничего.

Лицо его приняло странное выражение — до того странное, что я не сразу понял, в чем дело. А дело было в том, что одним глазом он уставился на меня, а другой глаз закатил под лоб, так что на виду остался только белок. Некоторое время мы молчали.

— Так вот, — сказал я, — прежде всего хотелось бы узнать, кто вы такой и как вас зовут.

— Луарвик, — сказал он быстро.

— Луарвик... А имя?

— Имя? Луарвик.

— Господин Луарвик Луарвик?

Он опять помолчал. Я боролся с неловкостью, какую всегда испытываешь, разговаривая с сильно косоглазыми людьми.

— Приблизительно да, — сказал он наконец.

— В каком смысле приблизительно?

— Луарвик Луарвик.

— Хорошо. Допустим. Кто вы такой?

— Луарвик, — сказал он. — Я Луарвик. — Он помолчал. — Луарвик Луарвик. Луарвик Л. Луарвик.

Он выглядел достаточно здоровым и совершенно серьезным, и это удивляло больше всего. Впрочем, я не врач.

— Я хотел узнать, чем вы занимаетесь.

— Я механик, — сказал он. — Механик-водитель.

— Водитель чего? — спросил я.

Тут он уставился на меня обоими глазами. Он явно не понимал вопроса.

— Хорошо, оставим это, — поспешно сказал я. — Вы иностранец?

— Очень, — сказал он. — В большой степени.

— Вероятно, швед?

— Вероятно. В большой степени швед.

«Что он, издевается надо мной? — подумал я. — Не похоже. Скорее, у него вид человека, припертого к стене».

— Зачем вы сюда приехали? — спросил я.
— Здесь есть Олаф Андварафорс.
— Вы ехали к Олафу Андварафорсу?
— Да.
— Попали под обвал?
— Да.
— Ехали на автомобиле?
Он подумал.
— Машина, — сказал он.
— Зачем вам нужен Андварафорс?
— Я имею с ним дело.
— Какое именно?
— Я имею с ним дело, — повторил он. — С ним.
Дверь за моей спиной скрипнула. Я обернулся. На пороге, держа кружку на олете, стоял Мозес.
— Сюда нельзя, — сказал я резко.
Мозес из-под нависших бровей разглядывал незнакомца. На меня он не обратил никакого внимания. Я вскошил и пошел на него грудью.
— Прошу вас немедленно выйти, господин Мозес!
— Не орите на меня, — неожиданно миролюбиво предложил Мозес. — Могу же я полюбопытствовать, кого вы поселили в моем помещении?
— Не сейчас, позже... — Я стал постепенно, но настойчиво закрывать дверь.
— Извольте, извольте... — бурчал Мозес, вытесняемый в коридор. — Я, конечно, мог бы протестовать...
Я закрыл дверь и снова повернулся к Луарвику Л. Луарвику.
— Это был Олаф Андварафорс? — спросил Луарвик.
— Нет, — сказал я. — Олаф Андварафорс убит сегодня ночью.
— Убит, — повторил Луарвик. В голосе его не было никаких эмоций. Ни удивления, ни страха, ни горя. Как будто я сообщил ему, что Олаф на минутку вышел и сейчас вернется. — Мертвый? Олаф Андварафорс?
— Да.
— Нет, — сказал Луарвик. — Вы неточно знаете.
— Я знаю совершенно точно. Я видел его мертвым. Сам.
— Я хочу посмотреть.
— Зачем это вам? Я понял так, что вы не знаете его в лицо.
— Я имею с ним дело, — сказал Луарвик.
— Но я же говорю вам: он убит. Умер. Его убили.
— Хорошо. Я хочу посмотреть.
Меня вдруг осенило: я вспомнил про чемодан.
— Он должен был вам что-нибудь передать?
— Нет, — ответил он равнодушно. — Мы должны говорить. Я с ним.
— О чем?
— Я с ним. С ним.
— Слушайте, господин Луарвик, — сказал я, — Олаф Андварафорс мертв. Его убили. Я расследую убийство. Ищу убийцу, понимаете? Мне надо знать как можно больше об Олафе Андварафорсе. Прошу вас быть откровенным. Рано или поздно вам все равно придется рассказать все. Лучше рано, чем поздно.
Он вдруг заполз под одеяло до самого носа. Глаза у него снова глядели в разные стороны.
— Я ничего не могу сказать вам, — невнятно проговорил он сквозь одеяло.
— Почему?
— Я могу сказать только Олафу Андварафорсу.
— Откуда вы ехали? — спросил я.
Он молчал.
— Где вы живете?
Молчание. Тихое посапывание. Один глаз смотрит на меня, другой — в потолок.
— Вы выполняете чье-нибудь поручение?

— Да.
— Чье именно?
— Зачем вы хотите это знать? — спросил он. — Я имею дело не с вами. Вы имеете дело не с нами.
— Прошу вас понять, — сказал я проникновенно. — Если мы узнаем хоть что-нибудь об Олафе, мы узнаем, кто был убийца. Ну, хорошо. Вы, по-видимому, не знаете Олафа. Но те, кто вас к нему послал, они могут что-то знать.
— Они не знают Олафа тоже, — сказал он.
— То есть как?
— Они не знают Олафа. Зачем?
Я потер обросшие щетиной щеки.
— У вас концы с концами не сходятся, — сказал я угрюмо. — Люди, которые не знают Олафа, посылают вас, который тоже не знает Олафа, с каким-то поручением к Олафу. Как это может быть?
— Это может быть. Это так.
— Кто эти люди?
Молчание.
— Где они находятся?
Молчание.
— Господин Луарвик, у вас могут быть большие неприятности!
— Зачем? — спросил он.
— При расследовании убийства каждый добрый гражданин обязан давать полиции требуемые показания, — сказал я строго. — Отказ может быть рассмотрен как соучастие.
— Я хочу надеть одежду, — сказал вдруг Луарвик. — Я не хочу лежать. Я хочу видеть Олафа Андварафорса.
— С какой целью? — спросил я.
— Я хочу его видеть.
— Но вы же не знаете его в лицо.
— Я не хочу его лицо, — сказал Луарвик.
— А что же вам нужно?
Луарвик вылез из-под одеяла и снова сел.
— Я хочу видеть Олафа Андварафорса! — сказал он очень громко. Правый глаз его дергался и вращался. — Зачем вопросы? Зачем вопросы? Очень много вопросов. Почему я не вижу Олафа Андварафорса?
Я тоже потерял терпение.
— Вы хотите опознать труп? Так я вас понимаю?
— Опознать... Узнать?
— Да! Узнать!
— Хочу. Хочу видеть.
— Как вы можете его узнать, — сказал я, — если вы не знаете его в лицо?
— Какое лицо? — заорал Луарвик. — Зачем лицо? Я хочу видеть, что это не есть Олаф Андварафорс, что это есть другой!
— Почему вы думаете, что это другой? — быстро спросил я.
— Почему вы думаете, что это Олаф Андварафорс? — возразил он.
Мы уставились друг на друга. Я был вынужден признать, что этот странный человек в известном смысле прав. Я не мог бы присягнуть, что викинг со свернутой шеей наверху — это тот самый Олаф Андварафорс, которого ищет Луарвик Л. Луарвик. Это мог быть не тот Олаф Андварафорс, и это мог быть вообще не Олаф Андварафорс. С другой стороны, я не понимал, какой толк показывать труп человеку, который не знает Олафа в лицо. В лицо... А действительно, почему обязательно в лицо? Может быть, он должен был узнать его по одежде, или по какому-нибудь перстню... или, скажем, по татуировке...
В дверь постучали, и голос Кайсы пропищал: «Одеваться, пожалуйста...» Я открыл дверь и принял



у Кайсы высушенный и выглаженный костюм незнакомца.

— Одевайтесь, — сказал я, положив костюм на постель.

Потом я встал к окну и принялся смотреть на зубчатую скалу Погибшего Альпиниста, уже озаренную розовым светом восходящего солнца, на бледную луну, на чистую темную синеву неба. За спиной у меня раздавалось шипение, шуршание, невнятное бормотание, почему-то двигали стулом — по-видимому, это нелегкое дело: одеваться при помощи одной руки и при таком косоглазии вдобавок. Дважды меня так и подмывало повернуться и предложить помощь, но я сдержался. Потом Луарвик сказал: «Я надел». Я обернулся. Я удивился. Я очень удивился, но тут же вспомнил, что этот человек пережил ночь, и перестал удивляться. Я подошел к нему, поправил и застегнул воротник, перестегнул пуговицы на пиджаке и пододвинул ему ногой шлепанцы хозяина. Пока я все это делал, он покорно стоял, отставив единственную руку. Пустой правый рукав я засунул ему в карман. Он посмотрел на шлепанцы и сказал с сомнением:

— Это не мое. У меня не так.

— Ваши ботинки еще не высохли, — сказал я. — Обувайте это, и пошли.

Можно было подумать, что он никогда в жизни не имел дела со шлепанцами. Дважды он с размаху пы-

тался загнать в шлепанцы ноги и дважды промахивался, каждый раз теряя при этом равновесие. У него вообще было неважно с равновесием — видно, ему здорово досталось, и он еще далеко не пришел в себя. Я его хорошо понимал: со мной тоже бывало такое...

Рука об руку мы вышли в холл и двинулись на второй этаж. Хозяин, по-прежнему сидевший на своем посту, проводил нас задумчивым взглядом. Луарвик же на хозяина внимания не обратил совсем. Все свое внимание он сосредоточил на ступеньках лестницы. Я на всякий случай придерживал его за локоть.

Перед дверью номера Олафа мы остановились. Я внимательно осмотрел свои наклейки — все было в порядке. Тогда я достал ключ и распахнул дверь. Резкий неприятный запах ударил мне в нос — очень странный запах, похожий на запах дезинфекции. Я задрожал на пороге, мне стало не по себе. Впрочем, в комнате все оставалось без изменений. Только лицо мертвеца показалось мне более темным, чем накануне, возможно, из-за освещения, и пятна кровоподтеков были теперь почти не видны. Луарвик довольно чувствительно ткнул меня в поясницу. Я шагнул в прихожую и посторонился, пропуская его посмотреть.

Можно было подумать, что он не механик-водитель, а служитель морга. С совершенно равнодушным лицом он остановился над трупом и низко наклонился, закинув единственную руку за спину. Ни брезг-

ливости, ни страха, ни благоговения—деловитый осмотр. И тем более странными показались мне его слова.

— Я удивлен,— произнес он совершенно бесцветным голосом.— Это есть Олаф Андварафорс на самом деле. Я не понимаю.

— Как вы его узнали? — сейчас же спросил я. Он, не выпрямляясь, повернул голову и посмотрел на меня. Он стоял, нагнувшись, расставив ноги, глядел на меня снизу вверх и молчал. Это продолжалось так долго, что у меня заняла шея.

Как это он может оставаться в такой нелепой позе? В поясницу ему вступило, что ли?.. Наконец он произнес:

— Вспомнил. Видел раньше. Не знал, что Олаф Андварафорс.

— А где вы его видели раньше? — спросил я.

— Там.— Он, не разгибаясь, махнул рукой куда-то за окно.— Это не есть главное.

Вдруг он разогнулся и заковылял по комнате, смешно вертя головой. Я весь подобрался, не спуская с него глаз. Он явно искал что-то, и я уже догадывался, что именно.

— Олаф Андварафорс умер не здесь? — спросил он, останавливаясь передо мною.

— Почему вы так думаете? — спросил я.

— Я не думаю. Я сделал вопрос.

— Вы что-нибудь ищете?

— Олаф Андварафорс имел предмет,— сказал он.— Где?

— Вы ищете чемодан? — спросил я.— Вы за ним приехали?

— Где он? — повторил Луарвик.

— Чемодан у меня,— сказал я.

— Это хорошо,— похвалил он.— Я хочу его иметь здесь. Принесите.

Я пропустил мимо ушей его тон и сказал:

— Я мог бы отдать вам чемодан, но сначала вы должны ответить на мои вопросы.

— Зачем? — с огромным изумлением спросил он.— Зачем снова вопросы?

— А затем,— терпеливо ответил я,— что вы получите чемодан только в том случае, если из ваших ответов станет ясно, что вы имеете на него право.

— Не понимаю,— сказал он.

— Я не знаю,— сказал я,— ваш это чемодан или нет. Если он ваш, если Олаф привез его для вас, докажите это. Тогда я его вам отдам.

Глаза у него разъехались и снова съехались к переносице.

— Не надо,— сказал он.— Не хочу. Устал. Пойдем. Несколько озадаченный, я вышел вслед за ним из номера. Воздух в коридоре показался на удивление свежим и чистым. Откуда в номере эта аптечная вонь? Может быть, там и раньше было что-то разлито, только при открытом окне не чувствовалось? Я запер дверь. Пока я ходил к себе за клеем и бумагой и занимался опечатыванием, Луарвик оставался на месте, погруженный, казалось, в глубокую задумчивость.

— Ну что? — спросил я.— Вы будете отвечать на вопросы?

— Нет,— решительно ответил он.— Не хочу вопросов. Хочу лежать. Где можно лежать?

— Ступайте в свою комнату,— вяло сказал я. Мною овладела апатия. Вдруг зверски разболелась голова. Потянуло лечь, расслабиться, закрыть глаза. Все это нелепое, ни на что не похожее, уродливо-бессмысленное дело словно бы воплотилось в нелепом, ни на кого не похожем, уродливо-бессмысленном Луарвике Л. Луарвике.

Мы спустились в холл, и он проковылял к себе в

комнату, а я сел в кресло, вытянулся и, наконец, закрыл глаза. Где-то шумело море, играла громкая неразборчивая музыка, приплывали и уплывали какие-то туманные пятна. Во рту было такое ощущение, как будто я много часов подряд жевал сырую вату. Потом кто-то обнюхал мне ухо мокрым носом, и тяжелая голова Леля дружески прижалась к моему колену.

Глава 13

Наверное, мне все-таки удалось вздремнуть минут пятнадцать, а больше дремать мне не дал Лель. Он облизывал мне уши и щеки, тербил штанину, толкался и, наконец, легонько укусил за руку. Тогда я не выдержал и подскочил, готовый разорвать его на куски, бессвязные проклятья и жалобы теснились в моей глотке, но взгляд мой упал на столик, и я замер. На блестящей лакированной поверхности столика рядом с бумагами и счетами хозяина лежал огромный черный пистолет.

Это был парабеллум с удлинненной рукояткой. Он лежал в лужице воды, и комочки нерастаявшего снега еще облепляли его, и пока я смотрел, разинув рот, один комочек сорвался со спускового крючка и упал на поверхность стола. Тогда я оглядел холл. В холле было пусто, только Лель стоял рядом со столиком и, наклонив голову набок, серьезно-вопросительно смотрел на меня. Из кухни доносился звон кастрюль, слышался негромкий басок хозяина и тянуло запахом кофе.

— Это ты принес? — спросил я Леля шепотом.

Он наклонил голову на другой бок и все продолжал смотреть на меня. Лапы у него были в снегу, с лохматого брюха капало. Я осторожно взял пистолет.

Вот это было настоящее гангстерское оружие. Дальность прицельного боя — двести метров, приспособление для установки оптического прицела, рамка для приставного приклада, рычажок перевода на автоматическую стрельбу и прочие удобства... Ствол был забит снегом. Пистолет был холодный, тяжелый, рубчатая рукоятка ладно лежала в ладони. Почему-то я вспомнил, что не обыскал Хинкуса. Багаж его обыскал, шубу обыскал, а самого его забыл. Должно быть, потому, что он представлялся мне жертвой.

Я извлек из рукояти обойму — обойма была полна. Я оттянул затвор, и на стол выскочил патрон. Я взял его, чтобы вставить в обойму, и вдруг обратил внимание на странный цвет пули. Она была не желтая и не тускло-серая, как обычно. Она сверкала, как никелированная, только это был не никель, а скорее серебро. Никогда в жизни не видел таких пуль. Я стал торопливо один за другим выщелкивать патроны из обоймы. Все они были с такими же серебряными пулями. Я оближал пересохшие губы и снова посмотрел на Леля.

— Где ты это взял, старик? — спросил я.

Лель игриво мотнул головой и боком скакнул к двери.

— Понятно,— сказал я.— Понимаю. Подожди минутку.

Я собрал патроны в обойму, загнал обойму в рукоятку и, на ходу запихивая пистолет в боковой карман, пошел к выходу. За дверью Лель скатился с крыльца и, проваливаясь в снег, поскакал вдоль фасада. Я был почти уверен, что он остановится под окном Олафа, но он не остановился. Он обогнул дом, исчез на секунду и снова появился, нетерпеливо выглядывая из-за угла. Я схватил первые попавшиеся лыжи, кое-как закрепил их на ногах и побежал следом.



Мы обогнули гостиницу, а затем Лель устремился прочь от дома и остановился метрах в пятидесяти. Я подъехал к нему и огляделся. Все это было как-то странно. Я видел ямку в снегу, откуда Лель выкопал пистолет, я видел след своих лыж позади, видел борозды, которые оставил Лель, прыгая через сугробы, а в остальном пелена снега вокруг была нетронута. Это могло означать только одно: пистолет зашвырнули сюда либо с дороги, либо из отеля. И это был хороший бросок. Я не был уверен, что сам сумел бы забросить такую тяжелую и неудобную для броска штуку столь далеко. Потом я понял: пистолет бросили с крыши. Пистолет отобрали у Хинкуса и забросили подальше. Может быть, впрочем, и сам Хинкус забросил его подальше. Может быть, он боялся, что его застукают с этим пистолетом. А может быть, конечно, это сделал и не Хинкус, а кто-то другой... но почти наверняка с крыши. С дороги такой бросок мог сделать разве что хороший гранатометчик, а из окна какого-нибудь номера это сделать и вообще было бы невозможно.

— Что ж, Лель,— сказал я сенбернару,— ты молодец. А я вот нет. Хинкуса надо было трясти поосновательней, как это умеет делать старина Згут. Правда? К счастью, это еще не поздно сделать.

И, не дожидаясь ответа Леля, я побежал обратно. Лель, разбрасывая снег, проваливаясь и размахивая ушами, скакал рядом.

Я намеревался сразу же отправиться к Хинкусу, разбудить этого сукиного сына и вытрясти из него душу, даже если это будет стоить мне выговора в послужном формуляре. Мне было теперь предельно ясно, что дела Олафа и Хинкуса связаны между собой самым непосредственным образом, что Олаф и Хинкус приехали сюда вместе отнюдь не случайно, что Хинкус сидел на крыше, вооружившись дальнобойным пистолетом, только с одной целью: держать под прицелом ближайшие окрестности и не дать кому-то уйти из отеля; что это именно он предупреждал кого-то запиской, подписанной «Ф» (тут он, правда, напутал, и записка попала явно не по адресу — дю Барнсток не вызывает ни малейших подозрений);

что он кому-то здесь страшно мешал и, вероятно, продолжает мешать, и будь я проклят, если я сейчас же не выясню, кому и почему. В этой версии была, конечно, масса противоречий. Если Хинкус, скажем, был телохранителем Олафа и мешал его убийце, то почему с ним, Хинкусом, обошлись так мягко? Почему ему тоже не свернули шею? Да! И надо выяснить, кому он посылал телеграмму. Я все время упускаю это из виду...

Хозяин окликнул меня из буфетной и, не говоря больше ни слова, предложил кружку горячего кофе и громадный сочный бутерброд с ветчиной. Это было как раз то, что нужно. Пока я жевал и глотал, он внимательно разглядывал меня прищуренными глазами и наконец спросил:

— Что-нибудь новенькое?

Я кивнул, проглотил и ответил:

— Да. Пистолет. Только не я, а Лель. А я идиот.

— Гм... Да. Лель — умная собака. А что за пистолет?

— Интересный пистолет,— сказал я.— Профессиональный... Между прочим, вы слышали когда-нибудь, чтобы пистолеты заряжались серебряными пулями?

Некоторое время хозяин молчал, выпячивая челюсть.

— Этот ваш пистолет заряжен серебряными пулями? — медленно произнес он. Я кивнул.— М-да, я читал об этом...— сказал хозяин.— Оружие заряжается серебряными пулями, когда человек собирается стрелять по призракам.

— Опять зомбизм-момбизм,— проворчал я.

— Да, опять. Вурдалака не убьешь обычной пулей. Вурвольф... лисица-кицунэ... жабья королева... Я вас предупреждал, Петер! — Он поднял толстый палец.— Я уже давно жду чего-нибудь вроде этого. А теперь, оказывается, что не только я...

Я дожевал бутерброд и допил кофе. Нельзя сказать, что слова хозяина так уж совсем не задели меня. Почему-то все время так получалось, что версия хозяина — единственная и безумная — все время находила подтверждение, а все мои версии — многочис-

ленные и реалистические — нет... Вурдалаки, призраки, привидения... Тут вся беда была в том, что тогда мне осталось бы только сложить оружие: как сказал один писатель, потусторонний мир — это ведомство церкви, а не полиции...

— Вы узнали, чей это пистолет? — спросил хозяин.

— Да есть тут у нас один охотник за вурдалаками, Хинкус его фамилия, — сказал я и вышел.

Посреди холла, весь какой-то корявый и неестественный, торчал покосившимся столбом господин Луарвик Л. Луарвик. Одним глазом он смотрел на меня, а другим — на лестницу. Пиджак сидел на нем как-то особенно криво, брюки сползли, пустой рукав болтался и имел такой вид, словно его жевала корова. Я кивнул ему и хотел пройти мимо, но он быстро заковылял мне навстречу и загородил дорогу.

— Один небольшой, но важный разговор, — объявил он.

— Я занят. Давайте через полчаса.

Он поймал меня за локоть.

— Очень прошу выделить несколько минут. Это важно для меня.

— Это важно для вас... — повторил я, продолжая продвигаться к лестнице. — Если это важно только для вас, то для меня это не важно совсем.

Он тащился за мной, как привязанный, как-то странно ставя ноги: одну — носком наружу, другую — носком внутрь.

— Для вас тоже важно, — сказал он. — Вы будете довольны. Вы получите все желаемое.

Мы уже поднимались по лестнице.

— А в чем, собственно, дело? — спросил я.

— Это дело относительно чемодана.

— Через полчаса, — сказал я. — И отпустите меня, пожалуйста, вы мне мешаете.

— Да, — согласился он. — Мешаю. Я хочу мешать. Мой разговор срочный.

— Какая там срочность, — возразил я. — Успеется. Через полчаса. Или, скажем, через час.

— Нет-нет, очень прошу вас немедленно. Многое зависит. И это быстро. Я — вам, вы — мне. Все.

Мы были уже в коридоре второго этажа, и я сжался.

— Хорошо, пойдете ко мне. Только давайте побыстрее.

— Да-да, это будет быстро.

Я привел его в свой номер и, присев на край оскверненного стола, сказал:

— Выкладывайте.

Но он начал не сразу. Сначала он огляделся, надеясь, вероятно, что чемодан лежит где-нибудь здесь, на виду.

— Нету здесь чемодана, — сказал я. — Давайте скорее.

— Тогда я яду, — сказал он и сел в мое кресло. — Мне очень нужен чемодан. Что вы хотите за?

— Ничего не хочу. Докажите, что вы имеете на него права, и он ваш.

Луарвик Л. Луарвик покачал головой и сказал:

— Нет. Чемодан не мой. Мне было приказано найти Олафа и сказать ему: «Отдай то, что взял. Комендант двести двадцать четыре». Я не знаю, что это значит. Не знал, что он взял. И потом, вы все время говорите: чемодан. Это меня обмануло. Не чемодан. Футляр. Внутри — прибор. Раньше я не знал. Когда увидел Олафа, догадался. Теперь я знаю: Олаф не убит. Олаф умер. От прибора. Прибор очень опасный. Угроза для всех. Все будут, как Олаф, или может быть взрыв. Тогда все будут еще хуже. Понимаете, почему надо быстро? Олаф — дурак, он умер. Мы умные, мы не умрем. Скорее давайте чемодан.

Все это он протараторил своим бесцветным голосом, глядя на меня по очереди то правым, то левым

глазом и немилосердно терзая пустой рукав. Лицо его оставалось неподвижным, только время от времени поднимались и опускались реденькие брови. Я смотрел на него и думал, что манеры и грамматика у него остались прежние, а вот запас слов за последние полчаса основательно увеличился. Разговорился Луарвик.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Я эмигрант. Изгнанник. Жертва политики.

Да, разговорился Луарвик. И откуда что берется!

— Эмигрант откуда? — спросил я.

— Не надо таких вопросов. Не могу сказать. Честь. Никакого вреда вашей стране.

— Откуда вы сюда приехали? Из какого города?

— Из города рядом. Не знаю названия. Меня проводили.

— Кто?

— Не знаю. Секретно. Тоже изгнанники.

— Вы хотите сказать, что вы член тайного общества?

— Не могу сказать. Честь. Надо скорее. Можно погибнуть.

Чем больше он меня торопил, тем меньше я был склонен спешить. Мне все было ясно: он врал и врал страшно неумело.

— На чем вы ехали сюда? — спросил я.

— Машина.

— Какой марки?

— Марки... Черный, большой.

— Вы не знаете марки своего автомобиля?

— Не знаю, он не мой.

— Но вы же механик, — сказал я со злорадством. — Какой же вы, к черту, механик, да еще водитель, если вы не разбираетесь в автомобилях?

— Дайте мне чемодан, иначе будет несчастье.

— А что вы будете делать с этим чемоданом?

— Быстро увезу.

— Куда? Вы же знаете, лавина завалила дорогу.

— Это все равно. Увезу подальше. Попробую разрядить. Если не сумею, убегу. Пусть лежит сам.

— Хорошо, — сказал я и соскочил со стола. — Поехали.

— Как?

— На моей машине. У меня хорошая машина. Возьмем чемодан, отвезем подальше, посмотрим.

Он не двинулся с места.

— Чего же вы сидите? — спросил я. — Ведь опасно, надо скорее...

— Не годится, — сказал он наконец. — Попробуем по-другому. Не хотите отдать чемодан, тогда продайте чемодан. А?

— То есть? — сказал я, снова присаживаясь на край стола.

— Я даю деньги, много денег. Вы не на работе, вы в отпуске. Вы нашли чемодан, я его купил. Все.

— И сколько же вы мне дадите? — спросил я.

— Много. Сколько хотите. Вот.

Он полез за пазуху и вытащил толстенную пачку банкнот. В натуре я видел такие пачки только один раз — в Государственном банке, когда вел там дело о подлоге.

— Сколько здесь? — спросил я.

— Мало? Тогда еще вот.

Он полез в боковой карман и вытащил еще одну такую же пачку и тоже бросил ее на стол рядом со мной.

— Сколько здесь денег? — спросил я.

— Какая разница? — удивился он. — Все ваше.

— Очень большая разница. Вы знаете, сколько здесь денег?

Он молчал, глаза его то разъезжались, то съезжались.

— Так. Не знаете. А где вы их взяли?

— Это мои.
— Бросьте, Луарвик. Кто вам их дал? Вы же явились сюда с пустыми карманами. Мозес, больше некому. Так?
— Вы не хотите деньги?
— Вот что,—сказал я.— Эти деньги я конфискую, а вас привлекаю за попытку подкупа должностного лица. Вы вляпались в очень нехорошую историю, Луарвик. Вам остается одно: говорить все начистоту. Кто вы такой?

— Вы взяли деньги? — осведомился Луарвик.
— Я их конфисковал.
— Конфисковал... Хорошо,—сказал он.— А где чемодан?

— Вы не понимаете, что такое «конфисковал»? — спросил я.— Спросите у Мозеса... Итак, кто вы такой?

Не говоря ни слова, он встал и направился к двери. Я сгреб деньги и пошел за ним следом. Мы прошли по коридору и стали спускаться по лестнице.

— Вы напрасно не отдаете чемодан,—сказал Луарвик.— Это не будет вам полезно.

— Не угрожайте,—напомнил я.
— Вы будете причиной большого несчастья.

— Хватит врать,—сказал я.— Не хотите говорить правду — дело ваше. Но вы уже влипли по уши, Луарвик, и утянули за собой Мозеса. Теперь вы легко не отделаетесь... Стоп! Не туда. Идите за мной.

Я взял его за пустой рукав и отвел в контору. Потом я позвал хозяина, в его присутствии пересчитал деньги и написал акт. Хозяин тоже пересчитал деньги — денег оказалось больше восьмидесяти тысяч, мое жалование за десять лет беспорочной службы,— и подписал акт. Все это время Луарвик стоял поодаль, неуклюже переминаясь с ноги на ногу, как человек, которому хочется уйти как можно скорее.

— Подпишите,—сказал я, протягивая ему ручку. Он взял ручку, внимательно оглядел ее и осторожно положил на стол.

— Нет,—сказал он.— Я пойду.
— Как хотите,—сказал я.— Ваше положение это не изменит.

Он сейчас же повернулся и вышел, задев плечом за косяк. Мы с хозяином посмотрели друг на друга.

— Зачем он хотел вас подкупить? — спросил хозяин.— Что ему было надо?

— Чемодан Олафа, который стоит у вас в сейфе...— Я достал ключ и открыл сейф.— Вот этот вот.

— Он стоит восемьдесят тысяч? — спросил хозяин с уважением.

— Он стоит, наверное, гораздо больше. Тут какая-то темная история, Алек.— Я сложил деньги в сейф, снова запер тяжелую дверцу, а акт положил в карман.

Хозяин поднял было толстый палец, чтобы что-то сказать, но раздумал. Вместо этого он энергично потер толстый подбородок, гаркнул: «Кайса!» — и вышел. Я остался сидеть за конторкой. Я принялся вспоминать. Я тщательно перебирал в памяти самые мелкие подробности, самые незначительные происшествия, свидетелем которых я был в этом отеле. Выяснилось, что запомнил я довольно много.

Оказывается, я помнил, что при первой нашей встрече Симонэ был одет в серый костюм, а на вчерашней вечеринке он был в бордовом, и запонки у него были с желтыми камешками. Я помнил, что, когда Брюн кланчила у своего дяди сигареты, он всегда доставал их из-за правого уха. Я помнил, что у Кайсы есть маленькая черная родинка на правой ноздре; что дядю Барнстокр, орудия вилок, всегда отставляет мизинец; что ключ моего номера похож на ключ от номера Олафа; и еще много подобной же дребедени.

Во всей этой навозной куче я обнаружил только две жемчужины. Во-первых, я вспомнил, как позавчера вечером Олаф, весь в снегу, стоял посередине холла со своим черным чемоданом и оглядывался, словно ожидал, что его встретят, и как он посмотрел мимо меня на закрытый портьерой вход на половину Мозесов, и как мне показалось, что портьерой колыхнется, надо полагать, от сквозняка. Во-вторых, я вспомнил, что, когда я стоял в очереди у душа, сверху спустились рука об руку Олаф и Мозес...

Все это упорно наводило меня на мысль, что Олаф, Мозес, а теперь и Луарвик — все это одна компания, причем эта компания не стремилась афишировать, что она одна компания. И если вспомнить, что я обнаружил Мозеса в номере-музее рядом со своим номером за пять минут до того, как нашел у себя на загаженном столе записку насчет гангстера и маньяка; и если вспомнить, что золотые часы Мозеса были подброшены — явно подброшены, а потом снова изъяты — в баул Хинкуса... и если вспомнить, что госпожа Мозес была единственным человеком, не считая, может быть, Кайсы, который отсутствовал в зале именно тогда, когда Хинкуса скрутили в бараний рог и засунули под стол... если вспомнить все это, то картина получается прелюбопытная.

В эту картину неплохо укладывается и заявление Хинкуса о том, что один из его баулов ловко превратили в фальшь-багаж, и то обстоятельство, что госпожа Мозес была единственным человеком, который видел двойника Хинкуса в лицо.

Конечно, в картине оставалось еще много белых и совершенно непонятных пятен. Но по крайней мере теперь была ясна расстановка сил: Хинкус, с одной стороны, а Мозесы, Олаф и Луарвик — с другой. И тут мне пришло в голову, что я, пожалуй, напрасно держу Хинкуса взаперти. Мозес, небось, думает, что Хинкус до сих пор валяется под столом. Посмотрим, как он себя поведет, когда Хинкус вдруг объявится в столовой за завтраком... О том, кто и как скрутил Хинкуса, о том, кто и как убил Олафа, я решил пока не думать. Я смял свои заметки, положил в пепельницу и поджег.

— Кушать, пожалуйста... — пропищала где-то наверху Кайса.— Кушать, пожалуйста...

Глава 14

Хинкус уже поднялся. Он стоял посередине комнаты со спущенными подтяжками и вытирал лицо большим полотенцем.

— Доброе утро,—сказал я.— Как вы себя чувствуете?

Он настороженно глядел на меня исподлобья, лицо его несколько опухло, но в общем он выглядел вполне прилично. Ничего в нем не осталось от того сумасшедшего, затравленного хорька, каким я видел его несколько часов назад.

— Более или менее,—буркнул он.— Чего это меня здесь заперли?

— У вас был нервный припадок,—объяснил я. Лицо у него немного перекосилось.— Ничего страшного. Хозяин сделал вам укол и запер, чтобы вас никто не беспокоил. Завтракать пойдете?

— Пойду,—сказал он.— Позавтракаю и смотаюсь отсюда к чертовой матери. И задаток отберу. Также мне — отдых в горах... — Он скомкал и отшвырнул полотенце.— Еще один такой отдых, и свихнешься к чертовой матери. Без всякого туберкулеза...

— Да,— сказал я.— Не повезло вам. Можно только посочувствовать... Ну, мы еще поговорим об этом. Я повернулся и пошел к двери.

— Нечего мне об этом разговаривать! — со злостью крикнул он мне вслед.

В столовой еще никого не было. Кайса расставляла тарелки с сэндвичами. Я поздоровался с нею, наблюдал серию ужимок, выслушал серию хихиканий и выбрал себе новое место — спиной к буфету и лицом к двери, рядом со стулом дю Барнстокра. Едва я уселся, как вошел Симонэ — в толстом пестром свитере, свежевыбритый, с красными припухшими глазами.

— Ну и ночка, инспектор,— сказал он.— Я и пяти часов не спал. Нервы разгулялись. Все время кажется, будто тянет мертвечинкой. Аптечный такой запах, знаете ли, вроде формалина...— Он сел, выбрал сэндвич, потом посмотрел на меня.— Нашли? — спросил он.

— Смотря что,— ответил я.

— Ага,— сказал он и неуверенно хохотнул.— Вид у вас неважный.

— У каждого тот вид, которого он достоин,— отозвался я, и в ту же секунду вошли Барнстокры. Эти были как огурчики. Дядюшка щеголял астрой в петлице, благородные седые кудри пушисто серебрились вокруг лысой маковки, а Брюн была по-прежнему в очках, и нос у нее был по-прежнему нахально задран. Дядюшка, потирая руки, двинулся к своему месту, искательно поглядывая на меня.

— Доброе утро, инспектор,— нежно пропел он.— Какая ужасная ночь! Доброе утро, господин Симонэ. Не правда ли?

— Привет,— буркнуло чадо.

— Коньяку бы выпить,— сказал Симонэ с какой-то тоской.— Но ведь неприлично, а? Или ничего?..

— А как наши дела, дорогой инспектор? — искательно спросил дю Барнстокр.

— Следствие napало на след,— сообщил я.— В руках у полиции ключ. Много ключей. Целая связка.

Симонэ снова загоготал было и сразу сделал серьезное лицо.

— Вероятно, нам придется провести весь день в доме,— сказал дю Барнстокр.— Выходить, вероятно, не разрешается...

— Почему же? — возразил я.— Сколько угодно. И чем больше, тем лучше.

— Удрать все равно не удастся,— добавил Симонэ.— Обвал. Я бы, конечно, мог удрать через скалы...

— Но? — спросил я.

— Во-первых, из-за этого снега мне не добраться до скал. А во-вторых, что я там буду делать?.. Послушайте, господа,— сказал он.— Давайте прогуляемся по дороге, посмотрим, как там в Бутылочном Горлышке...

— Вы не возражаете, инспектор? — осведомился дю Барнстокр.

— Нет,— сказал я, и тут вошли Мозесы. Они тоже были как огурчики. То есть мадам была как огурчик... как персик... как ясное солнышко. Что касается Мозеса, то эта старая брюква так и осталась старой брюквой. Прихлебывая на ходу из кружки и не здороваясь, он добрался до своего стула, плюхнулся на сиденье и строго посмотрел на сэндвичи перед собой.

— Доброе утро, господа! — хрустальным голоском произнесла госпожа Мозес.

Я покосился на Симонэ. Симонэ косился на госпожу Мозес. В глазах его было какое-то недоверие. Потом он судорожно передернул плечами и схватился за кофе.

— Прелестное утро,— продолжала госпожа Мо-

зес.— Так тепло, солнечно! Бедный Олаф, он не дожид до этого утра!

— Все там будем,— провозгласил вдруг Мозес хрипло.

— Аминь,— вежливо закончил дю Барнстокр.

Я покосился на Брюн. Девочка сидела, нахохлившись, уткнувшись носом в чашку. Дверь снова отворилась, и появился Луарвик Л. Луарвик в сопровождении хозяина. На лице хозяина имела место скорбная улыбка.

— Доброе утро, господа,— произнес он.— Позвольте представить вам господина Луарвика Луарвика, прибывшего к нам сегодня ночью. По дороге его постигла катастрофа, и мы, конечно, не откажем ему в гостеприимстве.

Судя по виду господина Луарвика Л. Луарвика, катастрофа была чудовищной, и он очень нуждался в гостеприимстве. Хозяин был вынужден взять его за локоть и буквально впихнуть на мое старое место рядом с Симонэ.

— Очень приятно, Луарвик! — прохрипел господин Мозес.— Здесь все свои, Луарвик, будьте как дома.

— Да,— сказал Луарвик, глядя одним глазом на меня, а другим — на Симонэ.— Прекрасная погода. Совсем зима...

— Это все чепуха, Луарвик,— сказал Мозес.— Поменьше разговаривайте, побольше ешьте. У вас истощенный вид... Симонэ, напомните-ка, что там было с этим метрдотелем? Кажется, он съел что-то филе...

И тут наконец появился Хинкус. Он вошел и сразу остановился. Симонэ пустился вновь рассказывать про метрдотеля, и, пока он объяснял, что названный метрдотель не ел никакого филе, а все было наоборот, Хинкус стоял на пороге, а я смотрел на него, стараясь при этом не упускать из виду и Мозесов. Я смотрел и ничего не понимал. Госпожа Мозес кушала сливки с сухариками и восхищенно слушала унылого шалуна. Господин Мозес, правда, покосился на Хинкуса, но с полнейшим равнодушием и сразу же снова обратился к своей кружке. А вот Хинкус с лицом своим совладать не сумел.

Сначала вид у него сделался совершенно обалделый, как будто его ударили бревном по голове. Затем на лице явственно проступила радость, иступленная какая-то, он даже заулыбался вдруг совершенно по-детски. А потом злобно оскалился и шагнул вперед, сжимая кулаки. Но смотрел он, к моему величайшему удивлению, не на Мозесов. Он смотрел на Барнстокров: сначала в полнейшем обалдении, потом с облегчением и радостью, а потом со злобой и с каким-то злорадством. Тут он перехватил мой взгляд, расслабился и, потупившись, направился к своему месту.

— Как вы себя чувствуете, господин Хинкус? — участливо наклоняясь вперед, осведомился дю Барнстокр.— Здешний воздух...

Хинкус вскинул на него бешеные желтые глазки.

— Я-то себя ничего чувствую,— ответил он, усаживаясь.— А вот каково вы себя чувствуете?

Дю Барнстокр в изумлении откинулся на спинку стула.

— Я? Благодарю вас...— Он посмотрел сначала на меня, потом на Брюн.— Может быть, я как-то задел, затронул...

— Не выгорело дельце! — продолжал Хинкус, с остервенением запихивая себе за воротник салфетку.— Сорвалось, а, старина?

Дю Барнстокр был в совершенном смущении. Разговоры за столом прекратились, все смотрели на него и на Хинкуса.

— Право же, я боюсь...— Старый фокусник явно не знал, как себя вести.— Я имел в виду исключительно...

— Ладно, ладно, замнем для ясности, — ответил Хинкус. Он обеими руками взял большой сандвич, краем заправил его в рот, откусил и, ни на кого не глядя, принялся вовсю работать челюстями.

— А хамить-то не надо бы! — сказала вдруг Брюн. Хинкус коротко глянул на нее и сейчас же отвел взгляд.

— Брюн, дитя мое... — сказал дю Барнстокр. — Р-распетушился! — сказала Брюн, постукивая ножом о тарелку. — Пьянствовать меньше надо...

— Господа, господа! — сказал хозяин. — Все это пустяки!

— Не беспокойтесь, Сневар, — поспешно сказал дю Барнстокр. — Это — какое-то маленькое недоразумение... Нервы напряжены...

— Понятно, что я говорю? — грозно спросила Брюн, наставив на Хинкуса черные окуляры.

— Господа! — решительно вмешался хозяин. — Господа, я прошу внимания! Я не буду говорить о трагических событиях этой ночи. Я понимаю, да, нервы напряжены. Но, с одной стороны, расследование судьбы несчастного Олафа Андварфорса находится сейчас в надежных руках инспектора Глебски. С другой стороны, нас вовсе не должно излишне нервировать то обстоятельство, что мы оказались временно отрезаны от внешнего мира...

Хинкус перестал жевать и поднял голову. — Наши погреба полны, господа! — торжественно продолжал хозяин. — И я убежден, что когда через несколько дней спасательная партия прорвется к нам через обвал...

— Какой такой обвал? — громко спросил Хинкус, обводя всех круглыми глазами. — Что за чертовщина?

— Да, простите, — сказал хозяин, поднеся ладонь ко лбу. — Я совсем забыл, что некоторые гости... Дело в том, что вчера в десять часов вечера снежная лавина завалила Бутылочное Горлышко и разрушила телефонную связь...

За столом воцарилось молчание. Все жевали, глядя в тарелки. Хинкус сидел, отвесив нижнюю губу, — вид у него опять был ошарашенный. Луарвик Л. Луарвик меланхолично жевал лимон, откусывая от него куски вместе с кожурой. По узкому подбородку его стекала на пиджак желтоватый сок. У меня свело скулы, я отхлебнул кофе и объявил:

— Имею добавить следующее. Две небольшие банды каких-то мерзавцев избрали этот отель местом сведения своих личных счетов. Я предлагаю этим лицам прекратить всякую деятельность, дабы не ухудшать и без того безнадежное свое положение. Я напоминаю, что наша отрезанность от внешнего мира является лишь относительной. Кое-кто из присутствующих уже знает, что два часа назад я воспользовался любезностью господина Сневара и отправил с почтовым голубем донесение в Мюр. Теперь я с часу на час ожидаю полицейский вертолет, а потому напоминаю лицам, замешанным в преступлении, что своевременное признание и раскаяние могут значительно улучшить их участь. Благодарю за внимание, господа.

— Как интересно! — восхищенно воскликнула госпожа Мозес. — Значит, среди нас есть бандиты! Ах, инспектор, ну хотя бы намекните! Мы поймем!

Я покосился на хозяина. Алек Сневар, повернувшись к гостям обширной спиной, старательно перетирал рюмки, стоящие на буфете.

Разговор не возобновился. Тихонько звякали ложечки в стаканах да шумно сопел над своей кружкой господин Мозес, сверля глазами каждого по очереди. Никто не выдал себя, но всем, кому пора было подумать о своей судьбе, думали. Я запустил в этот

куратник хорошего хорька, и теперь надо было ожидать событий.

Первым поднялся дю Барнстокр. — Дамы и господа! — сказал он. — Я призываю всех добрых граждан встать на лыжи и отправиться в небольшую прогулку. Солнце, свежий воздух, снег и чистая совесть да будут нам опорой и успокоением. Брюн, дитя мое, пойдемте.

Задвигались стулья, гости один за другим вставали из-за стола и покидали зал. Симонэ предложил руку госпоже Мозес — очевидно, все его ночные впечатления в значительной степени развеялись под действием солнечного утра и жажды чувственных удовольствий. Господин Мозес извлек из-за стола Луарвика Л. Луарвика, поставил его на ноги, и тот, меланхолично дожевывая лимон, потащился за ним, заплетаясь башмаками.

За столом остался только Хинкус. Он сосредоточенно ел, словно намеревался заправиться надолго, впрок. Кайса собирала посуду, хозяин помогал ей.

— Ну что, Хинкус? — сказал я. — Поговорим? — Это насчет чего? — угрюмо проворчал он, поедая яйцо с перцем.

— Да насчет всего, — сказал я. — Не о чем нам говорить, — сказал Хинкус мрачно. — Ничего я по этому делу не знаю.

— По какому делу? — спросил я. — Про убийство! По какому еще? — Есть еще дело Хинкуса, — сказал я.

Он ничего не ответил. Дожевал яйцо, проглотил, утерся салфеткой и поднялся.

— Алек, — сказал я хозяину. — Будьте добры, спуститесь вниз и посидите в холле, где вы вчера сидели, понимаете?

— Понимаю, — сказал хозяин. — Будет сделано. Он торопливо вытер руки полотенцем и вышел. Я распахнул дверь в бильярдную и пропустил Хинкуса вперед. Он вошел и остановился на ярких солнечных квадратах, засунув руки в карманы и жуя спичку. Я взял у стены один из стульев, поставил на самое солнце и сказал: «Сядьте». Помедлив секунду, Хинкус сел и сразу сощурился; солнце било ему в лицо.

— Полицейские штучки... — проворчал он с горечью.

— Служба такая, — сказал я и присел перед ним на край бильярда в тени. — Ну, Хинкус, что там у вас произошло с Барнстокром?

— С каким еще Барнстокром? Что у нас может произойти? Ничего у нас не произошло.

— Записку угрожающую вы ему писали?

— Никаких записок я не писал. А вот жалобу я напишу. За истязание больного человека...

— Слушайте, Хинкус. Через час-другой прилетит полиция. Прилетят эксперты. Записка ваша у меня в кармане. Определить, что писали ее вы, ничего не стоит. Зачем же вы запираетесь?

Он быстрым движением перебросил изжеванную спичку из одного угла рта в другой. В зале гремела тарелками Кайса, напевая что-то тонким фальшивым голоском.

— Ничего не знаю про записку, — сказал наконец Хинкус.

— Хватит врать, Филин! — гаркнул я. — Мне все о тебе известно! Ты влип, Филин. И если ты хочешь отделаться семьдесят второй, тяни на пункт «ц»! Чистосердечное признание до начала официального следствия... Ну?

Он выплюнул изжеванную спичку, покопался в карманах и вытащил мятую пачку сигарет. Затем он поднес пачку ко рту, губами вытянул сигарету и задумался.

— Ну? — повторил я.

— Путаете вы что-то,— ответил Хинкус.— Филин какой-то... Я не Филин, я Хинкус.

Я соскочил с бильярда и сунул ему под нос пистолет.

— А это узнаешь? А? Твоя машинка? Говори!

— Ничего не знаю,— угрюмо сказал он.— Чего вы ко мне привязались?

Я вернулся на стол, положил пистолет рядом с собой на сукно и закурил.

— Думай, думай,— сказал я.— Быстрее думай, а то поздно будет. Ребята твои не успели, потому что случился обвал. А полиция здесь будет часа через два, самое большее. Понял, какая картина?

В дверь просунулась Кайса и пропищала:

— Подать чего-нибудь? Угодно?

— Идите, идите, Кайса,— сказал я.— Ступайте.

Хинкус молчал, сосредоточенно шаря в кармане, потом извлек коробок спичек и закурил. Солнце пекло его. На лице выступил пот.

— Маху ты дал, Филин,— сказал я.— Перепутал божий дар с яичницей. Чего ты привязался к Барнстокру? Разве его приказали тебе держать на мушке? Мозеса! Мозеса надо было держать! Олух ты царя небесного, я бы тебя в дворники не взял, не то что такое поручение давать... И твоя шпана тебе это еще припомнит. Так что теперь, Филин...

Он не дал мне закончить поучение. Я сидел на краю бильярда, свесив одну ногу, а другой упираясь в пол, покуривал себе и при этом, дурак этакий, самодовольно разглядывал струйки дыма в солнечном луче. А Хинкус сидел на стуле в двух шагах от меня, и он вдруг наклонился вперед, поймал меня за свисающую ногу, изо всех сил дернул на себя и круто повернул. Недооценил я Хинкуса, прямо скажем, недооценил. Меня снесло с бильярда, и я всеми своими девяноста килограммами, плашмя, мордой, животом, коленями грянулся об пол.

О том, что случилось дальше, я могу только догадываться. Коротко говоря, примерно через минуту я пришел в себя окончательно и обнаружил, что сижу на полу, прислонясь к бильярду, подбородок у меня разбит, два зуба шатаются, со лба на глаза течет кровь, а правое плечо ломит совершенно невыносимо. Хинкус валялся тут же неподалеку, скорчившись и обхватив руками голову, а над ним, как Георгий Победоносец над поверженным змеем, возвышался осклабившийся героический Симонэ, держа в руке обломок самого длинного и самого тяжелого кия. Я утер кровь со лба и поднялся. Меня пошатывало. Хотелось лечь в тень и забыться. Симонэ нагнулся, поднял с пола пистолет и подал его мне.

— Вам повезло, инспектор,— сказал он, сияя.— Еще секунда, и он проломил бы вам голову. Куда вам попало? По плечу?

Я кивнул. У меня перехватило дыхание, и говорить я не мог.

— Подождите-ка,— сказал Симонэ и выскочил в столовую, бросив на бильярд обломок кия.

Я обошел стол и присел в тени так, чтобы видеть Хинкуса. Хинкус все еще лежал неподвижно. Экий дьявол, а ведь посмотришь на него — соплей перешибить можно... Да, джентльмены, это настоящий гангстер, в лучших чикагских традициях. И откуда только они берутся в нашей добропорядочной стране? И подумать только — ведь у Згута такой же оклад, как у меня. Да его озолотить надо!.. Я достал из кармана платок и осторожно промокнул ссадину на лбу.

Хинкус застонал, заворочался и попытался сесть. Он все держался за голову. Симонэ вернулся с графином воды. Я взял у него графин, кое-как добрался до Хинкуса и полил ему на лицо. Хинкус зары-

чал и оторвал одну руку от макушки. Физиономия у него опять была зеленоватая, но теперь это объясняется естественными причинами. Симонэ присел на корточки рядом с ним.

— Надеюсь, я не перестарался? — озабоченно сказал он.

— Ничего, старина, все будет в порядке...—Я поднял руку, чтобы похлопать его по плечу, и застонал от боли.— Сейчас я его возьму в оборот.

— Мне уйти? — спросил Симонэ.

— Нет уж, вы лучше оставайтесь. А то как бы он не взял в оборот меня. Принесите еще воды... на случай обмороков...

— И бренди! — с энтузиазмом сказал Симонэ.

— Правильно,— сказал я.— Мы его живо приведем в порядок.

Симонэ принес еще воды и бутылку коньяка. Я разжал Хинкусу рот и влил в него полстакана чистого. Еще полстакана чистого выпил я сам. Симонэ, запасшийся третьим стаканом, выпил с нами за компанию. Потом мы оттащили Хинкуса к стене, прислонили его спиной, я снова облил его из графина и два раза ударил по щекам. Он открыл глаза и громко задышал.

— Еще коньяку? — спросил я.

— Да...— сипло выдохнул он.

Я дал ему еще коньяку. Он облизнулся и решительно произнес:

— Что вы там говорили насчет семьдесят второй «ц»?

— Там видно будет,— сказал я.

Он помотал головой и сморщился.

— Нет, так не пойдет. Мне бессрочная и так обеспечена.

— Под розыск? — сказал я.

— В точности так. У меня теперь только один интерес: уклониться от галстука. И, между прочим, все шансы у меня есть — к Олафу я отношения не имею, сами знаете, а тогда что остается? Незаконное ношение оружия? Ерунда, это еще доказать надо, что я его носил...

— А нападение на инспектора полиции?

— Так об этом и речь!—сказал Хинкус, осторожно ощупывая макушку.— По-моему, так никакого нападения и не было, а было одно только сплошное чистосердечное признание до начала официального следствия. Как ваше мнение, шеф?

— Признания пока еще не было,— напомнил я.

— Сейчас будет,— сказал Хинкус.— Но вот в присутствии этого физика-химика обещаете, шеф? Семьдесят вторую «ц» — обещаете?

— Ладно,— сказал я.— Для начала будем считать, что имела место драка на личной почве в состоянии опьянения. То есть это ты был в состоянии опьянения, а я тебя урезонивал.

Симонэ заржал.

— А я что? — спросил он.

— А вы помогли мне справиться... Ладно, хватит болтать. Рассказывай, Филин. И смотри, если ты хоть слово соврешь. Ты мне два зуба расшатал, сволочь!

— Значит, так,— начал Хинкус.— Меня намылил сюда Чемпион. Слыхали про Чемпиона? Еще бы не слышать...

Вот оно как. Чемпион. Я даже глаза зажмурил — так мне вдруг захотелось оказаться где-нибудь за сотню миль отсюда, например, у себя в кабинете, пропахшем сургучом, или у себя в столовой с выцветшими голубыми обоями. И что мне дома не сиделось? Раззавидовался на рассказни старого осла Згута — природа, мол, покой, эдельвейсовая настойка... Наслаждался покоем. Чемпион — ведь это наверняка «Голубая свастика», а «Голубая свастика» — это



почти наверняка белоглазый сенатор. Смутное время, странное время. Нипочем нынче не разберешь, где политика, где уголовщина, где правительствo. Ну что тут делать честному полицейскому? Ладно, пусть честный полицейский делает дело.

— Так вот,— продолжал Хинкус.— Год назад пригребся к нам в компанию один тип. Как он к нам заехал, я не знаю, и настоящего имени я тоже не знаю. Звали его у нас Вельзевулом. Работал он самые трудные и неподъемные дела. Например, он работал Второй Национальный банк, помните это дельце? Или, скажем, задрал он броневик с золотыми слитками — это вы опять же должны помнить, шеф... В общем, работал Вельзевул красиво, чисто, но вдруг решил он завязать. Почему — не знаю, но Вельзевул наш рванул когти. И нас намылили, кого куда, ему наперехват. Засечь его, взять на мушку и свистнуть Чемпиону... Вот я его и засек, и тут все мое чистосердечное признание.

— Так,— сказал я.— Ну, и кто у нас здесь Вельзевул?

— Тут я, точно, дал маху, шеф. Это вы мне глаза открыли, а я-то грешил на этого фокусника, на Барнстокра. Во-первых, вижу — магические штучки, разные фокусы. А во-вторых, подумал: если Вельзевул захочет под кого-нибудь замаскироваться, то под кого? Чтобы без лишнего шума... Ясно — под фокусника!

— Что-то ты тут путаешь,— сказал я.— Фокусы ладно. Но ведь Барнстокр и Мозес — это небо и земля. Один — тощий, длинный, другой — толстый, приземистый...

Хинкус махнул рукой.

— Я его в разных видах видел — и толстым и тонким. Никто не знает, какой вид у него натуральный... Это бы вам надо понять, шеф. Вельзевул — он ведь не простой человек. У него власть над нечистой силой...

— Понес, понес,— сказал я предостерегающе.

— Правильно,— согласился Хинкус.— Конечно, никто не поверит, кто сам не видел... А вот, например, баба его, с которой он разъезжает — кто это, по-вашему, шеф? Я ведь своими глазами видел, как она сейф выворотила и несла по карнизу. Под мышкой несла. Была она тогда маленькая, щупленькая, ни дать ни взять, ребенок, подросточек, вроде Барнстокровой этой девчонки... а ручищи...

— Филин,— сказал я строго.— Хватит врать.

Хинкус снова махнул рукой и приуныл было, но, впрочем, тут же оживился.

— Ну, хорошо,— сказал он.— Пускай я вру. Но вот я сейчас, извиняюсь, вас голыми руками положил, шеф, а ведь вы мужчина рослый, умелый... Так сами подумайте, кто мог меня таким манером скрутить, как младенца, и засунуть под стол?

— Кто? — спросил я.

— Она! Теперь-то я усек, как все это случилось. Он меня узнал, запомнил. И когда он увидел, что я сижу на крыше и живьем его из дома не выпущу, он и наслал на меня свою, эту... Под моим же видом наслал... — В глазах у Хинкуса всплеснулся пережитый ужас. — Матерь пресвятая, сижу я там, а оно стоит передо мной, то есть я сам и стою — голый, покойник, и глаза вытекли... Как я там со страха не подох, как с ума не сошел — не понимаю. Пью и ведь не пьянею, как на землю лью... Он, видно, решил: либо с ума меня свести, либо запугать до потери сознания, чтобы я смылся с глаз долой. А когда увидел, что не получается, ну, делать нечего, тут он силу и применил...

— А почему он тебя просто не прихлопнул? — спросил я.

Хинкус затряс головой.

— Нет. Этого он не может. У него тогда вся цародейская сила пропадет, если он человеческую жизнь погубит. Это мы все знаем, еще бы... Да разве кто-нибудь посмел бы его выслеживать, если бы не так?

— Ну, допустим,— проговорил я уже неуверенно.

Я опять ничего не понимал. Хинкус был, несомненно, психом. Но в его сумасшествии была своя логика. В рамках этого сумасшествия все концы сходились с концами, и даже серебряные пули находили свое место в общей картине. И все это как-то странно переплеталось с действительностью. Сейф из Второго Национального действительно исчез самым загадочным образом, «растворился в воздухе», как говорили, разводя руками, эксперты, и единственные следы, которые вели из помещения, вели на карниз. А свидетели ограбления броневика, словно сговорившись, упорно твердили под присягой, будто все началось с того, что какой-то человек ухватил броневик под днище и перевернул эту махину на бок... Черт его знает, как все это понимать.

— А почему же они остались в отеле? — спросил я.— Тебя связали, а сами остались...

— Этого я не знаю,— признался Хинкус.— Этого я сам не понимаю. Я как утром увидел Барнстокра, так прямо обалдел. Я ведь думал, их тут давным-давно и след простыл... Тьфу, не Барнстокра, конечно... Но я-то думал тогда, что Барнстокр... В общем, Вельзевул здесь, а почему он здесь остался, этого я не знаю. Может быть, через завал ему не перебраться... Он хоть и колдун, но не господь же бог. Летать, например, он не умеет, это уж точно известно. Через стены проходить — тоже... Правда, ежели подумать, баба эта его — или кто она там есть — любой завал могла бы расковырять в два счета...

Я повернулся к Симонэ.

— Ну,— сказал я,— а что скажет по этому поводу наука?

Лицо Симонэ меня удивило. Физик был очень серьезен.

— В рассуждениях господина Хинкуса,— произнес он,— есть по крайней мере одна очень интересная деталь. Вельзевул у него не всемогущ. Чувствуете, инспектор? Это очень важно. И очень странно. Казалось бы, в фантазиях этих темных, невежественных людей никаких законов и ограничений быть не может.

— Но они есть!

— Ну, положим, Чемпиона темным и невежественным не назовешь,— сказал я.— Матерая сволочь, фашист. Гитлеровец. Фюрер тоже не дурак был. Ну, и этот...

— Точно! — подхватил Хинкус.— Чемпион — парень ушлый, обращение понимает. Он до майской заварушки с сенаторами за ручку здоровался, на приеме разные ходил, чуть ли не к самому президенту... Да и сейчас... Денежки. Он их не жалеет.

Он вдруг запнулся, отвел глаза и сунул в рот большой палец. Мы подождали немного, затем Симонэ спросил:

— А как, собственно, был убит Олаф?

Хинкус вынул палец изо рта и сказал решительно:

— Этого я не знаю. Об Олафе ничегошеньки не знаю, шеф. Как на духу говорю.— Он прижал руку к сердцу.— Могу только сказать, что Олаф не наш, и ежели его действительно прикончил Вельзевул, то не понимаю... Нельзя Вельзевулу людей убивать. Что он — враг себе, что ли?

— Так-так-так,— сказал Симонэ.— А как же все-таки был убит Олаф, инспектор?

Я коротко изложил ему факты: про запертую изнутри дверь, про свернутую шею, про пятна на лице, про аптечный запах. Рассказывая, я не спускал глаз с Хинкуса. Хинкус, слушая, ежился, глаза у него бе-

гали, и, наконец, он умоляюще попросил еще глоточек. Мне ясно было, что все это ему вновь и пугает это его до содрогания. А Симонэ совсем нахмурился. Глаза у него стали отсутствующими, обнажились желтоватые зубы-лопаты. Дослушав, он тихонько выругался. Больше он ничего не сказал. Думал.

Я оставил его размышлять и снова взялся за Хинкуса.

— А как же ты его, Филин, выследил? Ты же не знал заранее, в каком он обличье...

Хинкус самодовольно усмехнулся.

— Это мы тоже умеем, — сказал он. — Не хуже вас, шеф. Во-первых, Вельзевул всюду за собой таскает свой кованный сундук. Мне одно и оставалось — расспрашивать, куда этот сундук поехал. Второе — деньгам счету не знает. Сколько из кармана достанет, столько и платит. Где он проехал, там одни только о нем и разговоры... В общем, выследил я его, я свое дело знаю...

— И к тому же он все время с этой женщиной, — сказал я задумчиво.

— Нет, — сказал Хинкус. — Женщина — это, шеф, не обязательно. Это когда на дело надо идти, он ее откуда-то раздобывает... Да и не женщина она вовсе, тоже вроде оборотня. Куда она девается, когда ее нет, — этого никто не знает.

Тут я поймал себя на том, что я, солидный, опытный полицейский, сижу здесь и с полной серьезностью обсуждаю с помешанным бандитом всякие сказки насчет оборотней, чародеев и колдунов. Я виновато оглянулся на Симонэ и обнаружил, что физик исчез, а вместо него в дверях, прислонившись к косяку, стоит хозяин с винчестером под мышкой, и я вспомнил все его намеки, все эти его разговорчики насчет зомби, вспомнил его толстый указательный палец, совершающий многозначительные движения. Еще более устыдившись, я раскурил сигарету и с нарочитой строгостью сказал:

— Так. Хватит об этом. Ты видел когда-нибудь раньше этого однорукого?

— Кого? А, это который лимоны жрал... Нет, в первый раз. А что?

— Ничего, — сказал я. — Когда должен был прибыть Чемпион?

— Вечером я его ждал... Теперь-то я понимаю — лавина...

— На что же ты, дурак, рассчитывал, когда напал на меня?

— А куда мне было деваться? — сказал Хинкус с тоской. — Я — человек известный, пожизненная мне обеспечена. Вот я и решил: отберу пистолет, шлепну, кого надо, а сам подамся к завалу... Чемпион ведь сейчас тоже не спит, шеф. Вертолеты не только у полицейских есть...

— Сколько человек должно было прибыть с Чемпионом?

— Не знаю. Не меньше трех. Ну, конечно, самые отборные...

— Так, — сказал я. Очень мне все это не нравилось, но предстояло еще допросить Мозеса, и я сказал: — Ну-ка, быстренько, перечисли все дела, в которых участвовал Вельзевул.

Хинкус с готовностью принялся загибать пальцы: — Краймонская пересылка — раз, Второй Национальный — два, золотой, броневик — три... Теперь дальше... Архивы Грэнгейма, Вальская выставка...

— Архивы Грэнгейма?

— Да. А что?

Об этом деле я знал мало и уж никак не ожидал, что здесь замешан Чемпион. Грэнгейм собрал богатейшую картотеку нацистских преступников, ук-

рившихся после 1945 года в нашей стране, это дело было полностью политическое, и в Управлении были убеждены, что организовал ограбление сенатор Гольденвассер, хотя никаких улик против него, конечно, как всегда, не было. Но Чемпион... Впрочем, если учесть, что Чемпион — на самом деле не Чемпион, а бывший гауптштурмфюрер СС Курт Швабах, скрывающийся у нас... И все равно...

— На кой черт Чемпиону эти архивы?

— Этого я не знаю, — сказал Хинкус уже несомненно искренне. — Я человек маленький. — Он помолчал. — Надо понимать, политика. У нас многим не нравится эта политика, да только с Чемпионом не поспоришь.

— А где ты был в мае прошлого года? — спросил я.

Хинкус задумался, вспоминал, затем хитро осклабился и помахал пальцем.

— Нет, шеф. Не выйдет, шеф. В этой заварушке я не участвовал. Тут мне просто повезло — на операции лежал, ничего не знаю. Могу доказать...

С минуту мы молча смотрели друг на друга.

— Ты в «Голубой свастике» состоишь?

— Нет, — отозвался он. — Чего я там не видел, в «свастике» этой? Политикой мы сроду не занимались...

— А Вельзевул состоял?

— Откуда мне знать? Я же говорю, политикой мы...

— Кто Кёнига убил? Вельзевул?

— Какого еще Кёнига? А, профсоюзника этого... Нет, Вельзевул его не убивал. Здесь все наоборот. Из-за этого Кёнига, говорят, Вельзевул с Чемпионом и поцарапались. Сам я не видал и не слышал, а ребята рассказывали, будто Чемпион хотел Вельзевула на это дело пустить. Ну, Вельзевул на дыбы. Ему же убивать — себе дороже... Слово за слово, говорят, так и пошла между ними трещина.

— Гольденвассер знал о Вельзевуле?

Хинкус поджал губы, оглянулся на хозяина и проговорил, понизив голос:

— Знаете, шеф, зря вы об этом-то. Не наше с вами это дело. Я — честный вор, вы — легавый, между собой мы всегда договоримся, и сколько мне дадут, столько я и отсижу. А о таких делах нам с вами лучше знать поменьше. Ни к чему это нам, шеф. Опасно это. И мне и вам. Темно это.

Подонок был прав.

— Ладно, вставай, — сказал я и не без труда поднялся сам. — Пойдем, я тебя запру.

Хинкус, постанывая и кряхтя, тоже встал. Мы с хозяином повели его вниз по черной лестнице, чтобы ни с кем не встречаться. В кухне мы все-таки встретили Кайсу, и, увидев меня, она взвизгнула и спряталась за плитку.

— Не визжи, дура! — строго сказал ей хозяин. — Горячую воду приготовь, бинты, йод... Сюда, Петер, в чулан его.

— Ну да! — занял Хинкус. — Филина под замок, а этот ходит себе на свободе, с него все как с гуся вода... Нехорошо, шеф, несправедливо получается... И раненый я, и башка болит...

Я не стал с ним разговаривать, запер дверь и сунул ключ в карман. Огромное количество ключей скопилось у меня в кармане. Еще пара часов, подумал я, и все ключи, какие есть в отеле, мне придется таскать на себе.

Потом мы прошли в контору, Кайса принесла воду и бинты, и хозяин принялся меня обрабатывать.

— Какое оружие есть в отеле? — спросил я у него.

— Винчестер, два охотничьих дробовика, Пистолет...



— Н-да,— сказал я.— Маловато.

Дробовики против пулеметов. Дю Барнстокр против отборных головорезов. Да и не будут они перестрелками заниматься, знаю я Чемпиона — сбросит с вертолета какую-нибудь зажигательную пакость и перещелкает всех в чистом поле, как куропаток...

— Пока вы были наверху,— сообщил хозяин, ловко обматывая мне лоб вокруг ссадины,— сюда ко мне заявился Мозес. Положил на стол мешок с деньгами — именно мешок, я не преувеличиваю, Петер,— и потребовал, чтобы я все это тут же при нем положил в сейф. Он, видите ли, считает, что при таком положении дел его имущество находится в серьезной опасности.

— А вы? — спросил я.

— Тут я немного промахнулся,— признался хозяин.— Не сообразил и ляпнул ему, что ключи от сейфа у вас.

— Спасибо, Алек,— сказал я с горечью.— Вот теперь начнется охота на полицейского инспектора...

Мы помолчали. Хозяин обкручивал меня бинтами, мне было больно, прямо тошнило от боли. Должно быть, этот подонок все-таки сломал мне ключицу. Радиоприемник хрипел и потрескивал, передавали местные новости. О лавине в Бутылочном Горлышке

не было сказано ни слова. Потом хозяин отступил на шаг и критически оглядел дело рук своих.

— Ну, вот так будет достаточно прилично,— сказал он.

— Спасибо,— сказал я.

Он взял таз и деловито осведомился:

— Кого вам прислать?

— К чертям,— сказал я.— Спать хочу. Возьмите винчестер, сядьте в холле и стреляйте в каждого, кто приблизится к этой двери. Мне нужно хоть часок поспать, иначе я сейчас упаду. Проклятые вурдалаки. Вонючие оборотни.

— У меня нет серебряных пуль,— кратко напомнил хозяин.

— Стреляйте свинцовыми, черт бы вас подрал! И прекратите разводиться здесь ваши суеверия! Эта банда водит меня за нос, а вы им помогаете... Ставни у вас здесь есть на окне?

Хозяин поставил таз, молча подошел к окну и опустил железную штору.

— Так,— сказал я.— Хорошо... Нет, свет включать не надо... И вот еще что, Алек. Поставьте кого-нибудь... Симонэ или эту девчонку... Брюн... пусть следят за небом. Объясните им, что дело идет о жизни и смерти. Как только появится какой-нибудь вертолет, пусть поднимают тревогу...

Хозяин кивнул, взял таз и пошел к двери. На пороге он остановился.

— Хотите мой совет, Петер? — сказал он.— Последний.

— Ну?

— Отдайте вы им этот чемодан, и пусть они убираются с ним прямо в свой ад, откуда они вышли. Неужели вы не понимаете: единственное, что их здесь держит,— это чемодан...

— Понимаю,— сказал я.— Уж это-то я понимаю. И именно поэтому я расстреляю серебряными пулями любую сволочь, которая попытается отобрать у меня чемодан. Если увидите Мозеса, передайте это ему. Выражений можете не смягчать. Все. Идите и оставьте меня в покое.

Глава 15

Наверное, это был служебный проступок. Помощи мне было ждать не от кого, а гангстеры могли налететь с минуты на минуту. Я мог рассчитывать только на то, что Чемпиону сейчас уже не до Вельзевула. Наткнувшись вчера вечером на завал, он мог растеряться и впопыхах надеть глупостей — вроде попытки захватить вертолет на Мюрском аэродроме. Я знал, что полиция давно следит за этим бандитом, особенно после прошлогоднего майского путча, и надежда моя имела некоторые основания. А кроме того, я больше просто не держался на ногах. Проклятый Филлин меня доконал. Я расстелил газеты и какую-то отчетность перед сейфом,

придвинул конторку к двери, а сам улегся, положив пистолет рядом с собою. Заснул я мгновенно, а когда проснулся, было уже начало первого.

В дверь негромко, но настойчиво стучали.

— Кто там? — гаркнул я, торопливо нащупывая рукоять пистолета.

— Это я, — отозвался голос Симонэ. — Откройте.

— Что, вертолет?

— Нет. Но надо поговорить. Открывайте.

Скрипя зубами от боли, я поднялся — сначала на четвереньки, а потом, упираясь в сейф, на ноги. Плечо болело ужасно. Бинт сполз на глаза, подбородок распух. Я включил свет, оттащил конторку от двери и повернул ключ. Затем я отступил, держа пистолет наготове.

Вид у Симонэ был торжественный и деловой, хотя чувствовалось в нем и какое-то возбуждение.

— Ого! — сказал он. — Вы тут как в крепости. И напрасно: никто на вас не собирается нападать.

— Этого я не знаю, — сказал я угрюмо.

— Да, вы здесь ничего не знаете, — сказал Симонэ. — Пока вы дрыхли, инспектор, я выполнил за вас всю вашу работу.

— Да что вы говорите? — произнес я язвительно. — Неужели Мозес уже в наручниках, а его сообщница арестована?

Симонэ нахмурился.

— В этом нет никакой необходимости, — сказал он. — Здесь все гораздо сложнее, чем вы думаете, инспектор.

— Только не рассказывайте мне о вурдалаках, — попросил я, усаживаясь верхом на стул рядом с сейфом.

Симонэ усмехнулся.

— Никаких вурдалаков. Никакой мистики. Сплошная научная фантастика. Мозес не человек, инспектор. Тут наш хозяин оказался прав. Мозес и Луарвик — это не земляне, не люди.

— Они прибыли к нам с Венеры, — сказал я понимающе.

— Этого я не знаю. Может быть, с Венеры, может быть, из другой планетной системы, может быть, из соседствующего пространства... Этого они не говорят. Важно то, что они не люди. Мозес находится на Земле уже около года. В земных делах он, естественно, разобратся не сумел. Первыми, кого он встретил, были гангстеры. И они использовали его в своих целях.. В конце концов Мозес во всем разобрался. А разобравшись, решил немедленно бежать и бежал. Луарвик — что-то вроде пилота, он всегда переброской отсюда туда. Они должны были отбыть вчера в полночь. Но в десять часов вечера случилась какая-то авария, что-то у них взорвалось в аппаратуре. В результате — обвал, и Луарвику пришлось добираться сюда на своих двоих... Им надо помочь, инспектор. Это просто наша обязанность.

Я смотрел на него и уныло думал: слишком много сумасшедших в этом деле. Вот вам еще один псих.

— Короче говоря, что вам от меня надо?

— Отдайте им аккумулятор, Петер, — сказал Симонэ.

— Какой аккумулятор?

— В чемодане аккумулятор. Энергия для их роботов. Олаф не убит. Он вообще не живое существо. Он — робот. И госпожа Мозес тоже. Это роботы, им нужна энергия для того, чтобы они могли функционировать. В момент взрыва погибла их энергетическая станция, прекратилась подача энергии, и все их роботы в радиусе ста километров оказались под угрозой. Некоторые, вероятно, успели подключиться к своим портативным аккумуляторам. Госпожу Мозес подключил к аккумулятору сам Мозес... а я, если вы

помните, принял ее за мертвую. А вот Олаф почему-то подключиться не успел...

— Ага, — сказал я. — Не успел он подключиться, упал, да так ловко, что свернул себе шею. Вывернул ее, понимаете ли, на сто восемьдесят градусов...

— Вы совершенно напрасно язвите, — сказал Симонэ. — Это у них квазиагонические явления. Выворачиваются суставы, несимметрично напрягаются псевдомышцы... Я ведь так и не успел вам сказать: у госпожи Мозес тоже была свернута шея.

— Ну, ладно, — сказал я. — Квазимышцы, псевдосвязки... Вы же не мальчик, Симонэ, если пользоваться арсеналом мистики и фантастики, можно объяснить любое преступление, и всегда это будет логично.

— Я ожидал этого возражения, Петер, — сказал Симонэ. — Все это очень легко проверить. Отдайте им аккумулятор, и они в вашем присутствии снова включат Олафа.

— Не пойдет, — сказал я сразу.

— Почему? Вы не верите — вам предлагают доказательства.

Я взялся за свою бедную забинтованную голову. Для чего я слушаю этого болтуна? Дать ему в руки винтовку и погнать на крышу, как доброго гражданина, обязанного содействовать закону. А Мозесов запереть в подвале. Подвал бетонированный, прямое попадание выдержит. И Барнстокров туда же и Кайсу. И будем держаться.

— Ну, что же вы молчите? — сказал Симонэ. — Сказать нечего?

Но мне было что сказать.

— Я не ученый, — медленно проговорил я. — Я полицейский чиновник. Слишком много вранья накручено возле этого чемодана... Погодите, не перебивайте. Я вас не перебивал. Я вас слушал даже с интересом. Я готов во все это поверить. Пожалуйста. Пусть Олаф и эта баба — роботы. Тем хуже. Такие страшные орудия в руках гангстеров — слуга покорный. Если бы я мог, я бы с удовольствием выключил и госпожу Мозес тоже. А вы предлагаете мне, полицейскому, вернуть гангстерам орудия преступления! Понимаете, что у вас получается?

Симонэ в затруднении похлопал себя по темени.

— Слушайте, — сказал он. — Если налетят гангстеры, нам всем конец. Ведь вы наврели насчет почтовых голубей? На полицию рассчитывать нельзя? А если мы поможем бежать Мозесу и Луарвику, у нас хоть совесть будет чиста.

— Это у вас она будет чиста, — сказал я. — А у меня она будет замарана по самые уши. Полицейский своими руками помогает бежать бандитам.

— Они не бандиты! — сказал Симонэ.

— Они хуже бандитов! — сказал я. — Вам известно, что они разграбили архив Грэнгейма? Вы что, за нацистов?

— Мне все известно, — сказал Симонэ. — Мозес мне все рассказал. Чемпион — правая рука сенатора Гольденвассера, начальник его штурмовиков. В мае прошлого года, когда эта сволочь затеяла путч, Чемпион был одним из главных организаторов, его чуть не цапали солдаты, но тут вмешался Мозес. Он же ни черта не понимал в наших делах... да и сейчас не понимает... Он решил, что это не путч, а народное восстание, вытаскил Чемпиона и еще двух мерзавцев и сам себя убедил, что имеет дело с солью земли, с цветом человечества... Вот тогда они к нему и присосались, как пиявки...

— В этом будет разбираться суд, — сказал я холодно.

Симонэ откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня прищурившись.

— А вы, однако, порядочная дубина, инспектор Глебски,— сказал он.— Не ожидал.

— Придержите язык,— сказал я.— Идите и займитесь своими делами. Что там у вас в программе? Чувственные удовольствия?

Симонэ покусал губу.

— Вот тебе и первый контакт,— пробормотал он.— Вот тебе и встреча двух миров. Это же надо — прилететь на Землю черт те откуда и встретить гангстеров, а в конце концов такого хранителя закона, как вы, Петер.

— Не капайте мне на мозги, Симонэ,— сказал я зло.— И уходите отсюда. Вы мне надоели.

Он поднялся и пошел к двери. Голова его была опущена, плечи сутулились. На пороге он остановился и сказал, полуобернувшись:

— А ведь вы пожалеете об этом, Глебски. Вам будет стыдно, очень стыдно.

— Возможно,— сказал я сухо.— Это — мое дело... Кстати, вы стрелять умеете?

— Да.

— Это хорошо. Возьмите у хозяина винтовку и идите на крышу. Возможно, нам всем скоро придется стрелять.

Он молча вышел. Я осторожно погладил вспухшее плечо. Ну и отпуск. И чем все это кончится — не ясно. Черт побери, неужели это действительно пришельцы? Уж больно здорово все совпадает... «Вам будет стыдно, Глебски»... Что ж, может быть, и будет. А что делать? Хотя, в общем-то, какая мне разница, пришельцы они или нет? Где это сказано, что пришельцам разрешается грабить банки и участвовать в антиправительственных заговорах? Землянам не разрешается, видите ли, а им — можно... Ладно. Что же мне все-таки делать?

На всякий случай я снял телефонную трубку. Ничего. Мертвая тишина. Все-таки скотина этот Алек. Не мог запасться аварийной сигнализацией. Торгаш, только бы ему деньги тянуть с клиентов...

В дверь снова постучали, и я снова поспешно схватился за парабеллум. На этот раз меня почтил вниманием сам господин Мозес собственной персоной — он же оборотень, он же венерианец, он же старая брюква с неизменной кружкой в руке.

— Сядьте у двери,— сказал я.— Вон стул.

— Я могу и постоять,— пророкотал он, глядя на меня исподлобья.

— Дело ваше,— сказал я.— Что вам нужно?

Все так же вытворяясь, он отхлебнул из кружки.

— Какие вам еще нужны доказательства? — спросил он.— Вы губите нас. Все это понимают. Все, кроме вас. Что вам от нас нужно?

— Кто бы вы ни были,— сказал я,— вы совершили ряд преступлений. И вы за них будете отвечать.

Он шумно потянул носом воздух и сел на стул.

— Я всего год на Земле,— сказал он.— И всего лишь два месяца назад я впервые понял, что помогаю отщепенцам и убийцам. Да, я им помогал. Я вскрывал сейфы, нападал на банки, захватывал золотые грузы. Я помог им ограбить архив. Я спасал преступников от возмездия. Верьте мне, я не ведал, что творю. Я считал, что эти гангстеры-политики и политики-гангстеры ведут борьбу за социальную справедливость. Я считал сенатора Гольденвассера вождем революционеров, а он оказался бешеным человеконенавистником и лакеем денежных тузов. Я считал Чемпиона героем, а он оказался организатором массовых избиений женщин и детей в десятке стран и инициатором политических убийств в этой стране. Я считал Филина и его приятелей... Ведь я считал их идейными борцами. Я понимаю, мои ошибки дорого обошлись вам, но едва я все понял... При первом удобном случае я бежал. Если бы не эта про-

клятая авария, меня бы здесь уже не было. Не было бы никакого убийства... Я клянусь, что все убытки, которые принесло вам мое пребывание здесь, будут возмещены. Частично я даже возмещаю их — я готов вручить вам ассигнации Государственного банка общей суммой на миллион крон. Это все, что мне удалось изъять у Чемпиона. Остальное ваше государство получит золотом, чистым золотом. Я уже отослал в ваше правительство подробную записку об омерзительной деятельности сенатора Гольденвассера, которая мне теперь ясна... Что вам еще нужно?

Я смотрел на него, и мне было нехорошо. Мне было нехорошо, потому что я ему сочувствовал. Я сидел лицом к лицу с явным преступником, слушал его и сочувствовал ему. Это было какое-то наваждение, и, чтобы избавиться от этого наваждения я сухо спросил:

— Это вы изгадили мне стол и наклеили записку?

— Да. Я боялся, что иначе записку сдует сквозняком.

— Золотые часы?..

— Тоже я. И браунинг. Мне нужно было, чтобы вы поверили, чтобы вы заинтересовались Хинкусом и арестовали его.

— Это было очень неуклюже сделано,— сказал я.— Все получилось наоборот.

— Да? — сказал Мозес.— Ну что ж, этого следовало ожидать. Не умею я такие вещи...

Я снова ощутил прилив сочувствия и снова попытался взвинтить себя.

— Все у вас как-то неуклюже получается, господин Вельзевул,— сказал я.— Роботы у вас не роботы, а какие-то, понимаете, половые неврастеники, а сами вы для пришельца из другого мира слишком уж похожи на негодяя, Мозес. На богатого, до предела обнаглевшего негодяя. И притом еще на пьяницу.

Мозес отхлебнул из кружки.

— То есть, вы хотите сказать, что наши роботы слишком похожи на людей? — спросил он.— Что ж, стереотип поведения этих роботов моделирует стереотип поведения среднего человека соответствующей социальной группы...— Он снова отхлебнул из кружки.— А что касается меня, инспектор, то я выбрал скверную маску и, к сожалению, не могу показаться вам в своем истинном обличье. К сожалению, потому что вряд ли я это переживу. Господин Мозес, которого вы видите, это скафандр. Господин Мозес, которого вы слышите,— это трансляционное устройство. Но, может быть, мне придется рискнуть — я оставляю это на самый крайний случай. Если окажется, что убедить вас совершенно невозможно, я рискну. Для меня это почти верная гибель, но тогда вы, может быть, отпустите хотя бы Луарвика. Он-то здесь совсем ни при чем...

И тут я наконец рассвирепел.

— Куда отпущу? — заорал я.— Если бы вам нужно было уйти, вы бы давно ушли! Перестаньте врать и говорите правду: что это за чемодан? Что в нем? Вы мне долбите, что вы — пришельцы. А я склонен полагать, что вы просто банда иностранных шпионов, укравших ценную аппаратуру...

— Нет! — сказал Мозес.— Нет! Все совсем не так. Наша станция разрушена, ее может починить только Олаф. Он — робот-смотритель этой станции, понимаете? Конечно, мы бы ушли давным-давно, но куда нам идти? Без Олафа мы совершенно беспомощны, а Олаф выключен, и вы не даете аккумулятор!

— И опять врете! — сказал я.— Госпожа Мозес — ведь тоже робот, как я понял! У нее, как я понял, тоже есть аккумулятор...

Он закрыл глаза и замотал головой так, что задрожали брови.

— Ольга — простое рабочее устройство. Носильщик, землекоп, телохранитель... Ну, неужели вы не понимаете, что нельзя одним и тем же горючим питать... ну, я не знаю... грубый трактор, например, и самолет... Это же разные системы...

— У вас на все готов ответ, — угрюмо сказал я. — Но я не эксперт. Я простой полицейский. Я не уполномочен вести переговоры с вурдалаками и пришельцами. Я обязан передать вас в руки закона, вот и все. Кто бы вы ни были на самом деле, вы находитесь на территории моей страны и подлежите ее юрисдикции. — Я встал. — С этой минуты считайте себя арестованным, Мозес. Я не намерен запираить вас, я догадываюсь, что это бессмысленно. Но если вы попытаетесь бежать, я буду стрелять. И я напоминаю вам: все, что вы с этой минуты скажете, может быть обращено против вас на суде.

— Так, — сказал он, помолчав. — Со мной вы решили. Пусть будет так. — Он отхлебнул из кружки. — Ну, а Луарвик-то в чем виноват? Против него-то вы ничего не можете иметь... Заприте меня и отдайте чемадан Луарвику. Пусть хоть он спасется...

Я снова сел.

— Спасется... При чем здесь спасется? Почему это вы так уверены, что Чемпион достигнет вас? Может быть, он давным-давно лежит под обвалом... Может быть, его уже сцапали... Если вы действительно невиновны, подождите сутки-другие. Прибудет полиция, я сдам вас на руки властям...

Он затряс брыльями.

— Плохо, не годится. Во-первых, мы не имеем права входить в организованный контакт. Я здесь всего-навсего наблюдатель. Я наделал ошибок, но все это — поправимые ошибки... Неподготовленный контакт может иметь и для вашего и для нашего мира самые ужасные последствия... Но даже не это сейчас самое главное, инспектор. Я боюсь за Луарвика. Он не кондиционирован для ваших условий, никогда не предполагалось, что ему потребуется провести на вашей планете больше суток. А у него вдобавок поврежден скафандр, вы же видите — нет руки... Он уже отравлен... он слабеет с каждым часом...

Я стиснул зубы. Да, у него на все был готов ответ. Мне не за что было зацепиться. Мне ни разу не удалось поймать его. Все было безукоризненно логично. Я был вынужден признать, что, если бы речь не шла обо всех этих скафандрах, контактах и псевдомышцах, такие показания удовлетворили бы меня полностью. Я испытывал жалость, я был склонен идти навстречу, я терял непредубежденность...

В самом-то деле. Юридические претензии у меня были только к Мозесу. Луарвик был формально чист, хотя он тоже мог быть сообщником, но на это я бы еще мог закрыть глаза... Ну, хорошо, запереть Мозеса и... Что «и»? Отдать Луарвику аппарат? Что я знаю про этот аппарат?

Если отбросить все слова, правдивы они или нет, — налицо два несомненных факта. Закон требует, чтобы я задержал этих людей до выяснения обстоятельств... Вот факт номер один. А вот факт номер два: эти люди хотят уйти. Неважно, от чего они в действительности хотят уйти — от закона, от гангстеров, от преждевременного контакта... Они хотят уйти. Вот два факта, и они абсолютно противостоят друг другу...

— Идите, — сказал я Мозесу. — И позовите сюда Луарвика.

Мозес грузно поднялся и вышел. Я оперся локтями на стол и положил голову на руки. Парабеллум приятно холодил правую щеку. Мельком я подумал, что теперь таскаюсь с этим пистолетом, как Мозес со своей кружкой. Я был смешон. Представить было страшно, что станут говорить в Управлении об этой

истории. Ловец Привидений, Охотник за Пришельцами... Ладно. Хинкуса я, во всяком случае, поймал. И Мозеса я не выпущу. Пусть смеются, сколько душе угодно, а тайна Второго Национального, и тайна захвата броневика, и многие другие тайны будут раскрыты... Вот так-то. Смейтесь, черт побери, смейтесь... а если здесь еще замешана политика, то я простой полицейский, а политикой пусть занимаются те, кому это положено...

Дверь скрипнула, и я встрепенулся. Но это был не Луарвик. Вошли Симонэ и хозяин. Хозяин поставил передо мной кружку кофе, а Симонэ взял у стены стул и уселся напротив меня. Мне показалось, что его как-то обтянуло и что он пожелтел.

— Ну, что вы надумали, инспектор? — спросил он.

— Где Луарвик? Я вызывал Луарвика.

— Луарвику совсем плохо, — сказал Симонэ. — Мозес делает ему какие-то процедуры. — Он неприятно оскалится. — Вы его загубите, Глебски, и это будет скотский поступок. Я знаю вас, правда, всего два дня, но никак не мог ожидать, что вы окажетесь всего-навсего чучелом с золотыми пуговицами.

Свободной рукой я взял кружку, поднес ее ко рту и поставил обратно. Не мог я больше пить кофе. Меня уже тошнило от кофе.

— Отстаньте. Вы все болтуны. Алек заботится о своем заведении, а вы, Симонэ, — просто интеллект-уал на отдыхе...

— А вы-то, — сказал Симонэ. — Вы-то о чем забываетесь? Бляху лишнюю вам захотелось на мундир? Вы мелкая полицейская пешка. В кои-то веки судьба вам бросила кусок. В первый и последний раз в жизни. В ваших руках оказалось действительно важное решение, а вы ведете себя, как распоследний тупоголовый...

— Заткнитесь, — сказал я устало. — Перестаньте болтать и хоть минуту просто подумайте. Вы, я вижу, ни черта не смыслите в законе. Вы воображаете, будто существует один закон для людей и другой закон для вурдалаков. Но оставим в стороне даже это. Пусть они пришельцы. Пусть они невинно обмануты. Великий контакт... Дружба миров и так далее... Вопрос: что они делают у нас на Земле? Мозес сам признался, что он наблюдатель. За чем он, собственно, наблюдает? Не скальтесь, не скальтесь... Мы здесь с вами занимаемся фантастикой, а в фантастических романах, насколько я помню, пришельцы на Земле занимаются шпионажем и готовят вторжение. Как, по вашему мнению, в такой ситуации должен поступать я, чиновник с золотыми пуговицами? Должен я исполнить свой долг или нет?..

Симонэ молча щерился, уставясь на меня. Хозяин прошел к окну и поднял штору. Я оглянулся на него.

— Зачем вы это сделали?

Хозяин ответил не сразу. Прижимаясь лицом к стеклу, он оглядывал небо.

— Да вот все посматриваю, Петер, — медленно сказал он, не оборачиваясь. — Жду, Петер, жду... Вы бы приказали девочке вернуться в дом. Там, на снегу, она прямо готовая мишень...

Я положил парабеллум на стол, взял кружку обеими руками и, закрыв глаза, сделал несколько глотков. Готовая мишень... Все мы здесь — готовые мишени. Ну, ничего, может быть, и обойдется... И вдруг я ощутил, как сильные руки взяли меня сзади за локти. Я открыл глаза и дернулся. Боль в ключице была такой острой, что я едва не потерял сознание.

— Ничего, Петер, ничего, — ласково сказал хозяин. — Потерпите.

Симонэ с озабоченным и виноватым видом уже засовывал парабеллум к себе в карман.

— Предатели! — сказал я с удивлением.

— Нет-нет, Петер,— сказал хозяин.— Но надо быть разумным. Не одним законом жива совесть человеческая.

Симонэ, осторожно зайдя сбоку, похлопал меня по карману. Ключи звякнули. Заранее покрывшись потом в ожидании жуткой боли, я рванулся изо всех сил. Это ничем не кончилось, и, когда я опомнился, Симонэ уже выходил из комнаты с чемоданом в руке. Хозяин, все еще придерживая меня за локти, тревожно говорил ему вслед:

— Поторапливайтесь, Симонэ, поторапливайтесь, ему плохо...

Я хотел заговорить, но у меня перехватило горло, и я только захрипел. Хозяин озабоченно наклонился надо мной.

— Господи, Петер,— проговорил он,— на вас лица нет...

— Бандиты!...— прохрипел я.— Арестанты!...

— Да, да, конечно,— покорно согласился хозяин.— Вы всех нас арестуете и правильно сделаете, только потерпите немного, не рвитесь... ведь вам же очень больно, а я вас пока все равно не выпущу...

Да, не выпустит. Я и раньше видел, что он — здоровый медведь, но такой хватки все-таки не ожидал. Я откинулся на спинку стула и перестал сопротивляться. Меня мутило, тупое безразличие овладело мною. И где-то на самом доньшке души слабо тлело чувство облегчения — ситуация больше не зависела от меня, ответственность взяли на себя другие. По-видимому, я снова потерял сознание, потому что оказался вдруг на полу, а хозяин стоял рядом со мной на коленях и смачивал мне лоб мокрой ледяной тряпкой. Едва я открыл глаза, он поднес к моим губам горлышко бутылки. Он был очень бледен.

— Помогите мне сесть,— сказал я.

Он беспрекословно повиновался. Дверь была распахнута настежь, по полу тянуло холодом, слышались возбужденные голоса, потом что-то грохнуло, затрещало. Хозяин болезненно сморщился.

— Проклятый сундук,— произнес он сдавленным голосом.

Под окном голос Мозеса гаркнул с нечеловеческой силой:

— Готовы? Вперед!.. Прощайте, люди! До встречи! До настоящей встречи!

Голос Симонэ прокричал в ответ что-то неразборчивое, а затем стекла дрогнули от какого-то жуткого клекота и свиста. И стало тихо. Я поднялся на ноги и пошел к двери. Хозяин суетился рядом, широкое лицо его было белое и рыхлое, как вата, по лбу стекал пот. Он беззвучно шевелил губами — наверное, молился.

Мы вышли в пустой холл, по которому гулял ледяной ветер, и хозяин пробормотал: «Давайте выйдем, Петер, вам надо подышать свежим воздухом...» Я оттолкнул его и двинулся к лестнице. Мимоходом я с глубоким злорадством отметил, что входная дверь снесена начисто. На лестнице, на первых же ступеньках, мне стало дурно, и я вцепился в перила. Хозяин попытался поддержать меня, но я отпихнул его здоровым плечом и сказал: «Убирайтесь к черту, слышите?..» Он исчез. Я медленно пополз по ступенькам, цепляясь за перила, миновал Брюн, испуганно прижавшуюся к стене, поднялся на второй этаж и побрел в свой номер. Дверь номера Олафа была распахнута настежь, там было пусто, резкий аптечный запах расплзался по коридору. Добраться бы до дивана, думал я. Только бы добраться до дивана и лечь... И тут я услышал крик.

— Вот они! — завопил кто-то.— Поздно! Поздно!

Голос сорвался. Внизу в холле затопали, что-то упало, покатилося, и вдруг я услышал ровное дале-

кое гудение. Тогда я повернулся и, спотыкаясь, побежал к чердачной лестнице...

Вся широкая снежная долина распахнулась передо мной. Я зажмурился от солнечного блеска, а потом различил две голубоватые, совершенно прямые лыжни. Они уходили на север, наискосок от отеля, и там, где они кончались, я увидел четкие, словно нарисованные на белом, фигурки беглецов. У меня отличное зрение, я хорошо видел их, и это было самое дикое и нелепое зрелище, какое я помню.

Впереди мчалась госпожа Мозес с гигантским черным сундуком под мышкой, а на плечах ее грузно восседал сам старый Мозес. Правее и чуть отставая, ровным финским шагом несли Олаф с Луарвиком на спине. Билась на ветру широкая юбка госпожи Мозес, вился пустой рукав Луарвика. Они мчались быстро, сверхъестественно быстро, а сбоку, им наперерез, сверкая на солнце лопастями и стеклами кабины, заходил вертолет.

Вся долина была наполнена мощным ровным гулом, вертолет медленно, словно бы неторопливо, снижался, прошел над беглецами, обогнал их, вернулся, опускаясь все ниже, а они продолжали стремительно мчаться по долине, будто ничего не видя и не слыша, и тогда в это могучее монотонное гудение ворвался новый звук, злобный отрывистый треск, и беглецы заметались, а потом Олаф упал и остался лежать неподвижно, а потом кубарем покатился по снегу Мозес, а Симонэ рвал на мне воротник и рыдал мне в ухо: «Видишь? Видишь? Видишь?..» А потом вертолет повис над неподвижными телами, медленно опустился и скрыл от нас всех — тех, кто лежал неподвижно, и тех, кто пытался еще ползти... Снег закрутился вихрем от его винтов, сверкающая белая туча горбом встала на фоне сизых отвесных скал. Снова послышался злобный треск пулемета, и Алек сел на корточки, закрыв глаза ладонями, а Симонэ все рыдал, все кричал: «Добился! Добился своего, дубина, мерзавец!»

Вертолет так же медленно поднялся из снежной тучи и, косо уйдя в пронзительную синеву неба, исчез за хребтом. И тогда внизу тоскливо и жалобно завыл Лель.

Эпилог

С тех пор прошло больше двадцати лет. Вот уже год, как я в отставке. У меня внуки, и я иногда рассказываю ребятишкам эту историю. Правда, в моих рассказах она всегда кончается благополучно: пришельцы благополучно отбывают домой в своей сверкающей ракете, а банду Чемпиона благополучно захватывает подросшая полиция. Сначала пришельцы отбывали у меня на Венеру, а потом, когда на Венере высадились первые экспедиции, мне пришлось перенести господина Мозеса в созвездие Волопаса. Впрочем, не об этом речь.

Сначала факты. Бутылочное Горлышко расчистили через два дня. Я вызвал полицию и передал ей Хинкуса, миллион сто пятнадцать тысяч крон и свой подробный отчет. Но следствие, надо сказать, кончилось ничем. Правда, в разрытом снегу было найдено более пятисот серебряных пуль, но вертолет Чемпиона, забравший тела, исчез бесследно. Через несколько недель супружеская чета туристов-лыжников, путешествовавших неподалеку от нашей долины, сообщила, что они видели, как какой-то вертолет прямо у них на глазах упал в озеро Трех Тысяч Дев. Были организованы розыски, однако ничего интересного обнаружить не удалось. Глубина этого озера, как известно, достигает местами четырехсот

метров, дно его ледяное, и рельеф дна постоянно меняется. Чемпион, по-видимому, погиб — во всяком случае, на уголовной сцене он больше не появлялся. Банда его благодаря Хинкусу, который торопился спасти свою шкуру, была частично отловлена, а частично рассеялась по всей Европе. Гангстеры, попавшие под следствие, ничего существенного к показаниям Хинкуса не добавили — все они были убеждены, что Вельзевул был колдуном или даже самим дьяволом и что их бывший главарь погиб, откусив кусок не по глотке. Симонэ был убежден, что один из роботов уже в вертолете очулся и в последней вспышке активности сокрушил все, до чего смог дотянуться. Очень может быть, и если это так, то не завидую я Чемпиону в его последние минуты...

А Гольденвассер, конечно, вывернулся. Одним гауптштурмфюрером больше, одним меньше — это для него не имело значения. Тем более, что архивы Грэнгейма исчезли бесследно, а сообщение Мозеса никакого действия не возымело. Оно было написано слишком странным языком, содержало ссылки на слишком странные обстоятельства и было, как я слышал, признано просто бредом сумасшедшего. Особенно на фоне газетной шумихи, которая была поднята вокруг пришельцев. Может быть, Гольденвассеру вспомнились тогда трупы расстрелянных в России и во Франции, в Польше и в Греции, и мертвый Кёниг с черной дырой над переносицей, и другие мертвецы... Вряд ли.

Симонэ сделался тогда главным специалистом по этому вопросу. Он создавал какие-то комиссии, писал в газеты и журналы, выступал по телевидению. Но никто не принимал его всерьез. Комиссии, правда, функционировали, всех нас, даже Кайсу, вызывали в качестве свидетелей, однако настоящей, серьезной поддержки Симонэ не получили. Ни один научный журнал, насколько мне известно, не опубликовал по этому поводу ни строчки. Комиссии распались, снова возникали, материалы комиссий то засекречивались властями, то вдруг начинали широко публиковаться, десятки и сотни халтурщиков вились вокруг этого дела, вышло несколько брошюр, написанных фальшивыми свидетелями и подозрительными очевидцами, и кончилось все это тем, что Симонэ остался один с кучкой энтузиастов — молодых ученых и студентов. Они совершили несколько восхождений на скалы в районе Бутылочного Горлышка, пытаясь обнаружить остатки разрушенной станции. Во время одного из этих восхождений Симонэ погиб. Найти так ничего и не удалось.

Все остальные участники описанных выше событий живы до сих пор. Недавно я прочитал о чествовании д-ра Барнстока в Международном обществе иллюзионистов — старику исполнилось девяносто лет. На чествовании присутствовала племянница юбиляра, Брюнхилд Канн, с супругом, известным космонавтом Перри Канном. Хинкус отсиживает свою бессрочную и ежегодно пишет прошения об амнистии. В начале срока на него было сделано два покушения, он был ранен в голову, но как-то вывернулся. Говорят, он пристрастился вырезать по дереву и неплохо прирабатывает. Тюремная администрация им довольна.

Кайса вышла замуж, у нее четверо детей. В прошлом году я ездил к Алеку и видел ее. Она живет



в пригороде Мюра и очень мало изменилась — все так же толста, все так же глупа и смешлива. Я убежден, что вся трагедия прошла совершенно мимо ее сознания, не оставив никаких следов.

С Алеком мы большие друзья. Отель «У Межзвездного Зомби» процветает — в долине теперь уже два здания, второе построено из современных материалов, изобилует электронными удобствами и очень мне не нравится. Когда я приезжаю к Алеку, я всегда поселяюсь в своем старом номере, а вечера мы проводим, как встарь, в каминной, за стаканом горячего портвейна со специями. Увы, одного стакана теперь хватает на весь вечер. Алек сильно высох и отпустил бороду, нос у него стал бордовый, но он по-прежнему любит говорить глухим голосом и не прочь подшутить над гостями. Мне всегда очень хорошо у Алека — так спокойно, уютно. Но однажды он глухим шепотом признался мне, что держит теперь в подвале ручной пулемет — на всякий случай.

Я совсем забыл упомянуть о сенбернаре Леле. Лель умер. Просто от старости. Алек любит рассказывать, что этот удивительный пес незадолго до смерти научился читать.

А теперь обо мне. Много-много раз во время скучных дежурств, во время одиноких прогулок и просто бессонными ночами я думал обо всем случившемся и задавал себе только один вопрос: прав я был или нет? Формально я был прав, начальство признало мои действия соответствующими обстановке, а начальник управления даже выбрал меня за то, что я не отдал чемодан сразу и тем самым подвергал свидетелей излишнему риску. За поимку Хинкуса и за спасение миллиона с лишним крон я получил премию, а в отставку вышел в чине старшего инспектора — предел, на который я мог рассчитывать. Мне пришлось немало помучиться, пока я писал отчет об этом странном деле. Я должен был исключить из официальной бумаги всякий намек на мое субъективное отношение, и в конце концов это мне, по-видимому, удалось. Во всяком случае, я не стал ни посмешищем, ни человеком с репутацией фантазера. Конечно, в отчете многого не было. Как можно описать в полицейской бумаге эту жуткую гонку на лыжах через снежную равнину? Когда при болезни у меня поднимается температура, я снова и снова ви-

жу в бреду это дикое, нечеловеческое зрелище и слышу леденящий душу свист и клекот... Нет, формально все обошлось. Правда, товарищи иногда посмеивались надо мной под веселую руку, однако чисто дружески, без зла и язвительности. Згугу я рассказал больше, чем другим. Он долго размышлял, скреб железную свою щетину, вонял трубкой, но так ничего путного и не сказал, только пообещал мне, что дальше него эта история не пойдет. Неоднократно я заводил разговор на эту тему с Алеком. Каждый раз он отвечал односложно и только однажды, пряча глаза, признался, что тогда его больше всего интересовала целостность отеля и жизнь клиентов. Мне кажется, потом он стыдился этих слов и жалел, что признался. А Симонэ до самой своей гибели так и не сказал мне ни слова.

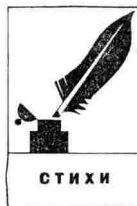
Наверное, они все-таки действительно были пришельцами. Никогда и нигде я не выражал своего личного мнения по этому поводу. Выступая перед комиссиями, я всегда строго придерживался сухих фактов и того отчета, который представлял своему начальству. Но теперь я почти не сомневаюсь. Раз мы достигли Марса и Венеры, почему бы кому-нибудь не высадиться у нас, на Земле? И потом, просто невозможно придумать другую версию, которая с такой скрупулезностью объясняла бы все темные места этой истории.

Но разве дело в том, что они были пришельцами? Я много думал об этом и теперь могу сказать: да, дело только в этом. Обойтись с ними так, как обошелся я, было, наверное, слишком жестоко. Наверное, все дело в том, что они прилетели не вовремя и встретились не с теми людьми, с которыми им следовало встретиться. Они встретились с гангстерами, с фашистами, с Гольденвассером, с полицией. Ну, ладно. А если бы они встретились с контрразведкой или с военными? Было бы им лучше? Вряд ли...

На душе у меня скверно, вот в чем дело. Никогда со мной такого не было до и никогда после: все делал правильно, чист перед богом, законом и людьми, а на душе скверно. Иногда мне становится совсем плохо, и мне хочется найти кого-нибудь из них и просить, чтобы они простили меня. Мысль о том, что кто-то из них, может быть, еще бродит среди людей, неизвестно, в каком человеческом облике, мысль эта не дает мне покоя. Я даже вступил было в Общество имени Адама Адамского, и они вытянули из меня массу денег, прежде чем я понял, что все это только болтовня и что они никогда не помогут мне найти друзей Мозеса и Луарвика...

Когда мне становится плохо, жена садится рядом и принимается утешать меня. Она говорит, что, если бы я даже не чинил препятствий Мозесу и всем им удалось бы уйти, это все равно привело бы к большой трагедии, потому что тогда гангстеры напали бы на отель и, вероятно, убили бы всех нас, оставшихся в доме. Все это совершенно правильно. Я сам научил ее говорить так, только теперь она уже забыла об этом, и ей кажется, что это — ее собственная мысль. И все-таки от ее утешений мне становится немножечко легче. Но ненадолго. Только до тех пор, пока я не вспоминаю, что Симон Симонэ до самой своей смерти так и не сказал мне ни одного слова. Ведь мы не раз встречались с ним — и на суде Хинкуса, и на телевидении, и на заседаниях многих комиссий, и он так и не сказал мне ни одного слова. Ни одного слова. Ни одного.

Комарово — Ленинград.



**Иван
Козловский**

Пятьсот двадцатый день войны

Нас, артиллерией долбя,
К речному лезвию прижали
Те, кто, о доблести трубя,
Сверхчеловеками себя
В тщеславье дьявольском назвали.
Ни звезд, ни солнца, ни луны,
Ни тишины над Сталинградом.
Стоим насмерть с запавшим взглядом.
Скорей гряди над этим адом,
Пятьсот двадцатый день войны!
Такого

ни одной страны
Народ не вынес бы вовеки.
Мы люди и себе верны...
Пятьсот двадцатый день войны:
Окружены сверхчеловеки.
Теперь мы двинутся должны,
От раны я в бою поправлюсь.
И сдастся в плен фельдмаршал Паулюс...
Пятьсот двадцатый день войны.

Стервятник

Я, верст одолев ту малость,
Что следовало пройти,
Легко угодил в туманность
Избранного пути.

Все громче потоков скачка,
Вспенены их бока.
Белые, как горячка,
Мечутся облака.

Снова изгиб спирали
Беру,
и видится мне,
Словно на пьедестале,
Стервятник на валуне.

Его среди горных петель
Не обошла похвала,
Камень тому свидетель
Гольный, как пах вола.

Стервятник сидит нахохлясь,
Кругов описавший тьму.
Кровью дымится доблесть,
Приписанная ему.

Еще он метнется в небо,
Покинув седой насест,
И от испуга немо
Станет оно окрест.

Обликом схож со скифом,
Утес в пелене до лба.
С ветхозаветным скрипом
Рядом ползет арба.

Туман, словно рваный ватник,
Брошенный на гранит.
Черным крестом стервятник
Над головой парит.

Тупичок

Звенит по камням родничок,
Пересекая тупичок,
Как горлышко кувшина.
А в небе — перца ли стручок
Иль это — красный колпачок
Бродяги арлекина!

Насквозь продымлен кабачок,
Где загулявший морячок
Бутылку клонит на бочок,
Чтоб нахлестаться джина.

В углу напротив —
старичок
Попал девчонке на крючок,
Что ждет его —
о том молчок,
Сам виноват, скотина.

Скрипач, одетый в сюртучок,
То вниз, то вверх ведет смычок,
И каблучки стучат: «чок-чок»,
Бьет ночи половина.

А месяц — бронзовый бычок,
Кошачий желтый ли зрачок,
С тоской глядит на тупичок,
Где время, словно паучок,
Чья хищна паутина.

И плачет древний ночничок
Слезами стеарина.

Греция. Нафплион.

☆

Ты вся удивленье и прелесть,
Отчаяннейшая из тихонь.
Меня обольщает, как ересь,
В тебе затаенный огонь.

Геранью зарос подоконник,
И, вновь ощутив торжество,

Язычник и огнепоклонник,
Творю из тебя божество.

Закат багровеет, что плаха,
И облако, глядя сквозь тьму,
Принявшее облик монаха,
Свидетелем стало тому,

Как, в ветреном слове изверясь,
Я разуму наперекор
Впадаю в сладчайшую ересь,
Готовый взойти на костер.

☆

В дар преподнес Корней Чуковский
Мне книгу на закате лет,
Был из которой
стариковский
Им вырван собственный портрет.

И, сам себя причислив к лику
Не разлучавшихся с огнем,
Другой портрет вложил он в книгу:
Блестящая юностью на нем.

Начертанные на портрете,
О, как добры его слова!
Над ними в сумеречном свете
Окрест глаголят дерева.

И в колокольной вышине я
Вновь слышу около светил:
— Мы от корней!
Мы от Корнея,
Который нас благословил!

☆

Горит вдали закат пунцовый,
И Пушкин близ мятежных вод
Вновь на колени Воронцовой
Шальную голову кладет.

Стихи читает по привычке,
Влюбленный,
пылкий,
молодой.
И на груди у католички
Целует крестик золотой.

Вздыхая будто бы в печали,
Она корит его опять:
— О матка бозка!.. Слово дали
Вы только крестик целовать.

☆

Зима. Черненко серебро
У сосен на плечах.
Берет в Михайловском перо
Хозяин при свечах.

Плывет над вольницей стола
Полночное тавро...
Сильней двуглавого орла
Гусиное перо.



Константин Ваншенкин

ИЗ КНИГИ «НАБРОСКИ К РОМАНУ»

...А, может быть, вот это, что я пишу сейчас, будет моей новой книгой?

1. ГОСПОЖА ДОСТОВЕРНОСТЬ

Настоящее искусство обладает особенностью воскрешать давно минувшие события, волновать нас как бы сквозь время, делая свидетелями происходящего. Но удивительно, что похожую силу имеют пожелтевшие листки армейской газеты, выцветшие фотографии, перетертые по сгибам письма. От них тоже перехватывает дыхание, они тоже обжигают сердце. Жизнь не противопоставляет одно другому, — напротив, объединяет их.

В искусстве — время достоверности, почти документальности. В толстых романах нас поражают вкрапленные в них подлинные документы. Хроникальные кадры, смонтированные в художественный фильм, зачастую оказываются в нем сильнейшими. А многочисленные документальные киноленты, повести, пьесы, скомпонованные из дневников, писем и так далее, где определенный жанр используется лишь как привычная форма, главное — заложенный в них чудовищной мощности заряд достоверности, истинности.

В последние годы некоторые поэты, даже критики стали писать прозу, и с непривычки очень хорошую, пронзительно точную, со знанием дела, совершенно игнорируя законы жанра, сюжет и прочее. У них есть одна госпожа — госпожа Достоверность, и они поклоняются только ей одной. Их рукой движет долго копившееся острое желание, страстная потребность рассказать о себе, о своей жизни и судьбе, о своем поколении, сверстниках, об особенностях своего поколения или просто местности, где

вырос автор. Что может быть благороднее, человечнее, естественнее этого порыва, этой задачи? «И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба», — сказано о таких книгах.

Но все же это не прирожденная проза, не проза в общепринятом буквальном смысле. Однако после первого успеха эти авторы решают, что они всерьез прозаики, начинают беллетризовать все, что знают или просто видели, и тут же терпят неудачу. Будто другой человек писал. Они пытаются писать не как прежде, а придерживаясь законов настоящей прозы, не понимая, что этого им не дано. Только возвращение к себе, к своей жизни сулит им новый успех.

Можно было бы привести в пример работы В. Рослякова, Л. Якименко и даже В. Солоухина, столь свободного во «Владимирских проселках», «Капле росы», «Третьей охоте», «Черных досках» и подобных им своих книгах и чувствующего себя не в своей тарелке в романе и «придуманных» рассказах. Отчасти испытал это и я сам.

По правде говоря, я мечтал написать роман. О себе. Начать действие после войны, с отступлениями в войну и детство. Настоящий роман, с перекрещением сюжетных линий, многими действующими лицами и тому подобное. Главный герой (то есть как бы я) — демобилизованный солдат, сначала начинающий, а затем профессиональный поэт. И, кроме самого действия, разумеется, любви и прочего, вложить в уста героя и других персонажей всевозможные наблюдения над поэзией, песней, переводом, подарить ему, молодому, мои ранние, неопубликованные стихи, а теперешнему — мои новые стихи, тоже, конечно, до этого не печатавшиеся, то есть всадить в этот роман еще целую мою стихотворную кисть.

Довольно долго пестовал я свой замысел, а потом отказался от него. Слишком получалось это все громоздко. В конце концов я решил напечатать только сами заметки. Не роман, а лишь наброски к роману.

Разумеется, понятие достоверности значительно шире просто документальности. Оно прежде всего в психологической точности, в точности глаза, сверхточности эпитета. Когда Б. Пастернак в ранней прозе говорит о кровати проститутки «промысловая кровать» (то есть на ней происходит промысел), — это ли не достоверность! К слову сказать, в той же его ранней прозе, густой и метафоричной, чисто поэтическая звукопись: «таратор топоров» звучит несколько нарочито, озорно, как детская скороговорка.

Когда Бунин говорит о раздевающейся женщине: «стоптала с себя упавшее на пол платье», — это ли не достоверность!

Но главное, разумеется, достоверность характеров и поступков — деликатнейшее дело дозировки вымысла в рамках достоверности. Чуть нарушил пропорции — и все насмарку!

2. КЛОЧКОВЫ

У каждого, кому повезло в жизни, есть дом, где его приютили, согрели в трудный час. У меня это дом Клочковых.

Я учился с Толей Клочковым в геологоразведочном институте, жил далеко за городом — мест в общежитии не было — и совсем начал выбиваться из сил, когда они пригласили меня жить к себе. Время было радостное, едва-едва отменили карточки, но все равно было еще трудно, а они брали с меня даже не всю стипендию — еще оставалось на курево.

Они жили в старом рабочем районе, за Павелецким вокзалом, в трехэтажном кирпичном доме. По ночам поблизости проявлялись звуки бодрствующей железной дороги: прокатывающийся гром сдвигаемых составов, короткие сигналы маневровых паровозов.

В квартире было десять или одиннадцать семей. Когда-то здесь жил фабричный управляющий, а после революции вселили рабочих. Они переженались, повыходили замуж, пошли дети, народу сильно прибавилось, стало совсем тесно, но они привычно и по возможности дружно жили в этой квартире с двумя уборными, двумя ванными и огромной кухней на три газовых плиты. Здесь вырос и Толя Клочков.

У них было две комнаты. В совсем крохотной, метров пяти-шести, жили бабушка и ее младший сын, Толин дядя — Коля. Он был только на год старше меня и еще служил в армии, в погранвойсках, откуда позже тогда отпустили. Бабушка была тихая, неприметная, но всегда ощущалось ее живейшее участие в общей жизни. И еще она была по натуре очень добрая — подбрасывала Толе карманных денег, а мне часто говорила: «Ешь, сынок, в аппетит, пока пупок отлетит!..»

И Толина мать унаследовала ее характер.

Мы, остальные, жили в большой комнате, метров двадцати. Толины родители спали на широкой кровати, сестренка Лида на детской, из которой уже выростала — ей было одиннадцать лет, — Толя на диване, я на сундуке.

Этот сундук у двери был немного коротковат для меня. Я спал обычно на животе, как привык спать на нарах и на земле в армии. У меня были трофейные часы, я тоже по привычке не снимал их с руки, чтобы, проснувшись среди ночи, только глянуть

на светящийся циферблат и, если еще рано, спать дальше. Я потом даже написал, правда, о другом:

Бегло смотрю на запястье —
Только четыре часа.

Через много лет Толина мать созналась мне, что это их с отцом обижало, они думали, что я боюсь расстаться с часами, чтобы их не украли.

На этом моем сундуке глубокой осенью сорок первого года спали вместе Толя и Коля. Отопление не работало, в комнате замерзала вода, и вечером, перед сном, Толина мать гладила раскаленным утюгом их простыни и одеяло, чтобы хоть поначалу дать им немножко тепла, — без этого лечь было невозможно. Они уже давно притерпелись к воздушным тревогам и налетам, набегались в бомбоубежище и теперь, ложась, выключали радио, а при взрывах и зенитной пальбе лишь крепче прижимались друг к другу. Потом Колю взяли в армию.

Он при мне, еще до своей демобилизации, приезжал в отпуск. Он был степенный, неторопливый, солидный парень в аккуратной гимнастерке с зелеными погонами. Он почти ничего не рассказывал о жизни на заставе, о дозорах и нарушениях не потому, что боялся раскрыть военную тайну, а потому, что совсем недавно окончилась великая война и он считал неудобным рассказывать ее участникам (мне и Толиному отцу) о своей будничной службе.

Встречали и провожали его шумно. Вообще праздники семейные и общие Клочковы обязательно отмечали за столом. Отец играл на гитаре и пел приятным, сильным голосом. Хорошо пел и Толя. Пели «Коробейников», «Когда я на почте служил ямщиком», «Лучше нету того цвету», пели с удовольствием, самозабвенно, до изнеможения. Пели Есенина:

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

Толя был большой любитель стихов, мы и подружались с ним на этой почве, но отец-то, рабочий человек, столяр, чушь напряженно, но с наслаждением выводил непростые вопреки принятому мнению есенинские строки:

С алым соком ягоды на коже.
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.

...В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот.
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных поющих с ветром сот.

Иногда, перед началом строки он взглядывал на сына, проверял себя и удовлетворенно встряхивал волосами:

Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи, —
К светлой тайне приложил уста.

Пили водку, но больше самодельную красно-золотистую бражку, которую ставила бабушка. Она ставила ее под кровать в четырехгранной царской бутылке большой прочности и еще в обычном канцелярском графине. Чтобы при брожении не выскочили пробки, их обвязывали шнуром — под дно. Как-то раз бабушка поставила бражку ко дню рождения зятя, и за несколько дней до срока нас разбудил ночью взрыв и звон осколков. Зажгли свет. Вся комната была залита пеной. Разорвало царскую бутылку. Убрали

3. ИСАКОВСКИЙ

осколки, подтерли и только легли, как уже под общий хохот ударил под диваном канцелярский графин. Видно, бабушка с пропорциями напутала.

Толстым родителям было едва за сорок лет. Как мы, наверное, им мешали! Толя читал по ночам. Он лежал на спине, за изголовьем горела настольная лампа с зеленым абажуром, отгороженная газетами и спинкой стула так, чтобы свет падал только на страницу. Он читал и читал. Именно о таких сказал поэт, что они читают «как заведенные, взасос». А я тогда писал, как заведенный. Из меня прямо било.

В ту пору я познакомился с Михаилом Васильевичем Исаковским. Но об этом отдельно.

Утром мы с Толей бежали до метро, втискивались в вагон и выходили в центре. Наш институт был между старым университетом и тогдашним американским посольством. Больше всего мне нравился в институте минералогический музей. Он поражал меня своим богатством — не в смысле цены, конечно, но богатством красок, оттенков, рисунка, всего разнообразия природы. Это был театр, роскошный спектакль.

Вот я написал «спектакль» и вспомнил: у кого-то из соседей оказались два лишних билета в филиал МХАТа на «Вишневый сад». До начала оставалось пустяки. Мы с Толей подхватились и понеслись. И успели. Мы сидели наверху галерки и, собственно, самой сцены не видели, мы видели только авансцену и актеров, выходящих к рампе. Едва они отступали в глубину, они исчезали. Не видели мы и самого вишневого сада, ни одной веточки, а только слушали разговоры о нем.

Не беспокойтесь, я понимаю, что времена изменились. Но все-таки на всю жизнь у меня осталась симпатия к молодым людям, сидящим на галерке, а не в первых рядах.

Почему-то на вечерах поэзии в Политехническом мы тоже всегда оказывались наверху. Я смотрел на освещенную сцену, на своих кумиров, которых знал наизусть, и на людей, мне неизвестных, но объявлялось, что они известные. Мы с Толей переглядывались и подмигивали друг другу, когда выходил вперед поэт, которого мы любили и помнили насквозь. Интересно, он знает, конечно, что у него есть поклонники, почитатели и тому подобное, но не представляет, насколько близки и дороги кому-то его жизнь, и интонация, и самый вид, и все, что он еще делает. Один другого сменяли поэты. Я тогда тоже писал, но думал ли, что многие из них совсем скоро будут считать меня равным! Мы с Толей были совершенно бескорыстные слушатели. Довольно много времени спустя я написал об этом:

О эти вечера в Политехническом!
Сижу, внимая каждому стиху.
Трибуна в четком свете электрическом.
Я ж на галерке где-то, наверху.

Потом опять толкучка гардеробная.
Протискиваюсь, взяв свою шинель.
Москва большая, тихая, сугробная, —
Едва-едва окончилась метель.

Иду один, шепчу стихи нечаянно.
Счастливым средь полночной тишины.
Еще и ни строки не напечатано,
И нет еще ни дома, ни жены.

И все, что я в полях холодных выносил,
И все, что людям высказать хочу,
И жизнь моя реальная, и вымысел,
И дальняя дорога — по плечу!

Смею заверить, что здесь все точно. Вот только шел я не «один», а вдвоем с Толей Клочковым.

Как писали в прежние времена, с душевным трепетом и глубоким волнением приступаю я к этой главе.

Мне уже приходилось говорить, что в ту пору я учился в Московском геологоразведочном институте и одновременно писал стихи все свободное, а также и отведенное на занятия время. Иногда я посылал их в редакции газет и журналов и получал ответы, хотя и обнадеживающие, однако ничего не обещающие. Изредка я сам заходил в редакции и выслушивал то же самое — не от редактора, разумеется, не от члена редколлегии, а от почти такого же неизвестного, как и я, литературного консультанта.

Там, в редакциях, на подступах к поэтическим делам, я познакомился с другими ходоками, пока что тоже неудачниками, объединенными своим бесправным положением, стойким невезением и неколебимой еще уверенностью каждого в своем таланте.

Много позже я вычитал у Гете, как он и его друзья-мальчики упоенно занимались стихосложением: «Мои стихи, каковы бы они ни были, всегда казались мне самыми лучшими. Вскоре, однако, я заметил, что и мои товарищи, довольно-таки незадачливые стихоплеты, не меньше меня чванятся своими стихами... Я однажды вдруг усомнился: не заблуждаюсь ли я в такой же мере, не лучше ли эти стихи моих стихов и не кажусь ли я моим приятелям таким же полоумным, какими они кажутся мне?..»

Из тех, обивающих пороги редакции, не удержался никто, кроме Евтушенко. Я с ним познакомился у дверей «Нового мира». Это был мальчишка лет четырнадцати, весь в заплатах, дитя улицы, живучий и неунывающий в тот голодный год.

— У меня написано: «жисть-жестянка», — обратился он ко мне с возмущением, — а она говорит, что плохо, что так нельзя. Ведь можно так сказать?..

Учеба моя в институте требовала массу времени, а я писал стихи и не успевал заниматься, нужно было решаться на что-то, и я отважился показать свои сочинения настоящему поэту, которого знал и любил.

Почему я выбрал Исаковского? Почему не пошел к Твардовскому или Симонову?

Некоторым моим старшим собратьям по перу, которые уже на войне были писателями и служили во фронтовых и армейских газетах, представляется, что и вся армия так же читала периодику, как она. А я, например, читал только одну нашу дивизионную газетку и ни разу у никакую другую. В этой газете я прочел перепечатанные ею две главы «Теркина». Стихи Симонова из книги «С тобой и без тебя» дал мне мой друг Володька Ратковский, он их списал у кого-то, лежа в госпитале. И еще я, конечно, знал и пел сам песни Исаковского — и прежние и одну из главных песен войны — «Огонек». Я знал, что его стихи-песни поистине народны, и знал это на практике.

Но я не знал и слыхом не слыхал, что именно он занят огромной работой по переписке с начинающими, равной по объему, думаю, только работе такого рода А. М. Горького. Причем Михаил Васильевич делал это не по должности, а по человеческой отзывчивости и доброте, по обязанности своего характера, массу читал в ущерб собственной работе и все ухудшающемуся зрению. Один из наиболее почитаемых всенародно и государственно поэтов, он аккуратно отвечал своим никому не известным корреспондентам.

И совершенно не зная всего этого, я каким-то чудом — чутьем попал именно к нему.

Я пришел к Исаковскому. Оправдываю себя даже не тем, что был извинительно молод, а самим временем, когда всех еще объединяла удача, что мы уцелели в страшной войне, и это как бы предполагало большую близость и внимательность друг к другу.

Осенью 1947 года я пришел к Исаковскому. Первый раз не застал, пришел вторично.

— Вы избиратель? — спросила меня женщина, открывшая дверь.

Я не сразу понял и лишь потом сообразил, что к нему часто обращаются как к депутату Верховного Совета его избиратели.

— Михаил Васильевич очень занят, — сказала женщина, но тут оказался сам Исаковский и спросил, возвышаясь за ее плечом:

— Вы ко мне? Проходите.

При всей непохожести он напомнил мне Горького, виденного в кинохронике, — высокий, сутуловатый.

Я повесил в коридоре шинель и тут же попал в крохотный кабинетик, сел на указанное мне место напротив хозяина, а он сразу начал читать тетрадку с моими стихами, предварительно раскрыв передо мной немалую роскошь по тому времени — коробку «Казбека».

Он довольно быстро читал мои стихи, а я неподвижно сидел по другую сторону стола и ждал приговора. Там, где стих был правильный, плавный (я тогда еще не всегда писал так, были у меня и свободного размера), он тихонько, про себя, подмурлыкивал, и это меня немного успокаивало.

Он похвалил меня, увидав что-то в наивных, слабых стихах, не остановился только на моей неумелости, не удовлетворился только их очевидными недостатками. За законченное, отточенное похвалить не штука — куда важнее заметить у молодого хоть крупицу истинного, подбодрить, помочь, посоветовать, и все это просто, немногословно, сдержанно. Для поэта его положения совершенно удивительно было понимание нужд начинающего.

Например, он сказал мне:

— Вам следует приучить редакции к мысли, что вы есть и вас надо печатать.

Через несколько лет, уже будучи членом Союза писателей (опять же Михаил Васильевич дал мне рекомендацию, и я был принят в 1951 году после первой книжки), я рассказал за столом в поэтической компании о тех его словах, и один мой тогдашний друг-поэт ахнул:

— А вот мне никто такого не посоветовал!..

И он тут же бросился «приучать» — и не только печатать свои стихи, но и приучать писать о себе статьи и рецензии, да так рьяно, что положил это в основу своей дальнейшей деятельности.

Посещение М. В. Исаковского многое решило и изменило в моей судьбе. Правда, он не советовал мне бросать геологоразведочный, и хорошо было бы не бросить, совместить, но не получалось.

Михаил Васильевич дал мне в тот раз записочку в журнал «Советский воин» к тогдашнему еще капитану поэту Михаилу Спинову с просьбой напечатать мои стихи, и меня вправду напечатали. Для начинающего стихотворца это очень важно — напечататься, одна из главных, почти невыполнимых задач, особенно в то время. Когда я спускался по лестнице и шел вниз, к метро, по улице Горького, мне казалось, что эта записочка, лежащая в кулаке, и есть основной результат моего посещения, его вещественный итог. К счастью, я быстро понял, что это не так.

Михаил Васильевич дал мне необходимый толчок, добавочное ускорение, за полчаса общения зарядил на серьезную, долгую работу. Низко ему за это кланяться.



М. В. Исаковский. Фото 1947 года.

В январе 1950 года отмечался юбилей Исаковского — пятидесятилетие. В дубовом зале Центрального Дома литераторов шло чествование, выступали старинные друзья, вносились кадки с цветущей сиренью от хора Пятницкого. Я тогда был уже студентом Литературного института, и руководство поручило мне написать в стихах приветствие юбиляру от института. Я написал, но в последний момент руководство, как это случается, почему-то передумало, и другой студент зачитал обычный поздравительный адрес.

Через двадцать лет в том же дубовом зале на обеде в честь семидесятилетия М. В. Исаковского я все же прочитал то давнее мое приветствие (если я не ошибаюсь, в начале недостает одной строфы):

Широкая и ясная дорога,
Она скромна, как стелка средь полей,
И даже странным кажется немного
Торжественное слово — «юбилей».

А Ваши песни долго петься будут,
Напоминать о самом дорогом,
И никогда солдаты не забудут
Старинный вальс «В лесу прифронтовом».

Пройдет весна, за ней вторая, третья,
Но на песке холодном, у воды,
Останутся на долгие столетья
Катюшины незримые следы.

Пороховой тогда растает запах,
Не будет расставаний навсегда.
Но раз уж «дан приказ — ему на запад»,
То, если можно, пусть и ей — туда.

Пусть будущие наши поколения
Не знают ни бомбежек, ни атак...
А Вы примите наши поздравленья,
Простите нас, коль что-нибудь не так.

Действительно, здесь кое-что «не так». Например, следы Катюши «на песке холодном, у воды», а в песне она, как известно, выходила «на высокий берег на крутой». Но что от души, так это уж точно.

Вероятно, у каждого пишущего, вне зависимости от печатания, книг, рецензий и т. п., есть самое большее три-четыре человека, мнение которых особенно важно и дорого. Мы словно пишем именно для них. У меня в числе таких людей — М. В. Исаковский.

4. ПРОЩАНИЕ С БЕРНЕСОМ

Мальчишкой в заводском клубе, где показывали кино одним аппаратом, с перерывами между частями, я был поражен и очарован его Костей Жигулевым, путиловским парнем, переkreшенным пулеметными лентами и с гармошкой в руках. И эта песенка «Тучи над городом встали», и то, как он пел ее, и весь его облик — все было необычным при очевидной правдивости и жизненности. И, кто запомнил, расходясь, повторяли его фамилию восхищенно, прозвоня ее почему-то с ударением на первом слоге: «Бёрнес!»

Мог ли я думать тогда, что мы станем с ним друзьями!

Он пришел в кино вместе с целой плеядой новых артистов, самостоятельной ценности звезд, ставших всенародными любимцами, — с Б. Андреевым, П. Алейниковым, Н. Крючковым. Он пришел с уже ярко выраженной самобытностью.

За свою жизнь он сыграл в кино более пятидесяти ролей. По сути, он играл всегда только положительных персонажей. Он умел играть их так, что зрителя захлестывала волна сочувствия и горячей симпатии к его героям. Его работа в кино в лучшем смысле гражданственна. И песни он пел такие, которые бы делали человека лучше, сильнее, чище. Его репертуар безупречен. У него, как ни у кого, было развито чувство отбора. Вот только некоторые песни, спетые впервые им и оставшиеся в сознании людей именно как песни Бернеса: «Тучи над городом встали», «В далекий край товарищ улетает», «Темная ночь», «Враги сожгли родную хату», «Три года ты мне снилась», «Песенка фронтового шофера», «Эскадрилья «Нормандия — Неман», «Я работаю волшебником», «С чего начинается Родина».

Сперва это были только песни из его ролей, потом он подключил к ним певшиеся другими, но в фильмах, где он играл («Спят курганы темные» из «Большой жизни»), а затем песня в его судьбе и работе заняла и совершенно самостоятельное, не меньшее, чем кинематограф, место.

И, слыша с экрана, а после войны из репродуктора или с патефонного диска его голос, того особого грубоватого тембра и глубоко человеческой интонации, я испытывал радость и волнение. Это был мой певец, то есть он пел и выражал то, что мне хотелось услышать, но я осознал это, лишь услышав его, — признак истинного искусства. Какое бы это было счастье (несбыточное! — я в глубине души не верил, что это осуществимо), — чтобы я написал, а он спел мою песню!

Нас познакомил поэт Яков Хелемский. В то время Бернес исполнял его новые песни: «Когда поет дале-

кий друг», «Это вам, романтики». Думаю, это было в начале 1956 года. Мы сидели рядом с Хелемским за длинным столом в одной из комнат Дома литераторов, на каком-то скучном совещании и, не помню уже к чему, заговорили о Бернесе. И я сказал, что у меня есть о нем стихи.

— Прочти, — попросил Хелемский в перерыве, и, когда я прочел, он вынул из папки лист бумаги. — Перепиши, я отнесу Марку, ему будет приятно. Я тут же переписал:

ПОЕТ МАРК БЕРНЕС

Мне слышится песня Бернеса,
Мне видится издалека:
Стоит он спокойный, белесый,
Уже постаревший слегка.

Поет, перед публикой стоя,
Отнюдь не во фрак разодет.
Лицо его очень простое.
А голоса, собственно, нет.

Но тут совершается чудо,
И песня тревожит сердца,
А это не так-то уж худо
Для каждого в мире певца.

Да, слышал певцов я немало,
У них голоса хороши.
Но им иногда не хватало
Вот этой вот самой... души.

За яркой эстрадною кромкой,
Верхов не беря, не звеня,
Звучит этот голос негромкий,
Веда и волнует меня.

Мне юность прошедшую видно.
Вполнеба играет гроза.
И, знаешь, насколько не стыдно,
Что вдруг повлажнили глаза.

Через два-три дня Хелемский позвонил мне:

— Марк очень растроган, хочет с тобой познакомиться.

...Это был грустный дом, где он жил тогда вдвоем с трехлетней дочкой Наташей. Она даже посидела с нами недолго, прежде чем идти спать.

Бернес не разочаровал меня при личной встрече, как это нередко бывает с нашими кумирами. Он мне понравился еще больше — своей простотой, естественностью, живостью и точностью суждений.

— Напишите песню, — предложил он мне в тот вечер. — У вас есть дети? Вот и у меня Наташа. Напишите песню о детях, о том, что они — это будущие мы. Подумайте. Будет одна строфа — звоните.

Это было сказочное предложение. Я в ту пору был автором нескольких непоющих песен. Поэты знают, что это такое. Это на какие-то твои стихотворения написана композитором музыка. Песня напечатана, разумеется, с нотами, и, может быть, не один раз, но она не поется. Это не песня. Песня — та, которая звучит. Звучит по радио, с пластинки, на концерте. А уж если вошел в вагон электрички или открыл поздним вечером окно на улицу и там твоя песня — значит, это действительно песня. Другой вопрос, хороша или плоха, но песня.

Забегая вперед, скажу, что я написал о детях нечто весьма банальное и сентиментальное. Бернес зарубил это с присущей ему прямой, откровенной и быстро. Я был слегка разочарован. Хочу заметить, что для «чистого» поэта написание специально песни — по ряду профессиональных причин, сложившихся привычек и навыков — дело чрезвычайно сложное, а для многих и невозможное. У большинства слова песни получаются, как правило, гораздо сла-

бее собственно стихов, и мы лишь мечтаем, чтобы наши просто стихотворения были положены на музыку.

Прощаясь в тот первый вечер, я подарил Бернесу свою книжечку «Весна», втайне слабо надеясь, что он отыщет там что-нибудь для песни, а он в свет вручил мне фотографию, где Наташа, обхватив отца за шею, сидит у него на коленях, и сделал надпись, как все артисты, не на обороте, а прямо по снимку: «Милому дяде Косте в знак нашего знакомства». Я так и ушел, держа карточку в руке и помахивая ею, пока не высохли чернила.

С песнями ничего не получилось, но все равно мы очень быстро сблизились, при третьей или четвертой встрече уже говорили друг другу «ты» — по его инициативе, конечно.

Но он не оставлял своей затеи и говорил мне по телефону время от времени: «Слушай, есть грандиозная тема» или: «Ну, когда мы с тобой что-нибудь сделаем?..»

В самом конце 1957 года у меня вышел сборник стихов «Волны», в него входило и стихотворение «Поэт Марк Бернес», и я сразу привез книжку Марку. Открывалась она стихами без названия с первой строкой «Я люблю тебя, жизнь». Стихи эти были опубликованы прежде в «Комсомольской правде», еще летом 1956 года.

Теперь же Бернес, перечитав сперва свое стихотворение, обратился к началу книги и после первых же четверостиший сказал с воодушевлением:

— Вот это то, что мне нужно! Я это давно ищу! Вот это будет песней!

— Какая же это песня? — усомнился я. — Из этого песни не получится.

Он только отмахнулся:

— А, ты ничего не понимаешь! — И начал ходить по комнате, громко читая стихи, и вставлял время от времени: — Это то, что мне нужно!

А я, сидя в кресле, смотрел на него, счастливо улыбаясь, но ни секунды не верил, что из этого выйдет голк.

— Только надо сократить, — сказал он строго, — оставить максимум восемь строф. Максимально! И то много, нужно бы шесть!..

В стихотворении было двенадцать четверостиший. Я запротестовал: выбросить половину невозможно.

— Хорошо, пусть останется восемь.

Сокращение, перестановка некоторых оставшихся строф и замена двух, непесенных, по мнению Бернеса, строчек — все это заняло не меньше месяца.

Между прочим, Евг. Евтушенко, напечатавший в журнале «Советский экран» статью о Бернесе, ошибается, говоря, что строка «Это чудо великое — дети» предложена Бернесом вместо моей: «Доброта человечества — дети». Нет, у меня с самого начала и в газете и в книге было: «Это чудо великое — дети», — но, возможно, Марк в процессе работы предлагал именно: «Доброта человечества — дети», — но изменение было отвергнуто, как многие другие варианты.

Наконец стихи приняли вид, удовлетворяющий артиста.

Назвал он их «Баллада о жизни». Так песня даже именовалась на первых пластинках и лишь спустя время как бы уже сама собой получила название по первой строке.

Бернес стал заказывать музыку. Он заказывал ее поочередно нескольким известным композиторам. Уговор был джентльменский: Бернес предоставляет стихи, композитор пишет музыку только для Бернеса (если песня отвергается певцом, то и композитор нигде ее не использует).

Мне кажется, что композиторы, так же как и я,



Последний снимок Марка Бернеса.

с самого начала не верили в возможность появления и удачи песни с такими непесенными словами, они воспринимали этот заказ как некий каприз артиста, их друга, и, когда он отвергал попытки одного за другим, они не слишком обижались.

Однако, остерегаясь, как бы кто-нибудь не пустил забракованную песню в дело, он в концертах просто читал эти стихи под рояль, под тихую классическую музыку, желая показать, что эта вещь из его личного репертуара.

Однажды Бернес позвонил и пригласил меня прослушать еще одного композитора. Я приехал. Вошел совершенно незнакомый человек моих лет, чуть старше, я услышал совершенно незнакомую фамилию: Колмановский.

Человек сел к инструменту и сыграл... нечто элеческое, медлительное.

— Нет, — сказал Бернес с привычным уже вздохом, — не то, не годится.

А недели через две он позвонил и возбужденно закричал в трубку:

— Написал! Грандиозно! То, что нужно!

— Кто написал?

— Колмановский. Тот самый.

Так появилась песня. Бернес пел ее в каждом своем концерте, за ним взялись другие, «голосовые» певцы. Но я еще не верил, что это действительно песня. Даже в книге 1959 года я перепечатал эти стихи в старой редакции (все двенадцать строф), и лишь в последующих изданиях она уже выходила в песенном варианте, который стал окончательным. А чуть ниже заголовка появилось посвящение — М. Бернесу.

Благодарен я Марку и за то, что он таким образом свел меня с Колмановским. Мы тоже стали друзьями и написали впоследствии немало песен.

Я столь подробно останавливаюсь на истории создания этой песни, чтобы показать, каким еще од-

ним, поистине редкостным даром обладал Марк Бернес, часто становясь как бы соавтором поэта и композитора. Он организовывал песню, давал идею, тему, мысль, его заказы — это почти заготовки. Он разыскивал, открывал в книгах стихи будущих песен. Он всегда с удивлявшей даже специалистов точностью угадывал, знал заранее то, что будет петься. Нужно было бы более по-хозяйски использовать эти его уникальные свойства: скажем, поручить ему руководство какой-нибудь эстрадной студией или мастерской. Если бы не он, в природе просто не существовало бы таких песен, как «Когда поет далекий друг», «Если бы парни всей земли», «Москвичи» («Сергея с Малой Бронной»), «Я люблю тебя, жизнь!», «Хотят ли русские войны», «Я улыбаюсь тебе», «Все еще впереди», и многих других.

Так появилась и ставшая прощальной, как будто специально для этого написанная, высокая и щемящая песня «Журавли» (слова Р. Гамзатова, перевод Н. Гребнева).

...Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

За полтора месяца до конца и за несколько дней до больницы, откуда он уже не вышел, превозмогая чудовищную боль, он поднялся с постели, поехал на студию грамзаписи и спел, записал последнюю свою песню.

— Как? — не поверил я. — Записал песню?

Он ответил очень тихо:

— По-моему, получилось...

Кто еще позвонит мне и скажет: «Есть грандиозная тема!» или «Ну, когда мы что-нибудь сделаем?»

Он спел еще несколько своих песен: «Солдаты», «Я спешу, извините меня», «Тополя» («Там тополя сажали мы с тобою») — во всех трех музыка Я. Френкеля, — но это были уже готовые, хотя и ему впервые предложенные песни. А именно для него так я ничего и не написал.

Как известно, у него не было «певческого» голоса. Он не знал нот и не обладал вопреки мнению многих тонкой музыкальностью. Но ведь он в буквальном смысле покорял слушателей. Каким же образом? За счет точнейшего художественного вкуса и такта, завидной артистичности, сугубо бернесовского обаяния, за счет самой неповторимости его личности и облика.

Уж он-то знал свою задачу, свой маневр. И он всегда еще помнил о сверхзадаче. Он знал, что ему нужно, потому что он знал то, что нужно людям.

Удивительно, что в течение многих лет обладающие красивыми, прекрасными голосами певцы и певицы (а такие у нас, разумеется, есть) не пели поистине народную песню «Враги сожгли родную хату». А он, «микрофонный певец», запел эту великую песню, и народ с живейшей благодарностью откликнулся на это.

Как он умел радоваться жизни, как любил, чтобы

все делалось на совесть, не жалел в работе себя и других! Говорили, что он бывал труден в общении. Да, он был требователен, придирчив к себе и людям, не терпел и презирал людей необязательных, выполняющих свое дело как попало. Допускаю, что иногда он и ошибался.

У него была страстная любовь к технике: к проигрывателям, магнитофонам, приемникам. Все это у него было высшего уровня, соответственно содержалось и работало; он и здесь органически не выносил никаких побрякушек и халтуры. И автомобиль был у него всегда в лучшем виде. Именно он впервые с нанвья гордостью продемонстрировал мне опрыскиватель — фонтанчики, моющие на ходу ветровое стекло. Из одной зарубежной поездки он привез мелодичную, звучную итальянскую сирену и установил на своей машине вместе с нашим сигналом. Иногда он пускал ее в ход и радовался, как ребенок, когда разом озирались по сторонам изумленные водители.

Давно ли, кажется, мчались мы с ним по Рублевскому шоссе в сумерках среди сосен и забеленных туманом полей, и всякий раз, как попадалась на обочине дачная компания, он сигналил, вполне удовлетворенный производимым эффектом.

Марк Бернес обладал колоссальным диапазоном признания. Он доставлял одинаковое наслаждение людям различной степени образования, культуры, душевной организации.

Это певец не только того, нашего, военного поколения. Помню Дворец в Лужниках. Концерт после съезда комсомола. Он взмахивает рукой, и 15 тысяч голосов грохочут вслед за ним: «Парни, парни!» — а потом зал долго не отпускает его.

С уходом Бернеса уходит многое. Эта потеря из тех, которые навсегда.

Когда я последний раз навещал его дома, он лежал на диване, а прислоненная к стене, стояла на серванте незнакомая мне его фотография. Оказалось, что приезжали снять его для «Кругозора», и он поднялся и надел пиджак.

Он смотрел со снимка живыми, пожалуй, даже веселыми глазами.

— Удачный снимок, — сказал я.

— Это последний, — ответил он спокойно и еще пояснил: — Больше не будет.

— Да брось ты глупости! — возмущался я и произнес еще какие-то слова.

Он промолчал: он знал лучше.

О безнадежно больных говорят: «Он приговорен». Но ведь этот приговор неправый.

У нас существуют Госфильмофонд и Фонд Всесоюзного радио. Находящиеся там киноплёнки или магнитофонные ленты должны по замыслу храниться вечно. Однако хранение в фонде само по себе еще не предполагает защиты от забвения. Выносят на свет, в жизнь далеко не все!

Мы еще не раз увидим его изображение и услышим его голос. Но, увы, мы увидим и услышим лишь то, что уже видели и слышали.



НАВСТРЕЧУ СУДЬБЕ



Этот рассказ — о молодом Энгельсе. 150 лет исполнилось со дня его рождения. Академические солиднейшие издания запечатлели его гигантский вклад в революционную науку и практику. Десятилетия упрочили в нашем сознании облик человека зрелого, уверенного в правоте избранного дела.

Тем интереснее приобщиться к юности великого мыслителя и борца, ибо не было в ней ничего от спокойствия, ибо долго пыталась косная среда «обуздать», выкроить по своей мерке юношу Фридриха. И как поучительно сопротивление его «я», как знаменательна его борьба с мифами религии, мещанскими мерками, буржуазными стандартами!

Марксизм упрекали иногда в том, что он якобы делает человека песчинкой в железных объятиях необходимости. Нет ничего пошлее такой

«критики». Марксист настаивает на активной, всеодолевающей человеческой деятельности, деятельности во имя человека, во имя его духовной свободы, его счастья. Именно к ней и была устремлена жизнь юного Энгельса. Внешне это была жизнь будущего наследника богатств, накопленных его предприимчивыми предками. Внутренне она была закалена борьбой, принимавшей порой весьма мучительный характер.

Об этих двух сторонах жизни юного Фридриха, постоянно перекрещивавшихся, и пойдет речь ниже. Ее поведут документы. Они в основном взяты из подготовленного Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС к юбилею Энгельса 41-го тома Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. Некоторые из документов приводятся на русском языке впервые. В тексте — рисунки Фридриха Энгельса.

ВУППЕРТАЛЬ¹

Начало

(Из свидетельства о рождении Фридриха Энгельса №, 659)

«В тысяча восемьсот двадцатом году, пятого декабря, в три с половиной часа пополудни предо мною, Петром Вихельгаузенем, уполномоченным барменской общины, явился купец г-н Фридрих Энгельс,

имеющий местожительство в Брухер Ротте, с заявлением, что во вторник двадцать восьмого числа ноября месяца, в девять часов вечера у него от его супруги Элизабет Франциски Маврикий, урожденной Ван Харар, родился ребенок мужского пола, которому он дал имя Фридрих».

¹ Вупперталь — название местности, где расположены родной город Энгельса — Бармен и соседний с ним город Эльберфельд.

Наследник. Радости и надежды

(Энгельс-отец. Письмо родственнику
Карлу Снетлагс)

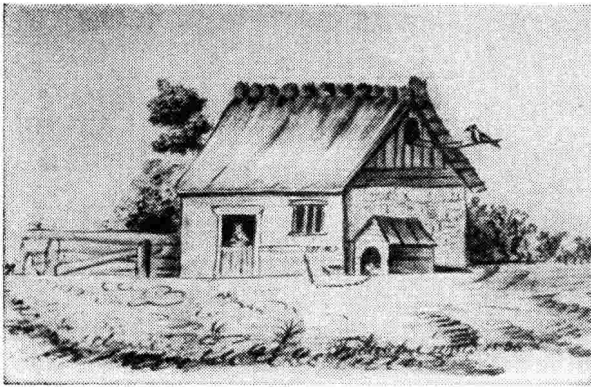
1 декабря 1820 г.

«Радуйся со мной, горячо любимый Карл! Милосердный бог услышал мою молитву и в прошлый вторник... подарил нам ребенка, и притом здорового, крепко сложенного мальчика... Милосердный бог..., будь и к ребенку таким же милосердным богом и отцом, каким ты был раньше для меня, и дай нам со временем испытать перед твоим престолом еще радость от этого рождения. Дай нам также мудрость хорошо и в страхе перед тобой воспитать его и научить его на нашем примере добру! Теперь это моя ежедневная молитва».

«Сто образцов прекрасных...»

(Из стихотворения юности Энгельса 1836 г.)

«Сто образцов прекрасных
Зовут издадека —
Так звезды свет свой ясный
Нам шлют сквозь облака.
Они все ближе, ближе —
Вот храбрый Телль-стрелок,
Вот Зигфрид, что дракона
В бою осилить смог.
А вот и гордый Фауст,
Ахилл идет вперед,
Готфрид Бульонский славный
В бой рыцарей зовет.
А вот — не смейтесь, братья —
И Дон-Кихот герой
На скакуне отважном
Везде вступает в бой».



Первые опасения

(Энгельс-отец. Письмо к жене)
27 августа 1835 г.

«Фридрих принес на прошлой неделе посредственные оценки. Внешне он, как ты знаешь, стал благовоспитаннее, но, несмотря на прежние строгие взыскания, он, кажется, даже из страха перед наказанием не хочет научиться беспрекословному повиновению. Так, я, к моему огорчению, опять нашел сегодня в его секретере мерзкую книгу из библиотеки, рыцарский роман из жизни тринадцатого столетия. Поразительна беззаботность, с которой он оставляет в своем шкафу подобные книги. Да сохранит господь его душу, мне часто страшно за этого в общем-то превосходного мальчика... Да защитит всеблагой

господь мальчика, чтобы его душа не погибла. Пока что в нем развиваются вызывающие беспокойство рассеянность и отсутствие характера, при всем том, что его другие качества меня радуют».

Эльберфельдская гимназия

(Из выпускного свидетельства № 713 —
сентябрь 1837 г.)

«...Отличался весьма хорошим поведением, а именно обращал на себя внимание своих учителей скромностью, искренностью и сердечностью, и при хороших способностях обнаружил похвальное стремление получить как можно более обширное научное образование... Письменные работы, особенно за последний год, свидетельствуют об отрядных успехах в отношении общего развития; в них содержались и самостоятельные мысли, и в большинстве случаев они были изложены в надлежащем порядке; изложение отличалось необходимой основательностью, и выражение мыслей заметно приближалось к правильному. Энгельс проявил похвальный интерес к истории немецкой национальной литературы и к чтению немецких классиков».

«Так проходит их жизнь»

(Из первой опубликованной статьи Фридриха Энгельса «Письма из Вуппертала» — о жизни в Бармене и Эльберфельде)

«...Каждый вечер по улицам слоняются веселые гуляки, горланят свои песни, но это самые пошлые, непристойные песни, которые когда-либо срывались с пьяных уст... Все кабаки переполнены, особенно в субботу и воскресенье, а вечером, к одиннадцати часам, когда их запирают, пьяные толпами вываливаются из кабаков и вытрезвляются большей частью в придорожной канаве... Причины такого рода явления совершенно ясны. Прежде всего этому сильно способствует фабричный труд».

«...В одном Эльберфельде из 2 500 детей школьного возраста 1 200 лишены возможности учиться и растут на фабриках — только для того, чтобы фабриканту не приходилось платить взрослому рабочему, которого они заменяют, вдвое против той заработной платы, какую он дает малолетнему. Но у богатых фабрикантов эластичная совесть, и оттого, что зачехнет одним ребенком больше или меньше, душа пиетиста еще не попадет в ад, тем более если эта душа каждое воскресенье по два раза бывает в церкви».

«Образования — ни малейшего; тот, кто играет в вист или на бильярде, умеет немного рассуждать о политике и сказать удачный комплимент, считается в Бармене и Эльберфельде образованным человеком. Ужасающий образ жизни ведут эти люди и, однако, чувствуют себя превосходно; днем они с головой уходят в свои торговые счета, погружаясь в них с такой страстностью и интересом, что и поверить трудно; вечером в определенный час все собираются компаниями и проводят время за картами, рассуждая о политике, курят и, как только часы пробьют девять, возвращаются домой. Так проходит их жизнь изо дня в день, без всяких изменений, и горе тому, кто нарушит этот уклад, он может быть уверен, что во всех лучших домах к нему отнесутся самым немилостивым образом».

«И у тебя есть родина...»

(Из статьи Фридриха Энгельса)

«...Ты не родился в Вуппертале, ты никогда, быть может, не поднимался на его горы и не видел у своих ног обоих городов, но ведь у тебя есть родина, и, быть может, излив свой гнев на все ее недостатки, ты возвращаешься с такой же любовью, как и я, к самым незначительным чертам, в которых она проявляется».

БРЕМЕН

Окончить гимназию Фридриху так и не удалось. Отец, став в 1837 г. владельцем бумагопрядильной фабрики, решил сразу бросить наследника в дело, не без основания опасаясь, что в случае окончания гимназии сын изберет поприще, весьма далекое от фабричного дела. Осенью 1837 года учеба Фридриха прерывается, и он в течение ряда месяцев «проходит курс обучения» в конторе отца. В июле 1838 г. Энгельс-старший отправляет сына в Бремен для получения практических познаний в торговом деле. Два года восемь месяцев находился Фридрих в Бремене, освобожденный от родительской опеки. Жил в доме одного бременского пастора, работал в конторе фирмы, занимавшейся экспортом тканей и других товаров.

Контора...

(Из писем Фридриха младшей сестре Марии)

«Радуйся, что тебе не приходится заниматься ящиками с образцами! Это бессмыслица и нелепость высшего класса: приходится целый день стоять на полу пакгауза у открытого окна в такой холод и упаковывать полотно. Это что-то ужасное, и, в конце концов, из этого ничего путного не выходит».



«За то время пока я здесь, я уже переписал 40 страниц... 40 страниц в книгу огромного формата для снятия копий. Вот передо мной уже опять лежит письмо в Балтимору...»

«Столь же глубоко уважающий, сколь и преданный» — таковы были последние слова делового письма, которым я сегодня закончил свою работу в конторе...»

«В нашей конторе ввели существенное усовершенствование. Раньше было уж очень тоскливо после еды сразу садиться за конторку, когда тобой овладевает такая лень, и вот, чтобы устранить такое неудоб-

ство, мы повесили на балконе пакгауза два прекрасных гамака, в которых мы после обеда раскачиваемся, куря сигару, а иногда и подремлем».

«Вчера вечером не было больше никакой работы, старик ушел, и Вильгельм Лейпольд тоже почти не показывался. Итак, я закурил свою сигару, написал сначала вышеизложенное письмо тебе, затем достал из конторки «Фауста» Ленау и немного почитал. Затем я выпил одну бутылку пива и в половине восьмого пошел к Роту... В половине одиннадцатого я ушел домой, читал «Граматику романских языков» Дица, пока мне не захотелось спать. Вдобавок, завтра опять воскресенье, а в среду в Бремене день покаяния и молитв, и так мы понемногу протянем до зимы».

...И вне конторы

(Из писем)

«Теперь я каждое воскресенье выезжаю вместе с Р. Ротом верхом в дальний путь. В прошлый понедельник мы были в Вегезаке и Блюментале, а когда мы как раз намеревались осмотреть знаменитую Бременскую Швейцарию... вдруг поднялось огромное, как туча, облако пыли, и через 5 минут стало почти совершенно темно, так что нам вовсе не удалось полюбоваться так называемым прекрасным видом».

«Время для верховой езды, к сожалению, уже кончилось, и поэтому я по воскресеньям большей частью сижу дома, но я и дома тоже получаю массу удовольствий: то я прошу мне что-нибудь сыграть или спеть, то пишу, а вечером занимаюсь всякой чепухой...»

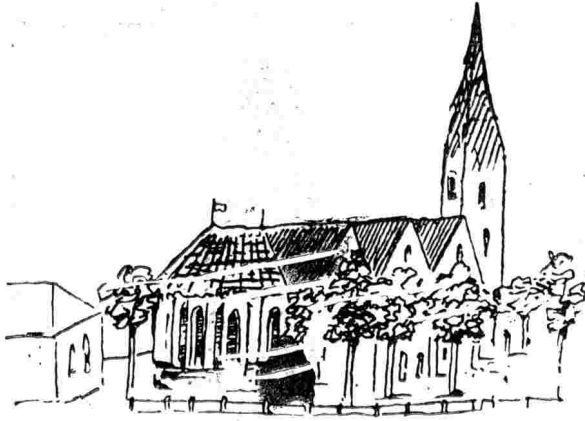
«Я побывал на судах, на которых эмигрантов возят в Америку. Они скучены на средней палубе. Это обширное помещение... в нем расставлены койки... по шесть штук в ряд, и над ними еще по шесть штук. Так они все лежат — мужчины, женщины и дети, и ты можешь себе представить, как ужасно это душное помещение, где часто набивается до 200 человек, в особенности в первые дни, когда начинается морская болезнь. Там воздух такой, что можно задохнуться».

«Я только что вернулся с парада, который каждый день происходит на Соборной площади. Здесь занимается строевой подготовкой великая ганзейская армия, в которой числится примерно 40 солдат, 25 музыкантов, а также 6 или 8 офицеров; если не считать тамбурмажора, у всех в сумме такие же усы, как у одного прусского гусара».

«На днях, с 28 по 30 июля, мы праздновали годовщину июльской революции, которая произошла в Париже десять лет тому назад. Один вечер мы провели в погребке ратуши, а остальные — в любимом кабаке Рихарда Рота».

«Сегодня 9 градусов мороза, вот это жизнь! Я ничего так не люблю, как это холодное, бездеятельное солнце, которое восходит над твердой зимней землей. Ни облачка на небе, никакой грязи на земле, все твердо и крепко, как сталь и алмаз. Воздух не такой вялый и чахоточный, как летом. Сейчас, по крайней мере, чувствуешь его, когда выходишь на улицу. Весь город покрылся льдом, люди больше не ходят, они падают из одной улицы на другую. Теперь можно почувствовать, что действительно наступила зима».

«Посмотрела бы ты утром, когда на рынке много народу, какие замечательные наряды у здешних



крестьянок. Особенно живописны шапки и соломенные шляпы. Если мне удастся как-нибудь спокойно понаблюдать за какой-нибудь женщиной, то я попробую сделать набросок и pošлю тебе. Девушки носят малюсенькие красные шапочки, на самых косах, а старые женщины — большие чепцы с крыльями, которые плоско лежат на голове и свисают на лицо, или большие бархатные капоры, отделанные спереди оборками из черных кружев. Это выглядит так своеобразно.

Автопортрет

(Из статьи Фридриха Энгельса)

«Уроженец Рейна по своей натуре настоящий сангвиник; его кровь так легко переливается по жилам, как свежее бродячее вино, и глаза его всегда быстро и весело смотрят на окружающий мир. Он среди немцев счастливец, которому мир всегда представляется прекраснее и жизнь радостнее, чем остальным... Этот веселый нрав сохранит ему еще надолго молодость...»

Душа, открытая жизни

(Из писем и статей)

«...Теперь я занимаюсь композицией, а именно сочиняю хоралы. Однако это чрезвычайно трудно: такты, дизезы и аккорды доставляют много хлопот. До сих пор я еще не очень далеко ушел...»

«Ты знаешь, сочинять музыку — это трудная штука, здесь надо обращать внимание на столько разных вещей, на гармонию аккордов, на правильное применение контрапункта, все это требует большого труда. Но я постараюсь в ближайшее время прислать тебе еще кое-что. Я занят теперь сочинением нового хорала».

«Сегодня, в среду, 10 марта, ты не сможешь слушать симфонию с-moll Бетховена¹, а я смогу. Эта симфония, да еще Героическая — мои любимые произведения... Я буду ее слушать не в переложении для рояля, а в исполнении полного оркестра».

11 марта. Вот это симфония была вчера вечером! Если ты не знаешь этой великолепной вещи, то ты в своей жизни вообще еще ничего не слышала. Эта

¹ Имеется в виду Пятая симфония.

полная отчаяния скорбь в первой части, эта элегическая грусть, эта нежная жалоба любви в адажио и эта мощная, юная радость свободы, выраженная звучными тромбонами в третьей и четвертой частях!»

«Послезавтра мы будем исполнять (в певческой академии.— Я. Р.) «Павла» Мендельсона, лучшую ораторию, которая была написана после смерти Генделя. Ты, вероятно, ее знаешь. В театре я бываю очень редко, так как здешний театр — это один стыд, и только изредка, когда дают новую пьесу или хорошую оперу, которой я еще не знаю, я в нем бываю».

«В настоящий момент я как раз нахожусь в Союзе (конторских служащих.— Я. Р.)... Лучшее, что здесь имеется, это множество газет — голландские, английские, американские, французские, немецкие, турецкие и японские. Пользуясь случаем, я изучил турецкий и японский языки...»

«На днях я купался и попросил одного парня плыть за мной в лодке; я без остановки четыре раза переплыл Везер».

«Я теперь яростно фехтую и смогу в скором времени зарубить всех вас. За последние месяцы у меня здесь были две дуэли: первый противник взял назад оскорбительные слова («глупый мальчишка»), которые он мне проворчал после того, как я дал ему пощечину, и пощечина остается еще неотомщенной; со вторым я дрался вчера и сделал ему занятную насечку на лбу, ровнехонько сверху вниз, великолепно приму».

«Нечего сказать, хороша опора отечества — молодежь, которая, подобно бешеной собаке, боится холодной воды, кутается в три-четыре одеяния при малейшем морозе и считает для себя честью освободиться по слабосилию от военной службы!»

«Я в совершенно сентиментальном настроении, дело скверное. Я остаюсь здесь, остаюсь без всякой компании... Сегодня пирушка, завтра скучища, послезавтра уезжает Торстрик..., затем два веселых дня, а потом — одинокая, ужасная зима. Ни с кем из здешних нельзя пображничать, все они — филистеры, я сижу со своим запасом еще уцелевших в памяти студенческих песен, с задатками забуддыгистудиозуса, один в большой пустыне, без собутыльников, без любви, без веселья, один с табаком, пивом и двумя не способными к бражничанью знакомыми».

«Я сам пробую себе дорогу»

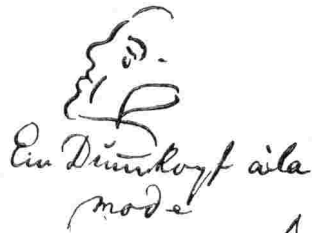
В Бремене Фридрих с пылом бросается в литературу, некоторое время видит в ней свое призвание. Он пишет множество стихотворений, очерков, критических статей. Примерно 30 из них он публикует на страницах различных газет и журналов. Особенно близко он сходится с литературным направлением «Молодая Германия», одним из лидеров которого был Карл Гуцков.

(Из бременских писем и литературных работ молодого Энгельса)

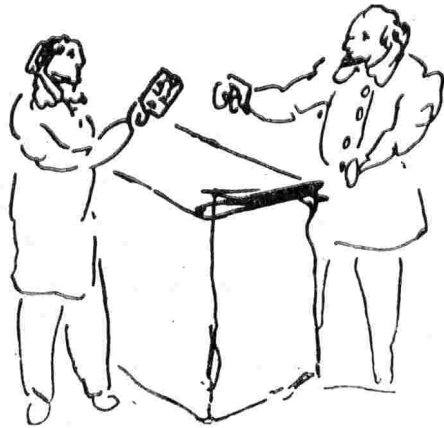
«Я усиленно занимаюсь литературными работами, — получив от Гуцкова заверение, что ему желательно мое сотрудничество, я ему послал статью о К. Беке; кроме того я пишу много стихов, которые, однако, нуждаются в тщательной отделке, и рабо-



Ein Ymnir äla mode



Ein Dünkelopf äla mode



таю над различными прозаическими вещами для выработки стиля».

«Необычайной поэтической прелестью обладают для меня эти старые народные книги, с их старинной речью, с их опечатками и плохими гравюрами. Они уносят меня от наших запутанных современных «порядков, неурядиц и утонченных взаимоотношений» в мир, который гораздо ближе к природе».

«У молодой литературы есть оружие, которое делает ее непобедимой и собирает под ее знаменами все молодые таланты, — я имею в виду современный стиль. Его жизненная конкретность, острота выражения, многообразие оттенков дают каждому молодому писателю поле для свободного развития своего гения — будь то поток или ручей — во всем его своеобразии, если таковое у него имеется, без чрезмерной примеси чужеродных элементов...»

«Зигфрид — представитель немецкого юношества. Все мы, у кого бьется в груди еще не укрощенное трудностями жизни сердце, все мы знаем, что это значит. Все мы чувствуем ту же жажду подвига, тот же бунт против старинных обычаев, которые заставили Зигфрида покинуть замок его отца; нам глубоко противны вечные колебания, филистерский страх перед смелым деянием, мы хотим вырваться на простор свободного мира, мы хотим пренебречь осторожностью и бороться за венец жизни — подвиг... Но время уже не то; нас запирают в темницы, называемые школами, где, вместо того чтобы сражаться, мы должны точно в насмешку спрятать во всех наклонениях и временах греческий глагол «сражаться...»

«...Наше будущее зависит, больше чем когда бы то ни было, от подрастающего поколения, ибо ему придется разрешать все более возрастающие противоречия. Правда, старики страшно жалуются на молодежь, и действительно, она очень непослушна; но пусть молодежь идет своим путем; она найдет свою дорогу, а вот кто заблудится, будет сам виноват в этом. Ведь пробным камнем для молодежи служит новая философия; требуется упорным трудом овладеть ею, не теряя в то же время молодого энтузиазма... Будем же... бороться за свободу, пока мы молоды и полны пламенной силы: кто знает, окажемся ли мы еще способными на это, когда к нам подкрадется старость!»

(Из стихотворения «Вечер»)

«Когда же солнце новое взойдет
И старый мир повернется в руины?
Мы созерцали старых солнц восход,
Надолго ль ночь окутала долины?
Унылый месяц смотрит на поля,
Туманы на холмах лежат седые;
В туманах спит усталая земля.
Мы бодрствуем, но ходим, как слепые,
Но тучи, скрывшие небесный свод,
Уже спугнул восход зари веселой;
Туманы, ускользающие в доли, —
Лишь побежденных духов хоровод.»

*(Из трагикомедии Фридриха Энгельса
«Неуязвимый Зигфрид»)*

Когда поток стремится с гор,
Один, шумя, победоносный,
Пред ним со стоном гнутся сосны,
Он сам выходит на простор:
Так, уподобившись потоку,
Я сам пробью себе дорогу!»

(Из писем грузьям)

«Я не только пишу вам больше, чем вы того заслуживаете, не только основательно знакоюсь со

всей мировой литературой, я втихомолку воздвигаю себе из новелл и стихов памятник славы, который... озарит своим ярким, юным блеском все немецкие государства, за исключением Австрии».

«С каждым днем я все более отчаиваюсь в своей поэзии и ее творческой силе, особенно с тех пор, как прочел у Гёте обе статьи «Молодым поэтам», в которых я обрисован так верно, как это только возможно; из них мне стало ясно, что мое рифмоплетство не имеет никакой цены для искусства...»

«В поисках великой мысли...»

(Из писем Фридриха к гимназическим грузьям — братьям Греберам, студентам-теологам, будущим пасторам)

«Я теперь очень много занимаюсь философией и критической теологией. Когда тебе 18 лет... то следует или читать все, не задумываясь ни над чем, или же начать сомневаться в своей вуппертальской вере. Я не понимаю, как ортодоксальные священники могут быть столь ортодоксальны, когда в Библии встречаются такие явные противоречия... Но в милом Бармене об этом не говорят ни звука, там обучают по совершенно другим принципам. И на чем основывается старая ортодоксия? Ни на чем больше, как только на рутине.»

«В моей груди постоянное брожение и кипение, в моей... голове непрерывное горение; я томлюсь в поисках великой мысли, которая очистит от мути то, что бродит в моей душе, и превратит жар в яркое пламя.»

«Я ни за что не могу... поверить, что рационалист, который от всего сердца стремится творить добро сколько в его силах, должен быть осужден на вечные муки.»

«Я тебе только скажу напрямик: теперь я пришел к тому, что божественным можно считать лишь то учение, которое может выдержать критику разума. Кто дает нам право слепо верить Библии? Только авторитет тех, кто поступал так до нас... И мы обязаны, вопреки нашему разуму, верить ей только потому, что нам это говорят наши родители?.. Я знаю, что наживу себе этим величайшие неприятности, но от того, что диктуется мне силой убеждения, я, при всех своих стараниях, не могу избавиться... Человек родился свободным, он свободен!»

«Я молюсь ежедневно, даже почти целый день об истине; я стал так поступать с тех пор, как начал сомневаться, и все-таки я не могу вернуться к вашей вере... Я ищу истину всюду, где только надеюсь найти хоть тень ее; и все же я не могу признать вашу истину вечной. ...У меня выступают слезы на глазах, когда я пишу это, я весь охвачен волнением, но я чувствую, что не погибну; я вернусь к богу, к которому стремится все мое сердце.»

«Тебе, конечно, приятно в твоей вере, как в теплой постели, и ты не знаешь борьбы, которую нам придется проделать, когда мы, люди, должны решить, воистину ли бог есть бог или нет; ты не знаешь тяжести того бремени... старой веры, когда нужно принять решение: за или против, носить его или стряхнуть.»

«По ночам я не могу спать от всех этих идей века; когда я стою на почте и смотрю на прусский государственный герб, меня охватывает дух свободы; каждый раз, когда я заглядываю в какой-нибудь журнал, я слежу за успехами свободы; эти идеи прокра-

дываются в мои поэмы и издеваются над обскурантами в клобуках и горностае».

«Я ненавижу его (прусского короля Фридриха Вильгельма III — Я. Р.) так, как кроме него ненавижу, может быть, только еще двоих или троих; я смертельно ненавижу его; и если бы я не презирал до такой степени этого подлеца, то ненавижу бы его еще больше. ...От государя я жду чего-либо хорошего только тогда, когда у него гудит в голове от пощечин, которые он получил от народа, и когда стекла в его дворце выбиты булыжником революции».

«Все теперь устремляются к новой школе, воздвигая дома, дворцы или хижины на фундаменте великих идей времени. Все остальное идет прахом, сентиментальные песенки затихают неслышанными, и звонкий охотничий рог ждет охотника, который протрубит сигнал к охоте на тиранов... На горах полыхают горящие замки, троны шатаются, алтари дрожат, и если воззовет господь в грозу и бурю: вперед, вперед, — то кто осмелится сопротивляться нам?»

«Не тебе бы, ночному колпаку в политике, хулить мои политические убеждения. Если оставить тебя в покое в твоём сельском приходе — высшей цели ты себе, конечно, и не ставишь — и дать возможность мирно прогуливаться каждый вечер с госпожой попадшей и несколькими молодыми поповичами, чтобы никакая напасть тебя не коснулась, то ты будешь утопать в блаженстве и не станешь думать о злодее Ф. Энгельсе, который выступает с рассуждениями против существующего порядка. Эх, вы, герои! Но вы будете все же вовлечены в политику; поток времени затопит ваше идиллическое царство, и тогда вы окажетесь в тупике. Деятельность, жизнь, юношеское мужество — вот в чем истинный смысл!»

После Бремена Фридрих провел некоторое время в родном Бармене.

(Из писем сестре Марии)

«...Здесь довольно скучно, если не считать, что время от времени выручает какой-нибудь ужин, к которому подается немного пунша, или студенческая пирушка с пивом, попойка в кабаке или дождь».

«...Здесь нет никаких происшествий. Свадьбы, визиты, ну что ж, я туда хожу, ем и пью там... Я почти целый день сижу наверху, у себя в комнате, читаю и дымлю, как паровозная труба, занимаюсь фехтованием так, что клинки трещат, и забавляюсь как умею... В остальном ничего не движется вперед, наоборот, все идет назад».

БЕРЛИН

Осенью 1841 г. Фридрих приезжает в Берлин. Здесь он должен был прослужить год в артиллерийской бригаде в качестве вольноопределяющегося.

(Военный аттестат о поведении Фридриха Энгельса)

«Предъявитель сего, вольноопределяющийся годичного срока службы бомбардир Фридрих Энгельс, 12-й роты, гвардейской бригады тяжелой артиллерии, родом из Бармена, район Эльберфельд, правительственный округ Дюссельдорф, в возрасте 21 года 10 месяцев, прослуживший один год, проявил себя в течение срока службы весьма хорошо как в мораль-



ном, так и в служебном отношении, что сим по долгу службы удостоверяет

фон Ведель,
капитан, командир роты.

Берлин, 8 октября 1842 г.».

(Из писем сестре Марии)

«...Я скоро буду бомбардиром, это вид унтер-офицера, и получу золотой галун на обшлагах. Итак, проникни должным уважением ко мне. Ведь когда я буду бомбардиром, то получу право распоряжаться всеми рядовыми во всей прусской армии и все рядовые должны будут отдавать мне честь».

«Сегодня я могу сообщить тебе радостную новость, что у нас завтра, вероятно, парада не будет, так как его величество король (Фридрих Вильгельм IV. — Я. Р.) высочайше соизволил направиться в Потсдам и Бранденбург. Это мне очень приятно, так как я не имею никакого желания бегать завтра по этой проклятой дворцовой площади. Надеюсь, что благодаря этому мы вообще обойдемся без всякого парада».

«...У нас проводятся очень милые учения на так называемом Грюцмахере, очень большой площади, на которой мы по колена погружаемся в песок...»

«Самое замечательное то, что мы раз в 4 недели должны ходить в церковь, но я всегда от этого увиливал, кроме одного раза».

«Я на этой неделе, находясь на службе отечеству, промок не меньше четырех раз: два раза от дождя и два раза, мягко выражаясь, от транспирации¹. Теперь я хочу пойти в читальню и почитать газеты. Надеюсь, что там я не промокну в пятый раз?»

(Из берлинских писем Фридриха Энгельса)

«У меня теперь... есть собака... Это красивый молодой спаниель... Он отличается большими талантами по части закуски... Плавает он прекрасно, но слишком сумасшедший, чтобы учиться фокусам. Я научил его только одному: когда я говорю ему — «Безымянный (так его зовут), вот это аристократ», он страшно ошкетнивается на того, на кого я ему указываю, и начинает бешено рычать».

¹ От потения.



«...Г-н Лист был здесь и своей игрой на рояле очаровал всех дам. Берлинские дамы были настолько без ума от него, что на концерте форменным образом передрались из-за перчатки Листа, которую он уронил, а две сестры, из которых одна забрала перчатку у другой, навеки перессорились. Недопитую великим Листом чашку чая графиня Шлиппенбах перелила в свой флакон для одеколона, предварительно выплеснув одеколон на пол. Затем она запечатала этот флакон и поставила его на свой секретер на вечную память и каждое утро любит ее им... Такого шума еще никогда не было. Молодые дамы подрались из-за него, а он, к их ужасу, прошел мимо них и предпочел выпить шампанское в обществе нескольких студентов... Теперь он отправился в Россию; интересно, способны ли там дамы проявлять такое же безумие».

Путь выбран

В свободное от службы время Фридрих посещал Берлинский университет. Здесь он слушал лекции известного немецкого философа Шеллинга. Нападки Шеллинга на прогрессивную философию вызвали сразу же протест Фридриха. Он пишет против Шеллинга две брошюры и одну большую статью.

(Заключительные строки из брошюры «Шеллинг и откровение». Написана в Берлине в конце 1841 — начале 1842 г.)

«Пусть не будет для нас любви, выгоды, богатства, которые мы с радостью не принесли бы в жертву идее, — она воздаст нам сторицей! Будем бороться и проливать свою кровь, будем бестрепетно смотреть врагу в его жестокие глаза и сражаться до последнего вздоха! Разве вы не видите, как знамена наши развеваются на вершинах гор? Как сверкают мечи наших товарищей, как колышутся перья на их шлемах? Со всех сторон надвигается их рать, они спешат к нам из долин, они спускаются с гор с песнями, при звуках рогов. День великого решения, день битвы народов приближается, и победа будет за нами!»

(Фридрих Энгельс в ответ на предложение сотрудничать в одном из журналов — июль 1842 г.)

«Я принял решение на некоторое время совершенно отказаться от литературной деятельности и вместо этого побольше учиться. Причины этого решения очевидны. Я молод и самоучка в философии. У меня достаточно знаний для того, чтобы составить себе

определенное убеждение и, в случае надобности, отстаивать его, но недостаточно, чтобы делать это действительно с успехом... До сих пор моя литературная деятельность, взятая субъективно, сводилась исключительно к попыткам, результат которых должен был показать мне, позволяют ли мне мои природные способности плодотворно содействовать прогрессу и принимать живое участие в современном движении. Я могу быть доволен результатом и считаю теперь своим долгом путем научных занятий, которые я продолжаю с еще большим наслаждением, все более усваивать и то, что человеку не дается от рождения».

Два мнения о Фридрихе Энгельсе

1. *Немецкий демократ Арнольд Руге об авторе брошюры «Шеллинг и откровение» — 1842 г.*

«Его характер и его точка зрения по-юношески задорны, конец и начало книжки обнаруживают склонность к образному языку и молодой пыл воодушевления тем великим развитием, которое мы переживаем. В середине книги и в собственном изложении и критике положений философии Шеллинга, напротив, царит деловое спокойствие и большая ясность...».

«Этот любезный молодой человек оставил позади всех старых ослов в Берлине».

2. *Энгельс-старший о сыне (Письмо Карлу Снетлаге в Берлин — 5 октября 1842 г.)*

«Сердечно благодарен тебе за твое письмо и особенно за то, что ты сообщил мне о Фридрихе. Для меня это не было новостью, еще с детства я замечал за ним склонность к крайностям и был уверен, что, хотя он со времени своего пребывания в Бремене ничего не писал мне о своих взглядах, он не остановится на обычно принятых воззрениях. Мы еще раньше решили вести себя по отношению к нему именно так, как ты советуешь в своем письме. Я ему открыто заявляю, что из-за него, из-за его присутствия я не собираюсь ни изменять, ни скрывать свои религиозные и политические взгляды; мы будем продолжать и дальше вести наш обычный образ жизни, будем читать в его присутствии Священное писание и другие христианские сочинения. Спорить я с ним не буду, так как это приведет лишь к упрямству и озлоблению. Его исправление должно прийти свыше. При конфирмации, я знаю это определенно, его чувства отличались набожностью, и я считаю, что человек, однажды познавший своим сердцем силу слова господня, не может длительное время разделять новые пошлые системы. Однако, по всей вероятности, ему нужно будет пройти трудный путь, прежде чем он сойдет со своей гордой высоты и смиренно отдаст свое сердце в могущественные руки бога... До тех же пор будет тяжело переносить все это, иметь в доме сына, который, как паршивая овца в стаде, находится рядом и враждебно выступает против веры своего отца. Впрочем, я надеюсь, что смогу загрузить его работой, и буду с величайшей осторожностью, где бы он ни был, незаметно присматривать за ним, чтобы он не предпринимал никаких опасных действий».

Говорить об «опасных действиях» Фридриха Энгельса излишне. О них известно всему миру.

Поэтому здесь мы и оборвем документальную повесть об исканиях жизнелюбивого немецкого юноши.

Публикация Я. РОКИТЯНСКОГО.



Константин Телегин,
генерал-лейтенант

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ

Из воспоминаний
участника
боев за Перекоп



По-разному приходилось нам отмечать Октябрьские годовщины. Чаще трудовыми победами, вводом новых цехов и домен, рудников и фабрик. Но бывало, что ноябрьские, праздничные дни приходились на пору военного лихолетья. И тогда народ напрягал все силы, чтобы победой отметить годовщину своей Революции.

Вспомните. Так было в 1941-м, когда военный парад на Красной площади стал началом контрнаступления под Москвой.

Так было и пятьдесят лет назад, в 1920-м. 7 ноября начался штурм врангелевских укреплений в Крыму.

Об этом и рассказывает в своих воспоминаниях К. Ф. Телегин — военком 459-го Краснознаменного полка 51-й Перекопской имени Московского Совета, орденов Ленина, Боевого и Трудового Красного Знамени стрелковой дивизии. Не удивляйтесь длинному перечню «титолов» дивизии. Это — одно из легендарных соединений Красной Армии, дивизия Василия Блюхера, прошедшая героический путь от Сибири до Крыма, славу гражданской умножившая и в Отечественной войне.

Дни 8—15 ноября явились вершиной испытаний и славы дивизии.

Уже бои на Каховском плацдарме прославили блюхеровцев. За высокое мужество, стойкость и героизм дивизии было присвоено имя Московского Совета. 20 октября Московский Совет вручил нам знамя с надписью «Уничтожь Врангеля». Это мы восприняли как требование не только московских пролетариев, но и как приказ всего народа.

После первого же боя на плацдарме — 15 августа — Военный Совет армии отмечал: «...На 51-ю дивизию тов. Блюхера, приобретшую огромную боевую славу в борьбе с Колчаком, выпала самая трудная задача — атаковать противника в полосе по обеим сторонам большака Чаплинка — Каховка. Всякий, кто имел возможность наблюдать за ходом наступления частей дивизии, не мог не отметить исключительной доблес-

ти, проявленной сибиряками-блюхеровцами. Красноармейцы, одетые в красные рубашки, широким фронтом во весь рост и без перебежек, несмотря на губительный шрапнельный, ружейный и пулеметный огонь, ускоренным аллюром продвигались вперед и с налета овладели высотой у хутора Куликовского...»

М. В. Фрунзе отметил беспримерное мужество и героизм дивизии при отражении мощного штурма с танками 14—16 октября и ее блестящий контрудар. Все это стоило большой крови. Однако все мы прекрасно сознавали, что это не предел усилий, что главная задача не решена: банды Врангеля еще гнездятся в Таврии и в Крыму.

Каждый боец знал (из газет и по слухам), что входы в Крым через Перекоп и Чонгар сильно укреплены с помощью французских инженеров. Читали в белогвардейской газете хвастливое заявление барона Врангеля, что перекопские укрепления неприступны и их никогда не сможет преодолеть Красная Армия. Что же, тем серьезнее мы готовились.

После боев 14—16 октября, во время которых мы потеряли 12 убитыми и 188 человек ранеными, в том числе и 20 коммунистов, нам представилась возможность немного отдохнуть, принять пополнение, обучить его. Настроение поднялось и когда стало известно, что добывать Врангеля вместе с нами будет Конная Буденного...

Но зачем упрощать? Были и серьезные беда. Почти половина бойцов не имела шинелей и теплого обмундирования, треть шла в рваной обуви. Первая же ночевка в степи под Черной Долиной дала о себе знать: красноармейцы мерзли, простужались. Тяжело было смотреть на иззябшие лица боевых товарищей. Двое и трое укрывались одной шинелью. Не побоюсь громкого слова, только высокое сознание помогало в этих невзгодах.

Преодолевав сопротивление противника, 1 ноября полк вступил в село Григорьевку и начал рекогносцировку проходов по озеру Сиваш. Части 152-й и Ударно-огневой бригады, а также спешенные конники группы Житова уже трижды штурмовали перекопский вал, но, понеся тяжелые потери от пулеметного и артиллерийского огня, вынуждены были отойти. Теперь мы не только слышали, но и видели: пере-

копский «орешек» действительно крепок. Только сейчас становилось более ясным, что представляет вся совокупность обороны вала: 4 ряда проволочных заграждений перед рвом и почти столько же внутри рва. В среднем на каждые 50 метров вала станковый пулемет и на 200—250 метров одно орудие. Штурмующие подвергались обстрелу 12-дюймовой корабельной артиллерии с судов, стоящих в Каркинитском заливе. Действовать предстояло на совершенно открытой местности, просматриваемой на 8—10 километров. Так-то...

Команда пеших разведчиков и 1-й батальон 456-го полка двенадцать часов настойчиво просачивались в укрепления противника. Позади три ряда проволочных заграждений, колонна уже в 100 шагах от вала. Но впереди еще один ряд в три кола и ров, опутанный проволокой изнутри. Поддерживающие атаку артиллеристы, жертвуя собой, вырывались на открытые позиции и били прямой наводкой. Бронемашины 47-го отряда проскакивали вплотную к рову, ведя непрерывный огонь. Но шквал артиллерии и пулеметов противника преграждал путь. Снова — назад...

20 человек были посланы проделывать проходы в проволочном заграждении. Только трое вернулись.

Теперь наша очередь.

7 ноября в 23.00 после ночного марша из Григорьевки во Владимировку в полной тишине полк спустился на сырое, топкое дно Сиваша.

Задача: следуя уступом за правым флангом 458-го полка, после занятия Литовского полуострова частями 15-й и 52-й дивизий наступать на деревни Карджанай и Армянский Базар. Нанести удар в тыл перекопским позициям врага.

Впереди шел завразведкой полка А. Н. Ковалев с крестьянином-проводником из Григорьевки. Путь был разведан, обозначен маяками. Идем.

Идем на самое трудное боевое задание за всю гражданскую войну.

Надо преодолеть почти десять километров илистого и вязкого дна Сиваша, противоположный берег которого спешно укреплен.

Идем...

Густой туман может сбить с разведанного пути. Тогда — в трясину. Идем медленно, локоть к локтю. В какой-то особой, торжественной тишине.

Враг на высоком берегу, в окопах, в блиндажах. У него много пулеметов, артиллерии. Нас же будет

поддерживать только легкий дивизион кавбригады Козленкова. Мы будем наступать по ровному и илистому дну Сиваша. Не будет ни кочки, ни бугорка, ни ямки, ни кустика, за которыми можно было бы укрыться.

Идем...

Все, что могли, нам дали. Накануне полк получил сотни шинелей, ботинок, телогреек, шапок. Хватило не на всех. Тыловикам вообще ничего не дали. Но...

6 и 7 ноября — беседы и митинги. Бойцы и командиры взволнованы и единодушны: поднести дорогому Ильичу и советскому народу в день III годовщины Октября самый дорогой подарок: «Взять Перекоп, разгромить Врангеля!»

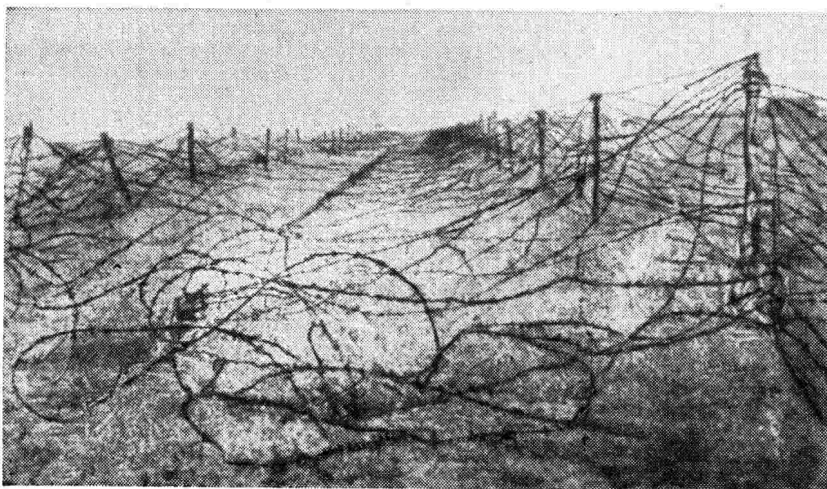
Идем...

Началось... Передовые батальоны 15-й и 52-й дивизий атаковали укрепления противника на Литовском полуострове. С каждой минутой гул боя нарастал, открыла огонь артиллерия противника. Часам к семи утра бой впереди нас начал удаляться. Значит, противник выбит с передовых позиций, пора вступать в дело и нам.

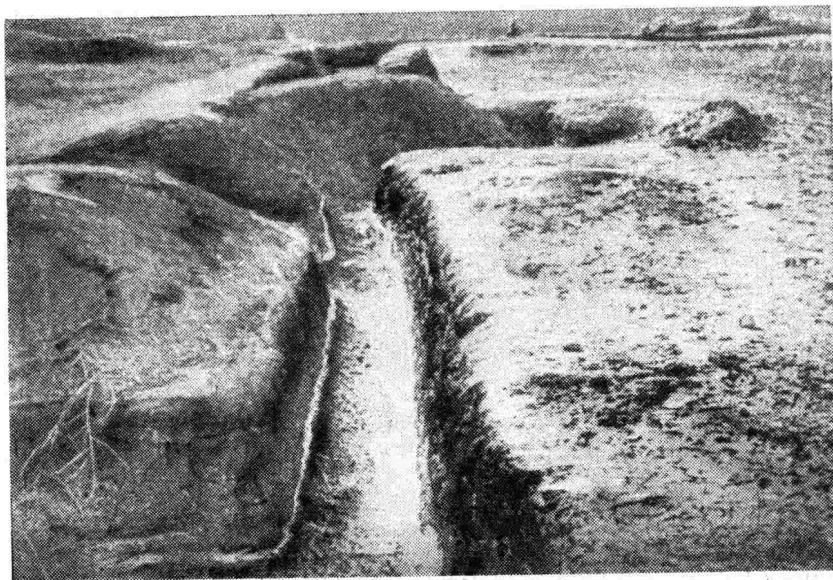
Яростный пулеметный и артиллерийский огонь говорил о том, что 458-й полк встретил сильнейшее сопротивление. Туман и медленный рассвет лишали возможности видеть, что происходит впереди... В 8 часов 20 минут командир 458-го полка сообщил, что ввязался в тяжелый бой, понес большие потери, просит срочной поддержки.

Восходящее солнце приподняло немного туманную завесу. Мы увидели: около двадцати орудий противника, установленных на высоком берегу, ведут беглый огонь по 458-му. Ближе к берегу хлещут огненные потоки пулеметов. Под этим шквалом огня перебегают и переползают вперед уже реденькие цепи остатков 458-го. Вот уже до позиций противника метров четыреста. Цель залегла. Все меньше и меньше дымков из винтовочных стволов. В одном, другом, третьем месте серовато-темные комочки начали откатываться назад.

Бегу в 1-й батальон, получивший приказ поддержать 458-й полк, энергично проталкиваю его вперед. Противник сосредоточивает огонь на нас. Появились первые убитые и раненые, но батальон энергичными перебежками рванулся вперед. Это подбодрило и остатки 458-го. Отбросили контратаку, цепь продвинулась вперед метров на двести. Снова огонь прижимает нас к грязному дну Сиваша.



Перекопский «орешек».



Последняя линия белых.

Наша легкая артиллерия кавбригады, видимо, застряла где-то на Сиваше. Большинство станковых пулеметов разбито. Расчеты выведены из строя, на исходе патроны. Подносчики не добегают до передних цепей.

Следом за 1-м батальоном бросаем в атаку 9-ю роту. Но она, не дойдя до передовой, уже теряет половину состава. Противник в контратаке. Спешно вводим в бой 8-ю роту; она не спасает положения. Но в это время — о радость! — сзади нас две батареи кавбригады Козленкова открывают беглый огонь по врангелевцам. Как на пружинах, подбросило нашу ослабевшую цепь. Отчаянная решимость у наших бойцов. Грязью и кровью залеплены лица и одежда. Яростный штыковой удар! И — первые пленные. Из 2-го полка прославленной дроздовской дивизии, одной из лучших у Врангеля!

А рано радуемся. Снова — шквал огня.

Цепь залегла. Все больше и больше бойцов безжизненно уткнулось в дно Сиваша. По грязи уползают в тыл раненые и искалеченные. Противник бьет шрапнелью, ранения в большинстве тяжелые. Гранаты впииваются глубоко в мягкое дно и там взрываются. Взрывы выбрасывают узкие конусы грязи, и она забивает глаза, рот, уши.

Назревает кризис... Противник выкатил орудия на прямую наводку, из-за гребня бугра выскочили четыре бронемашины и ведут огонь по цепи. Откатываемся.

Надо немедленно вводить в бой последнюю, 7-ю роту! Почему же медлит комполка Мясоедов? Не видит, что происходит впереди?

Разыскиваю командный пункт. Да, надо ввести в бой 7-ю роту. Этой ротой командует мой брат, Александр Телегин.

— Шура, на тебя и твоих людей вся надежда, не подкачай.

— Ладно, Костя, не подкачаем.

И Александр бегом повел роту вперед.

Но ненадолго хватило и этой роты; она таяла на глазах. Последние пулеметы вот-вот выйдут из строя. Нет воды, стволы накалились. Половина пулеметчиков выбита, боеприпасы на исходе. До берега осталось каких-то двести метров!

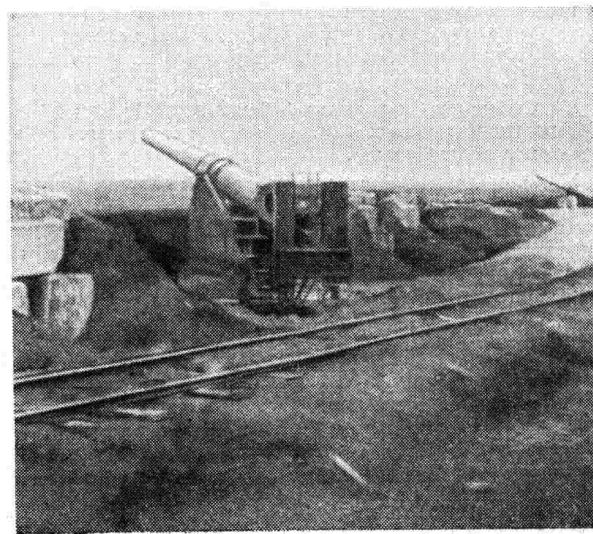
На помощь нам спешит самый последний резерв —

саперная команда со своим боевым начальником — уральским красногвардейцем Герасимом Останиным. Саперов всего двадцать девять, но это молодые, смелые бойцы. Броском преодолев передовую цепь, они увлекают за собой остальных. При содействии шести орудий кавбригады, обрушивших свой огонь на батареи противника, цепь устремилась на берег. И враг не выдержал!

Но выдохлись и мы. Закрепляемся. С огорчением узнаю, что брат Александр ранен в атаке...

К часу ночи подходит наш 2-й батальон и батальон 451-го полка. Это уже веселее. Уточнили задачи. Из бригады получили тревожную весть: на участке 15-й и 52-й дивизий Сиваш заливают вода, нагоняемая из моря восточным ветром. Тревожно...

Не подошли боеприпасы, не подвезена пища. Атаки перекопского вала не принесли решающего



Гаубицы с иностранным клеймом.



Белые «вояки» в плену.

успеха. Если не удастся взять ночью, будем отрезаны.

Короткий совет всех командиров и политработников. Решили: путь один — нанести стремительный удар на Армянский Базар, в тыл противнику на Перекопе, смять его и этим обеспечить успех штурма в лоб.

Перед рассветом до нас донеслись мощные раскаты артиллерийской канонады на Перекопе. Земля гудела и содрогалась, но что там происходит, мы не знали: связь с бригадой вновь потеряна.

Выступаем.

И вдруг, на рассвете 9 ноября — встреча с бойцами Огневой бригады. Оказалось, что выход ударной группы на Литовский полуостров, в тыл Перекопу, вселил в белых тревогу. Врангель отдал приказ об отходе на вторую линию укреплений, в междуозерье. В 3 часа 30 минут 152-я и Огневая бригады, смяв оставшийся заслон противника, штурмом овладели Перекопом. Первая и главная задача была решена.

...Получаем новый приказ: немедленно выступить в направлении хуторов Пятихатка и Тихонов, прорвать оборону противника в Карповой балке.

Без артиллерии, без ручных гранат и взрывчатки надо было проникнуть в последнее логово врага. Здесь против нас несколько рядов проволочных заграждений, с окопами полного профиля, блиндажами.

Остатки полка свели в один батальон и во главе с командиром 2-го батальона Марковым ввели в состав боевого участка под командованием помкомполка-458 Кириллова. Я назначен комиссаром этого боевого участка.

На Сиваше полк потерял 330 человек. Из них 88 — без вести пропавшие. Тяжелораненные и убитые — они ушли под воды Сиваша.

Мало, мало нас! Но ведь последний штурм. Перед хутором Тихонов враг встречает сильным пулеметным огнем. Загрохотали и разрывы артиллерийских снарядов. Прикладами, саперными лопатами рвем проволочные заграждения. Ворвались в окопы. Белые бегут на восточную сторону балки. Хутор Тихонов наш, но попытка ворваться с ходу во вторую линию окопов не удалась.

Осталось всего сто семьдесят семь человек и три станковых пулемета. В своем донесении командиру бригады мы с Кирилловым просим подкрепления, поддержки артиллерией. Но не успеваем уйти донесение, как по хутору и по цепи обрушивается ураганной силы артиллерийский огонь. Лавины Кубанского кавкорпуса скачут на наши жиденькие боевые порядки. Мы с Кирилловым сами бросаемся к пулеметчикам. Поздно. Точки наши уничтожены, боевой порядок пехоты смят. Мелкие группы порознь отхо-

дят к проволочным заграждениям, отбиваясь от нападающих белокозников.

Отстреливаясь от приближавшихся кубанцев, мы с комбатом Марковым не заметили, как проскочили в круг проволочного заграждения. Здесь белые хранили лесоматериал для строительства блиндажей. Огнем из пистолетов мы отбились от передовых кавалеристов. Кинулись обратно в проход, и тут не было бы счастья, да несчастье помогло. Впереди нас мчалась повозка с боеприпасами. У прохода в проволочном заграждении разорвался снаряд. Пара лошадей была убита, повозка опрокинулась в проход. Мы перескочили через нее в тот момент, когда белоказаки уже готовы были снести нам головы.

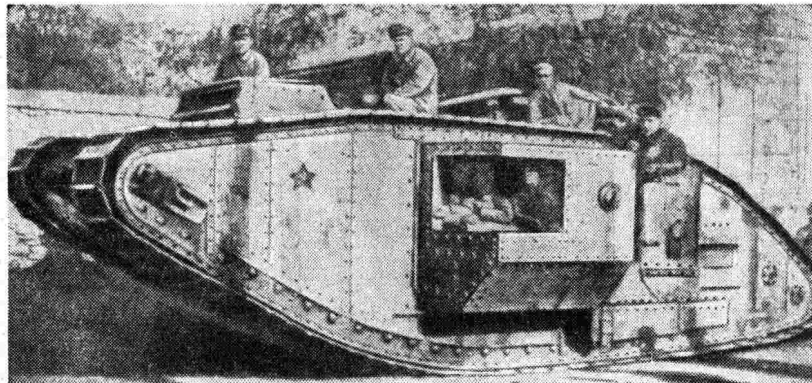
До слез горько смотреть, как откатываются к хутору Пятихатка одиночки и небольшие группы бойцов. Надо немедленно собрать их в кулак, иначе кубанцы порубают всех поодиночке. Нам с Марковым удается сбить около пятидесяти человек. Вовремя: до эскадрона кубанцев с шашками наголо уже летят на нас. Когда остается метров сто, на них обрушивается залповый огонь. И — радость! — из-за хутора Пятихатка сперва выскочил нам на помощь броневик, а затем загрохотали и выстрелы нашей батареи. Белые конники поворачивают восвояси.

К ночи 9 ноября остатки полка выведены в резерв. С командами, с возвратившимися ранеными, с теми, кому удалось бежать из плена, с небольшим пополнением, полученным из бригады, набралось свыше двухсот двадцати человек. Заново формировались роты, команды, назначались командиры и политруки. Готовились к новым боям...

Прорвав третью линию оборонительных Юшуньских позиций, 151-я, 152-я и Ударно-огневая бригады открыли путь в Крым. Ввиду тяжелых потерь дивизии и физической перенапряженности командарм решил дать дивизии отдых в районе станции Юшунь. Думал сделать для нас благо, но вызвал только бурю возмущения. Никто не хотел отдыхать, пока враг не добит.

В первом часу ночи 13 ноября подкатил к железнодорожной станции старенький «паккард» нашего начдива. Весть эта моментально облетела полк. Быстро построились. Блюхер поздоровался с полком и обратился к нам с речью:

— Дорогие мои боевые товарищи! Вы вынесли на своих плечах основную тяжесть боев под Каховкой. Вы заставили трепетать врага и бросить против вас свои лучшие силы под Серогозами. Вы совершили героическое форсирование Сиваша, своей кровью и жизнью лучших бойцов, командиров и политработников сдержали бешеный натиск врага в Карповой



Танк, отбитый у врангелевцев.

балке. И теперь, несмотря на усталость и малочисленность ваших рядов, я отдал приказ начать преследование врага до полного его уничтожения. Впереди уже части Первой и Второй конных армий; они на конях, а вы пешком. Но я верю, что вы не только не отстанете от них, но и первыми пронесете свое боевое знамя по улицам Севастополя. Я приказал вашему полку не позднее 17.00 15 ноября занять город Севастополь. Я верю, что эту задачу вы выполните с честью, как это делали и до сих пор...

По рядам пронесется:

— Выполним! Даешь Врангеля!..

Итак, задача — за два с половиной дня пройти почти 200 километров.

Сборы были недолги. Уже в 3 часа 40 минут утра 13 ноября полк выступил. Шли день и ночь, останавливаясь на два-три часа для отдыха и обеда, не встречая сопротивления противника. С утра 14 ноября начали поступать одно за другим радостные сообщения: к вечеру 13 ноября Латышская дивизия своими передовыми частями достигла Евпатории, в ночь на 14-е в город вошли броневики. 13 ноября в Симферополе образован Ревком, и передовые части Второй Конной армии вступили в город. Сегодня части 152-й бригады обогнали части Второй Конной, заняли Бахчисарай. Головные части Первой Конной, совершая форсированный марш, подходят к Симферополю...

Противник может пытаться задержать нас на вершинах горного хребта. Ставим задачу: максимально ускорить шаг, не дать противнику закрепиться, ошеломить его своей дерзостью, стремительностью и лавиной скатиться к самому синему морю, к заветной цели.

Но белогвардейцы уже и не огрызаются. Добрармия развалена. Там и сям по дорогам и по степи двигаются навстречу нам одиночки и группы врангелевских солдат, побросавших оружие и уходящих в наш тыл. Загнанные лошади, сломанные повозки, оружейные передки и зарядные ящики, брошенные погонны — не только казачьи, но и офицерские, шашки, шпоры. Шелуха разгрома. Все это вызывает у бойцов веселый смех и просоленные солдатские остроты.

Немного испортил веселое настроение наш уважаемый начальник саперной команды Останин. В одной из брошенных немецких экономий в стороне от дороги он застал небольшой отряд махновцев, бессмысленно валивших овец и гусей. Саперная команда выгнала махновцев, и из кучи нарубленных ими овец выбрали самых жирных, сварили, догнали полк. Когда ели, мы похваливали своего щедрого «папа-

шу», как звали Останина в полку. Но затем ему икалось остаток дня. Каждый отставший по нужде и потом галопом догонявший строй клая «папашу» на чем свет стоит...

Мы сталкивались потом и с другими следами грабжей. Наши «союзнички» — махновцы, проскочившие вперед, не клали охулки на руку. Бандитские вылазки махновцев вызвали бурю негодования. Чувствовалось, что, если полк где-нибудь с ними встретится, от самосуда не удержать.

Но марш к морю немного успокоил разгоряченных. Яркое южное солнце, ласковый морской воздух действовали опьяняюще. Поздняя крымская осень шала красками. Надо было видеть бойцов, которые вот только пару дней назад с суровой решимостью смотрели смерти в глаза, а сейчас отошли, резвились молодыми жеребятками.

Вышли живыми из огня и пламени перекопско-юшуньских сражений. Идем к Севастополю!

Километрах в 20—25 от Севастополя мы увидели идущую навстречу нам грузовую машину, наполненную людьми. Это была делегация Севастопольского ревкома, выехавшая встречать части Красной Армии. Рабочие, работницы в красных платочках со слезами радости бросились обнимать и целовать каждого из нас.

Делегаты рассказали нам, что вечером 14 ноября последние корабли с врангелевцами оставили порт. Из подполья вышел Ревком и взял власть в свои руки. Их, делегацию, направили встречать части Первой Конной армии, которая, по сведениям Ревкома, должна была первой вступить в город. Увидев же колонну пехоты, делегаты заволновались: не врангелевцы ли еще отходят? Но разглядели в голове колонны красное знамя.

Радостные делегаты уехали в город. А полк с песнями зашагал последние километры.

На северной стороне нас уже ждали накрытые столы, вкусный мясной обед, кучи фруктов и горы белого хлеба. Бойцы с огромным удовольствием воспользовались обильным угощением, поблагодарили гостеприимных хозяев, подзаправили обмундирование и с лихой песней вошли в город.

На Нахимовской набережной полк выстроился. Прибывшему комбригу Б. В. Круглову и военревкомбригу А. В. Тарутинскому командир полка отапортовал: «459-й стрелковый полк приказ Начдива товарища Блюхера выполнил с честью. Отставших нет. Настроение бойцов превосходное».

Пошла вторая неделя четвертого года Революции.





**Александр
Кушнер**



Друг милый, я люблю тебя,
А ты — его, а он — другую,
А та, платочек теребя,—
Меня, а я и в ус не дую.

Какой Шекспир, из погребка
Домой вернувшись на рассвете,
В бреду, сползая с тюфяка,
В таком спасается сюжете!

Чего бы проще: я — тебя,
А ты — меня, а он — другую,
А та — его... но кто, любя,
Потерпит правильность такую!



Какое счастье, благодать.
Ложиться, укрываться,
С тобою рядом засыпать,
С тобою просыпаться!

Пока мы спали, ты и я,
В саду листва шумела
И неба темные края
Сверкали то и дело.

Пока мы спали, у стола
Чудак с дремотой спорил,
Но спал я, спал и ты спала,
И сон всех ямбов стоил.

Мы спали, спали наравне
С любовью и бессмертьем.
Давалось даром то во сне,
Что днем — сплошным усердьем.

Мы спали, спали вопреки,
Наперекор, вникали
В узоры сна и завитки,
В детали, просто спали.

Всю ночь. Прильнув к щеке щекой,
С доверчивостью птичьей.
И в беззащитности такой
Сходило к нам величье.

Всю ночь в наш сон ломился гром,
Всю ночь он ждал ответа:
Какое счастье — сон вдвоем,
Кто нам позволил это!



Но иногда придет на ум
Такая мысль: запрятать в ящик
Свои бумаги, слушать шум
Листвы, под окнами шуршащей.
Не проявить себя ничем.
Прокрасться Тютчевым по дому,
Но рифму бросившим совсем
И уступившим честь другому.

Белые ночи

Пошли на убыль эти ночи,
Еще похожие на дни,
Еще крошечный полог, скорчась,
Приподнимают нам они,
Чтоб различали мы в испуге,
Клонясь к подушке меловой,
Лицо любви, как в смертной муке
Лицо с закушенной губой.

Вместо статьи о Вяземском

Я написать о Вяземском хотел,
Как мрачно исподлобья он глядел,
Точнее, о его последнем цикле.
Он жить устал, он прозябать хотел.
Друзья уснули, он осиротел:
Те умерли вдали, а те погибли.

С утра надев свой клетчатый халат,
Сидел он в кресле, рифмы невпопад
Дразнить его под занавес являлись.
Он видел: смерть откладывает срок.
Вздыхал над ним злопамятливый бог,
И музы, приходя, его боялись.

Я написать о Вяземском хотел,
О том, как в старом кресле он сидел
Без сил, задув свечу, на пару с нею.
Какие тени в складках залегли,
Каким поэтом мы пренебрегли,
Забыв его, и чувствую: мрачнею.

В стихах своих он сам к себе жесток,
Сочувствия не ищет, как листок,
Что корчится под снегом, леденя.
Я написать о Вяземском хотел,
Еще не начал, тут же охладел
Не к Вяземскому, а к самой затее.

Он сам себе забвенью предсказал,
И кажется, что зла себе желал
И медленно сживал себя со свету
В такую тьму, где слова не прочесть.
И шепчет мне: «Оставим все как есть.
Оставим все как есть: как будто нету».





В. Сухомлинский,

заслуженный учитель УССР,
член-корреспондент Академии
педагогических наук СССР,
Герой Социалистического Труда



ПУБЛИ-
ЦИСТИКА

СЕМЬЯ НЕСГИБАЕМЫХ

(Главы из книги)

Перед вами одна из последних статей Василия Александровича Сухомлинского, замечательного советского педагога и человека.

«Сердце отдаю детям» — назвал свою главную книгу Василий Александрович (ее не достать ни в магазине, ни у букинистов, ни по знакомству — нигде). Прежде казалось, что эти слова — очень емкий литературный оборот для выражения любви к детям. Сегодня, к несчастью, это стало описанием действительно совершившегося факта: Сухомлинский отдал свое сердце детям. Он был учителем с восемнадцати лет и до пятидесяти двух — до смерти. Только однажды он оставил детей — когда началась война и он ушел на фронт, а потом, тяжело раненный, долго лежал в госпитале. Все остальные дни своей жизни он провел с детьми, и часы за письменным столом были часами размышлений его о детях. Его мысли о воспитании рассыпаны в тридцати книгах и великом множестве статей. Когда-нибудь они будут собраны вместе, и можно смело предсказать: эта книга поразит всех. Сегодня мы еще плохо представляем себе, какой человек ушел от нас, какого масштаба человек...

А. С. Макаренко сделал трудный первый шаг: перешел от индивидуального воспитания к коллективному. В. А. Сухомлинский сделал следующий, не менее трудный: в деталях разработал систему индивидуального воспитания на основе коллективного.

Сухомлинский был наделен необходимым для учителя и в то же время нечасто встречающимся даром: видеть в ребенке не ученика, а ребенка, принимать его целиком, во всей сложности его отношений с семьей, товарищами, школой. Этот дар дается обычно не учителю — отцу, да и то не каждому. Сухомлинский соединял в себе учителя и отца. Только такой человек мог, например, не задумываясь, не колеблясь, сказать девочке в ее несчастье: «Хорошо, я буду твоим папой», — поступок, смелость которого не с чем сравнить.

Сухомлинский был мужествен во всем. Каждая его педагогическая находка — дерзость, отступление от общепринятого. Он взывал к доброте и уступчивости там, где все говорили о требовательности, и был строг и требователен в самых тонких сферах поведения своих учеников — в сферах, куда педагоги не смеют вступить. Он учил своих детей работать руками, когда в школах преобладали словесные методы, и один из первых стал писать о том, что дети мало работают головой, когда стали не в меру, односторонне увлекаться трудовым воспитанием. Эту смелость придавали ему собственный жизненный опыт и необыкновенно ясное и живое ощущение народного здравого смысла, народного чувства, народной педагогики.

Сухомлинский воспитывал человека для человека, им руководили не абстрактные представления «каким надо быть», а простые, житейские, в даль времени уходящие и вечно современные законы. С абсолютной ясностью представлял он себе, кого же он хочет воспитать, какими качествами наделить каждого из своих учеников и что надо сделать для безошибочного достижения цели. Подобно Макаренко, он ненавидел несчастье и умел наделить детей силой противостоять ему. Эту мысль можно выразить коротко: он стремился воспитывать не сгибаемых.

ПРАВДА ДЛЯ ВСЕХ

«**В**се, что происходит в мире, касается меня». Это девиз нашей «Семьи Несгибаемых». Я бы написал эти слова яркими буквами и повесил на самом видном месте в каждой школе. В этих словах — важнейший принцип школьного воспитания: человек ответствен за все, что происходит в мире, он не может быть ни к чему равнодушен.

Катя Троянда... Ее фамилия по-украински означает роза. И красива она, как розовый цветок, только что раскрывший свои лепестки. Но в глазах девочки я часто вижу задумчивость, тревогу, а иногда и смутение. Ее потрясают, удручают нехорошие слова о матери, которые иногда она слышит от взрослых. В Семье Несгибаемых перед нею открылся мир подлинной красоты, этот мир влечет и захватывает ее, а дома — мерзости... Изболевшаяся в своих поисках

правды — такой навсегда осталась в моей памяти Катя-Троянда...

Воскресенье. Почтальон принес детскую газету. Катя увидела снимок: маленький мальчик, закованный в кандалы. Под снимком небольшая статья, прочитав которую Катя узнала о страшных вещах. Есть еще, оказывается, в мире восточная страна, где людей продают в рабство. Вот и мальчика этого продали, теперь он раб. Душа Кати в смятении. Что же это такое? Разве можно спокойно есть, спать, если мальчик, ее ровесник, страдает в рабстве в этой восточной стране?!

Катя одна в доме, матери нет. Взяв газету, Катя вышла на улицу. Наверное, все люди уже знают об этом большом горе, вот сейчас соберутся крестьяне и всем миром станут решать, что делать. Может быть, через мгновение ударят в набат, созывая всех... Но вокруг все спокойно. В соседнем дворе тетя Мария копает грядку...

Катя-прижимает газету к груди, собирается куда-то бежать. В эту минуту во двор входит мать. Катя показывает ей снимок в газете, сбивчиво рассказывает... Мать смотрит на нее с удивлением. Когда Катя замолкает, мать говорит безразличным тоном:

— Ну и что же? Какое тебе дело к тому, что за морем творится?

В слезах Катя бежит к родственнику — брату отца, дяде Степану. Сегодня он на работе, в тракторной бригаде. Трактора работают в поле, Катя бежит туда. Вот и дядя Степан. Девочка машет ему рукой. Дядя останавливает машину, приглушает мотор. Катя показывает снимок, рассказывает о горе мальчика из далекой восточной страны. Дядя смотрит на нее с изумлением, потом, улыбнувшись, машет рукой и, ничего не сказав, садится на трактор. В грохоте мотора не слышно рыданий Кати.

Она вспоминает о тете Настасье, поварихе тракторной бригады. Она не родственница, а просто очень добрый человек. Тетя Настасья живет недалеко от них. Встречаясь с Катей, всегда спрашивает, как идет учение, и ласково улыбается.

Тетя чистит картошку.

— Что случилось, доченька, почему на тебе лица нет?

Катя показывает ей снимок, повторяет рассказ. Тетя внимательно слушает, ее глаза печальны. Она просит у Кати газету.

— Горе какое, ой, горе...— тихо шепчет тетя Настасья и плачет. Она долго смотрит на снимок, потом вытирает слезы.— Никогда не бывало так, чтобы вечно царствовала неправда. Придет возмездие к этим извергам, Катя. Станет счастливой несчастная восточная страна, вспомнишь мое слово.

Обрадованная Катя пришла ко мне. В ее глазах светилась надежда. Она показала мне снимок в детской газете, рассказала о судьбе маленького раба и поделилась своей радостью:

— Тетя Настасья сказала, что настанет расплата для этих мучителей и мальчик будет счастливым... Это правда?

— Правда, Катя,— сказал я девочке.

Мы нашли книгу о далекой восточной стране и читали ее в тот день до самых сумерек.

Наши сердца трепетали от гнева и ненависти, и гнев наш был не бессильным, мы копили его как оружие для будущей борьбы. Как радовало меня в тот день, что Катя верила: наступит час, когда ей придется встретиться с врагом на поле боя, и тогда ее гнев вступит в сражение со злом.

...Способность гневаться и возмущаться, презирать и ненавидеть, быть нетерпимым и непримиримым к злу — я вижу в этих благородных духовных ценно-

стях идейную сердцевину негибкости, моральной стойкости и непоколебимости. Как важно, чтобы юное сердце не было равнодушным! Я не представлял себе полноценного нравственного воспитания без того, чтобы сердце ребенка, подростка не затрепетало от боли и гнева, когда он увидит равнодушие, беззаботность, попрание высших интересов народа, унижение достоинства любого нашего соотечественника; не представляю себе, чтобы благородное возмущение злом не вдохновило на честный поступок.

Провести каждого через борьбу за торжество правды, добра, красоты — это стало моей первой заботой. Я стремился к тому, чтобы маленький мой человек не был безличным и безропотным, бессловесным и безответным; если этого мне удастся избежать, каждый мой питомец будет в е л и к и м, настоящим человеком. Величие личности — в гражданской озабоченности, непримиримости и ответственности. Торжество правды для всех должно стать уже в детстве сердцевиной личного счастья и благополучия.

Мы стали защитниками природы. Катя Троянда, Галя Козак, Нина Дымова, Варя Соловейко и Наташа Петренко вышили эмблему юных защитников живого, красивого и нужного людям — зеленый дубовый листок на голубом фоне. Маленькие лоскутки с этой эмблемой мы пришили к своим пиджакам и кофточкам и очень гордились этим. Каждый день дети выходили в поле и в лес, в луг и на берега прудов, зорко следили за тем, не поднимает ли кто руку на зеленого друга, не появились ли вредители леса и сада, не крадется ли браконьер к берегу, чтобы половить рыбу в недозволенное время, не раздался ли выстрел, не орошена ли трава кровью утки или перепела? Мальчикам хотелось быть мужественными воинами, и в то же время это была игра, настоящая детская игра. Но в игре была борьба за правду для всех. Благодаря этой борьбе происходило то, что я называю оттачиванием гражданских чувств, воспитанием патриотической зоркости.

В тихий весенний вечер, когда в голубом небе курлыкали ключи перелетных птиц, а луга трепетали в мареве зеленого тумана, окутывающего деревья, я проверял в учительской тетради. Вдруг слышу тревожные голоса: юные защитники природы о чем-то митингуют. Через минуту в учительскую зашли Саша Сербин, Ваня Наливайко, Гриша Козаченко и Миша Куля. Это делегация всей нашей Семьи Несгибаемых.

— Они приехали автомашиной.. Пилили дуб...— сказал Саша Сербин.

Из сбивчивого рассказа стало ясно вот что. Несколькими днями назад Ваня Турбота заметил в лесу дуб, на котором внизу узкой полоской была снята кора. Кто-то хотел, чтобы дуб умер, и ничто его теперь спасти не могло. В другом месте таким же образом были убиты (это слово Вани) еще два дуба. Кто-то калечит деревья, чтобы они засохли: потом их легче будет спилить и вывезти. В Семье Несгибаемых была принята клятва: во что бы то ни стало найти преступников. В лесных зарослях соорудили шалаш, из которого можно было наблюдать, не приближается ли кто к обреченным деревьям. В шалаше дежурили по очереди. И вот сегодня после полудня в лес приехала автомашина. Два человека стали пилить дуб, а третий куда-то ушел. Мальчики были ошеломлены: среди тех, кто тайком уничтожал деревья, они узнали одного из колхозных активистов, от которого часто можно было услышать красивые слова о патрио-

тизме и гражданском долге, призывы хорошо трудиться. Как же теперь верить этому человеку?

Между тем браконьеры, не допилив дерево, оставили пилу и топор у дуба, а сами отошли на полянку и сели обедать. Пришел третий — шофер. Все трое стали пить и есть. Потом легли на траву и уснули. Мальчики тихо вышли из своего укрытия. Взяли пилу, топор, нашли в кузове веревку. Все это связали, бросили в овраг и землей присыпали. А на кузове написали мелом: «Воры». Но этого мальчикам казалось мало. Дух озорства овладел в эти минуты юными душами. Ваня Турбота сбегал домой и принес своего огромного черного кота. Кота посадили в мешок, в котором (мальчики хорошо все заметили) раньше был спрятан топор. Мешок завязали и положили под сиденье автомашины.

Что было дальше, они не видели: побежали в школу. По тревоге вся Семья Несгибаемых собралась в лесу. Мальчики и девочки теперь наблюдают: что будут делать браконьеры, проснувшись? А пять делегатов, по-своему наказав преступников, стояли передо мной. Они и гордились тем, что сделали, и в то же время побаивались: не обвинят ли их в излишнем озорстве, не увидят ли в их проказах чего-нибудь предосудительного? Праведный гнев смешивался со смущением.

Еле сдерживая чувство радости, я сказал:

— Молодцы! Всегда, если видите преступление, обман, делайте, как приказывает совесть. Она никогда не ошибается.— Я был встревожен тем, что преступником оказался человек, скрывавшийся под личиной честности.— Перед правдой все равны, пусть это не смущает вас, дети. Преступников накажут. Кроме того, они своими руками посадят десять деревьев за каждое уничтоженное и будут ухаживать за ними несколько лет.

Ободренные этими словами, мальчики отдали ключ от автомашины. Преступников теперь легко можно задержать...

Непримиримость и нетерпимость к злу в действии — вот что такое этот поступок Семьи Несгибаемых. Мальчики и девочки поступили так, как велела совесть, а совесть — это благородное чувство, умноженное на сознание правоты. Я не сомневался, что этот поступок оставит в юных сердцах след на всю жизнь. Еще несколько поступков такого рода — и они станут поистине несгибаемыми. Уроки несгибаемости, уроки моральной стойкости и верности убеждениям — вот тропинки, идя по которым юный гражданин приближается к вершине нравственной зрелости.

Я всегда побаивался, как бы не охладить страсть юного сердца, не посеять равнодушия, не погасить огонька возмущения. Презрение и ненависть к злу — это огонь, выплавляющий чистое золото благородства, стремления к добру, правде, красоте, человеку, истине. Жизнь должна быть бушующим горнилом, в котором никогда не угасает этот огонь. Образно говоря, в жизни на каждом шагу лежат куски руды, содержащей в себе чистое золото морального благородства. Переплавить же эту руду способен только огонь презрения и ненависти к злу, огонь борьбы. Мещанин, добру и злу внимающий равнодушно, выползает из тех мрачных уголков, где нет этого горнила, нет этого огня.

Никогда не отмахиваться от искреннего порыва юных сердец — для меня это один из важнейших принципов воспитания. Не поколебать веры юных в самое дорогое, что есть на свете, что озаряет путеводной звездой их жизненный путь, — веры в коммунистический идеал, в торжество самой справедливости.

ведливой правды (это слова Гали Козак). Нравственный облик человека, перед которым стремительно открываются горизонты жизни, зависит от того, как и кем он вышел из встречи со злом.

Как страшной беды, опасайтесь открытых, но не видящих глаз! — хочется, чтобы эта истина стала правилом воспитания и в каждой семье и в каждой школе. Стоит маленькому человеку не заметить зла один, второй, третий раз — и его сердце окостенеет.

Однажды, встретившись со злом, Семья Несгибаемых решила на шалость, по поводу которой мне пришлось услышать упреки некоторых взрослых людей. Весной, когда охота на перелетных птиц строго воспрещена, они напали на след двух браконьеров, настролявших много дичи. Охотники оставили все свое имущество на берегу пруда, а сами ушли купаться в другое место. Мальчики и девочки взяли ружья, патроны и еще что-то очень тяжелое в мешке (потом выяснилось, что это взрывчатка для глушения рыбы) и все это утопили в омуте. Они разоггли костер из камыша и положили в него несколько десятков патронов. Услышав взрывы, перепуганные браконьеры поспешно оделись и прибежали к месту своего привала. Ничего они не нашли (убитых уток мальчики принесли в школу).

Было озорство и более серьезное. В летний вечер Гриша Козаченко и Саша Сербин узнали, что завтра утром, на рассвете, два рыболова в отдаленном озере будут глушить рыбу. Почти вся Семья Несгибаемых отправилась к этому озеру. Браконьеры спокойно расположились на берегу, разделись и, взяв часть взрывчатки, полезли в воду. Мальчики и девочки подобрали всю их одежду, за исключением белья, и взрывчатку, оставшуюся на берегу. Все это было принесено в школу. Браконьеры в сумерках возвратились в село в одном белье. Между прочим, одним из браконьеров был отчим Гали Козак.

Конечно, во избежание неприятностей можно было запретить своеволие, можно было потребовать: не делайте так! — и дети стали бы смиренными и послушными. Пойдите, мол, в сельсовет или в милицию и заявите о нарушителях закона. Но в этом требовании было бы ханжество. Оно учило бы юных: встретившись со злом, хорошенько все рассмотри, запомни, а может быть, и запиши, расскажи старшим — пусть разбираются. Если человек, которого вы предполагаете воспитать юным гражданином, поступит так один, два, три раза, он вырастет эгоистом, для которого главным жизненным правилом станет: а мне-то какое дело? Все в таком человеке будет подчиняться холодной, бесстрастной рассудительности. Он будет взвешивать — возмущаться или не возмущаться, если на глазах творится беззаконие. Он может научиться управлять чувствами с точки зрения собственной выгоды. Такие люди страшны: они способны на измену и вероломство, на них нельзя полагаться в сложной и трудной обстановке, для них нет ничего дорогого и святого.

Хочется сказать родителям: берегите в вашем ребенке маленький, слабенький огонек порыва к благородству. Если только вы угасили его, в юной душе рождается мерзость. Когда мои питомцы из Семьи Несгибаемых вырастали и, попросившись со школой, приходили потом ко мне за советом перед самым волнующим и ответственным шагом в своей жизни — перед женитьбой, замужеством, каждому из них я рассказывал вот какую бль.

Мама привела пятилетнего Митю в парк. Они долго ходили по узеньким каменным дорожкам, а потом сели отдохнуть на лавочке. Откуда ни возь-

мись — кошка. Села рядом с Митей и мурлычет, смотрит на мальчика.

Митя улыбнулся, его рука потянулась к кошке. Но мама отвела Митину руку в сторону. Она не позволила мальчику ласки. Кошка поднялась, подошла к Мите и, прикоснувшись к нему боком, замурлыкала еще громче. Мальчик поднял руку, прикоснулся к спине кошки, но мать ударила его по руке и сказала:

— Не трогай гадость всякую...

У Мити в глазах заблестели слезы. Мать дала мальчику несколько конфеток, и слезы растаяли.

Через несколько дней мать с Митей снова пришли в парк. В этот день сюда шло много детей. Маленькая девочка лет трех нечаянно наступила Мите на ногу. Митя сердито толкнул девочку в спину. Она упала, из носа у нее потекла кровь.

— Что ты делаешь? — с удивлением спросила мать.

— А что же она на ногу наступает!.. Гадость всякая...

Мать с изумлением смотрела на сына, как будто впервые видела его...

Этот рассказ я считаю первым предостережением будущим отцам и матерям. Угасив в сердце ребенка огонек добра, мать одновременно угасила и непримиримость к злу; там же, где нет непримиримости, подлинной нетерпимости, презрения к злу, человек сам становится злым, недобрым.

В жизни бывают такие обстоятельства, когда совесть, чувства — самые благородные движения души, когда правота лучше всего утверждается гневом, возмущением. Исключительно важную свою миссию я вижу в том, чтобы развивать, оттачивать в своих воспитанниках тонкость восприятия тех явлений, которые по своему характеру особенно сильно влияют прежде всего на чувства. К таким явлениям относятся горе, страдания, причиненные одному человеку другим, нарушение норм нравственности, которые воспитанник считает священными, незбылемыми. Зло, с которым встретился воспитанник, взрослому может казаться маленьким, мелочью, но у детства свои масштабы, свое измерение добра и зла. Надо уметь снизить к миру детских интересов, глубоко проникнуть в мысли ребенка, подростка, пережить его чувства, взволноваться его тревогами.

С о п е р е ж и в а н и е — это эмоциональная сердцевина вашей моральности в глазах вашего питомца. По тому, как вы относитесь к его чувству возмущения злом, ребенок, подросток делает вывод, какой вы человек. Если вы, образно говоря, выльете на этот пылающий костер ведро воды, то, встретившись со злом, неправдой, преступлением в другой раз, человек уже не будет так остро реагировать на зло. Горячий голос сердца будет гаситься холодным, осмотрительным сомнением: стоит ли мне обращать на это внимание? Все равно мое вмешательство не поможет... Я бы назвал это эмоциональным самозащитным оружием. С него начинается опасный моральный порок — чувство собственного бессилия. Самым страшным, что можно себе представить в эмоциональном мире человека, мне представляется именно это чувство: я крошечная, безвестная пылинка, я бессилен вмешаться в то, что происходит вокруг меня...

Нет, ни в одной юной душе не должно быть этого чувства!

Первоклассники пошли с учительницей в лес. Это была и экскурсия и прогулка. Домой дети возвращались уставшие, но радостные. На окраине села их обогнала автомашина, нагруженная зерном. Дети заметили, как из кузова на дорогу тоненькой струйкой течет зерно.

— Пшеница! — закричали малыши, побежали вдоль золотистой нити, образовавшейся из зерен. В их взглядах было и радостное изумление и тревога: с первых шагов своей сознательной жизни ребенок привыкает в крестьянской семье к мысли, что бросить на землю крошку хлеба — преступление. А здесь от комбайна до зернохранилища пшеничная дорожка — что же это такое?! Дети пылливо заглядывают в глаза учительницы. Может быть, не все еще понимая, они чувствуют, что учительница должна возмутиться, сказать что-то резкое, но справедливое, как справедливы слова матери, когда, бывает, уронишь кусочек хлеба...

Но учительница молчит. Так и не было сказано больше ни одного слова, кроме их изумленно-тревожного: «Пшеница!»

Произошло здесь событие, которое наложило свой маленький, с первого взгляда незаметный, отпечаток на детские души. Учительница не заметила, не вдумалась в то, что в детских сердцах уже горит маленький, но яркий огонек негодования — возмущение расточительностью. Учительница просто не почувствовала этого огонька. Закричав «Пшеница!», дети обратились к ней с вопросом. Вдумчивый воспитатель в таких случаях понимает сердцем, что чувствуют и к чему призывают дети. Моральный опыт у детей не настолько большой, чтобы самостоятельно начать борьбу против расточительности. Они пережили чувство недоумения: почему учительница молчит, не возмущается?

Несколько таких уроков равнодушия — и еле теплящийся огонек благородного чувства погаснет, дети станут равнодушными.

Пусть ребенок восторгается добром и возмущается злом. Пусть каждое слово, каждый поступок воспитателя будут свежим ветром, превращающим маленький огонек в неугасимое пламя благородства. Там же, где этого огонька нет, его надо зажигать, лелеять, воспитывая способность любить и ненавидеть.

КРЕМНЕВЫЕ

Лучше строптивость, своенравие, упрямство, чем молчаливая покорность, — к такому выводу привели меня многие годы работы в школе.

Дети из моей Семьи Несгибаемых учились в разных классах. Все чаще учителя обращались ко мне со своими тревогами: слишком уж своеобразничают ваши воспитанники, не подчиняются требованиям, каждый стремится поступать по-своему, сделать наперекор воле учителя. К чему это может привести? Меня очень огорчали эти жалобы; почти всегда оказывалось, что непослушание, своенравие, упрямство моих детей были ответом на несправедливость; в озорстве, шалостях, проказах я находил гордое стремление маленького человека выразить, утвердить себя, заявить о своем человеческом достоинстве.

Миша Куля стал пятиклассником. В пятом классе все оказалось не так, как в четвертом. В прошлом году на все уроки приходила Екатерина Ивановна. Сегодня на первый урок пришел Степан Андреевич, а на второй — Андрей Григорьевич. Степан Андреевич преподает арифметику, а Андрей Григорьевич — географию.

Степан Андреевич, сев за учительский стол, конечно, сразу же увидел Бровка — собаку, верного друга Миши. Пятый год ходит Миша в школу, и пятый год вместе с ним ходит и Бровка, несет маленькую сумочку с завтраком Миши. Все уроки сидит перед окном. Класс не отвлекается на Бровка, все привыкли к собаке. Привыкла и Екатерина Ивановна. Если бы все было, как в прошлом году, если

бы все уроки и в нынешнем году вела Екатерина Ивановна, она бы сказала приветливо:

— Как чувствуешь себя, Бровка?

Бровка доверчиво посмотрел бы учительнице в глаза, весело помахивая хвостом.

Степан Андреевич не знал Бровка и поэтому спросил:

— А это кто?

Миша ответил:

— Это мой друг Бровка.

— Хороший у тебя друг. Что же это за сумочка рядом с ним?

— Там мой завтрак. Он охраняет...

— Вот как! Это же замечательно. Плохой человек не способен научить этому собаку. Молодец, Миша.

Андрей Григорьевич, начиная урок, тоже спросил:

— А это кто?

— Это мой друг Бровка, — ответил Миша.

— Больше чтобы я его перед окном не видел. Школа не собачник.

Миша вспыхнул от стыда.

— Мне стыдно было и перед товарищами и перед собакой, — рассказал мне Миша о той минуте через десять лет. — Сердце мое было охвачено гневом. То, что произошло дальше, было, может быть, мальчишеской выходкой, но разве мог я думать так тогда?

А произошло вот что. Когда Андрей Григорьевич пришел на следующий урок, Бровка сидел не под окном, а метрах в двадцати от школы, у колодца. Андрей Григорьевич сразу же сказал Мише:

— Ты опять привел в школу своего грязного пса?

Миша побледнел, руки у него задрожали. Он заплакал и, выбежав из класса, куда-то ушел. Он не приходил в школу до конца уроков. Дома я нашел мальчика в сарае, он мастерил будку для Бровка. На мой вопрос, что произошло, он ответил:

— На уроки географии больше не пойду. Буду сам учить, буду знать то, что и товарищи знают.

Я убеждал мальчика: надо простить учителя, он поступил неправильно, но нельзя же таить в сердце озлобление. Мои доводы на мальчика не повлияли.

— Вы же сами говорили: если чувствуешь свою правоту, стой незыблемо на своем. Никогда не прощу несправедливости. На уроки географии никогда не пойду — вот сказал, так и будет. Если так нельзя — перестану учиться, на работу пойду...

Мое сердце радостно трепетало: хорошие ягодки завязываются на моих цветочках! С изумлением я как бы всматривался в души моих прекрасных нестигаемых питомцев, гордо думая: это мое творение! С такими трудно, хлопотно, мучительно сложно, но с ними, строптивыми и своенравными, нестигаемыми, — очень легко!

«Черт возьми, — думалось мне, — да ведь что же можно сделать, если все до единого, все без исключения воспитанники станут такими, если в каждом удастся утвердить такую вот кремневую нестигаемость! А подлинное воспитание в этом и заключается. Такой будет не слабосильным, безвольным существом, за которое надо вечно опасаться, как бы не произошло неожиданного, а твоим верным соратником, единомышленником и единоверцем».

Андрей Григорьевич несколько раз ходил к Мише, просил извинить его, приглашал на уроки — ничто не помогало. Мальчик молчал. А мне открылся:

— Не могу я заставить себя. И понимаю, что надо бы идти на уроки, но вспомню, как он меня оскорбил и унизил, — сердце охватывает огонь...

Через полтора года после того, как произошло все это, учитель географии пережил большое горе: у него умерла жена. Миша сам пришел к Андрею Григорьевичу и попросил разрешения посещать уроки.

Учителя тронула эта просьба. Но отношения между Мишей и Андреем Григорьевичем навсегда остались сдержанными.

Для учителя же это событие послужило незабываемым уроком. Я чувствовал глубокие и тонкие изменения, которые происходили в его душе. Учитель научился видеть в ученике человека со всеми его противоречиями и сложностями.

Если вам удалось утвердить в душе своего питомца нравственную стойкость и нестигаемость, питомец ваш становится не только вашим соратником и единомышленником, но и вашим воспитателем — не опасайтесь этого! Подлинное коммунистическое воспитание как раз в том и заключается, что не только я воспитываю человека, который смотрит в меня, как в образец, но и он воспитывает меня. В свое творение я вкладываю силы своей души, и эти силы как бы вновь возвращаются ко мне.

Я только что закончил урок в пятом классе, когда ко мне прибежали третьеклассники:

— Идите, Мария Петровна зовет.

Я зашел в класс и увидел такую картину. Дети ушли домой. За доской стоял бледный, молчаливый Юра Кобыляцкий. Мария Петровна просила:

— Ну, иди же домой, до каких пор будешь стоять?

Оказалось, Юра перелистывал на уроке какую-то книгу. Учительница сделала одно замечание, второе — не помогает, она поставила мальчика за доской. Юра доказывал Марии Петровне, что после первого замечания он не перелистывал книгу. Нечаянно он толкнул ее, и книга упала на пол. Учительница не обратила внимания на эти слова, ее не озадачило даже то, что на глазах у мальчика выступили слезы: это с ним бывало очень редко. Юра подчинился требованию Марии Петровны, стал за доской. Прозвенел звонок на перерыв, учительница разрешила мальчику идти, но он не пошел.

Она пыталась вывести его за руку, но мальчик крепко хватался за доску...

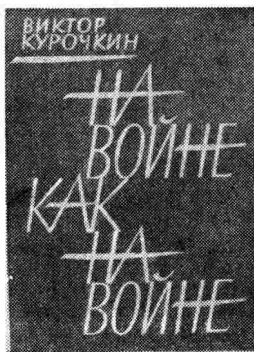
Прежде всего надо было уладить конфликт, а потом рассуждать... Наступали ранние зимние сумерки, надо было закрывать школу, а Юра стоит — и ни слова. Я попросил Марию Петровну идти домой. Она ушла, и мы остались наедине с Юрой.

— Тебя оскорбили, — сказал я мальчику, — но разве ты не понимаешь, что учительница просит у тебя извинения? Может, не было слова «извини», но разве ты не слышал, как это слово звучало в ее тоне? Тоже ведь нелегко держать вас в руках — тридцать пять шалунов. Тут и ошибиться можно — не заметить, случайно упала книга или ты забавлялся... Гневаться ты умеешь — молодец, Юра! Но надо уметь и прощать. Вот идет сейчас Мария Петровна домой и плачет, думает, как это ты стоишь у доски... А ведь ты любишь ее, и она тебя любит...

Сердце ребенка смягчилось, он наклонил голову, в глазах у него я прочитал сложные чувства. Мальчик тихо отошел от доски, оделся и ушел домой. На следующее утро обрадованная Мария Петровна рассказала мне: дважды подходил Юра к двери ее квартиры, но постучать не отважился.

Нестигаемые по-настоящему добры и ласковы.

...Передо мной открывалась новая, трудная и изумительно радостная страница педагогики — взаимоотношения с детьми строптивыми и своенравными, гордыми и независимыми, умеющими дорожить своим достоинством. С трепетом открывая эту страницу и вчитываясь в каждую строчку, я учился овладевать мудростью прикосновения к человеческой душе.



Повесть «На войне как на войне» не случайно дала название новому сборнику произведений Виктора Курочкина (изд-во «Сов. писатель»). Пожалуй, с этой повести, опубликованной в журнале «Молодая гвардия» в 1965 году, и началась его писательская известность. Для Виктора Курочкина, бывшего танкиста, добровольца-фронтовика, семнадцати лет получившего боевое крещение, война стала одной из главных тем творчества.

Герой повести Саня Малешкин, младший лейтенант командир экипажа самолета, очень молод. Он рвется в бой, но ему не везет. Вот уже полгода он на фронте, а еще не выпустил по врагу ни одного снаряда. И даже первая атака не оправдала его ожиданий: «Ему даже стало скучно. Разве он такой представлял себе атаку? Она рисовалась ему стремительной, до ужаса захватывающей. Самоходка на пятой скорости пронесется мимо горящих танков, врывается в боевые порядки противника и все уничтожает и давит».

Мечты самые мальчишеские. Характеры, избранные В. Курочкиным, еще не сформировались, не устоялись до конца. Боевые друзья Саня Малешкина — водитель самолета Щербак, ефрейтор Вянкин, наводчик Домешек (да и сам Саня Малешкин) — не безупречные солдаты: то из-за небрежности экипажа накануне боя чуть не была выведена из строя самоходка, то в руке Домешека каким-то образом оказалась чека от гранаты, а сама граната осталась в сумке в самоходке и могла там взорваться. Беспечность молодости,

«необстрелянность» в боях... Но автор постепенно показывает, как на войне рождается мужество молодых воинов.

Трудно поверить в искренность рассказов тех фронтовиков, которые утверждают, будто бы на войне привыкаешь и к свисту пуль и к вою снарядов, привыкаешь и воспринимаешь все это без страха в сердце. Герои военных повестей В. Курочкина «На войне как на войне» и «Железный дождь» (тоже опубликованной в сборнике) иногда испытывают страх, но им даны и другие, более сильные чувства — чувство долга перед Родиной, сила воли, — и эти чувства побеждают.

События, описанные в военных повестях В. Курочкина, отнюдь не масштабны. Начальной поре Отечественной войны посвящен «Железный дождь» (три военнопленных на танке «БТ-7» бегут из фашистского плена); три дня из жизни экипажа самоходки показаны в повести «На войне как на войне». Но в небольших повестях В. Курочкин сумел показать большие судьбы.

Слово для В. Курочкина, что солдат в окопе: цель ему ясна, выстрел его должен быть точным. Отсюда — отсутствие громоздких эпитетов, сравнений, сложных ассоциаций... «Тоненькая, словно забинтованная, ножка березки...», «двустольная фамилия...» Отсюда и суровая точность в пейзаже...

В подзаголовке к «Железному дождю» говорится, что это первая книга повести «Двадцать подвигов солдата». Читатель с нетерпением ждет следующих книг.

Л. ПОЛУХИНА

«Академик» — прозвище мальчишки, который много знает. Он не просто добросовестно изучает то, что давно известно.

Мишка, герой книги Юрия Дмитриева «Пароль «Пусть живет!», — из породы первооткрывателей. Ну, а белый бобер? Всем известно, что белых бобров не бывает. Но говорят же «белая ворона», хотя вороны совсем не белые. Это не просто поговорка. Среди людей и животных встречаются альбиносы. А если есть белые вороны, то почему бы не быть белым бобрам? Все логично. С точки зрения науки вполне обоснованная гипотеза, и ничего не стоит прославить свое имя в веках, надо всего-навсего найти белого бобра.

Белого бобра Мишка и его компания не нашли. Но на пути поисков то и дело попадалось много интересного. Например, грачи. Птица, безусловно, полезная, но лишь до известного предела. Пока идет вспашка полей, грачи поедают личинки вредителей, но вот землю засевают зерном, личинок больше нет, и грачи склевывают зерно... Противоречие? Безусловно. А кому решать противоречия, как не академиком?

Кто-то из великих, совершив открытие, воскликнул «Эврика!». Мишка просто кричал «Ура!». Над своим «открытием» он думал одиннадцать часов и тридцать минут. Это время понадобилось ему, чтобы вспомнить: речь у птиц и животных заменяется звуковыми сигналами. Остальное было просто, как просто всякое «гениальное» открытие. Потрясенный грач, как и всякая птица, подает сигнал опасности. Значит, надо достать магнитофон, поймать грача, напугать его и записать крик. После, когда кон-

чится полезная деятельность грачей и начнется вредная, достаточно завести магнитофон.

Все, что делают мальчишки, для них серьезно. А Юрий Дмитриев смотрит на них с улыбкой, может быть, немного нарочитой: над делами мальчишек принято улыбаться. А дальше? Дальше выясняется, что автор и не ставит перед собой задачи открывать новые художественные характеры. Он непринужденно, без нажима вводит своих читателей в сложный мир подлинной науки. Заглавие книги «Пароль «Пусть живет!» постепенно раскрывается в своем истинном значении. Книги Юрия Дмитриева относятся к жанру «познавательной литературы». Название жанра, конечно, условно: всякая настоящая литература несет элемент познавательности. Но для Дмитриева это главное. Ему важно не научить, а пробудить интерес к познанию, открыть юным читателям увлекательность путешествия пытливого ума в противоречивый мир, окружающий нас с детства...

Б. БАЛТЕР

«Мирное, как птичий перелет, зрелых лет спокойное веселье» — вот, пожалуй, основная нота последнего сборника Леонида Завальнюка («Это — реки», Хабаровское книжное издательство. Благовещенск). Есть свойство, которое можно было бы назвать поэтической добросовестностью: ощущение, что стиль совпадает с обликом лирической личности. Казалось бы, это так естественно, а между тем поэты подстерегают по крайней мере две опасности. Одна — напряженное, взвинченное вдохновение, которое само становится



предметом стиха. Другая — сниженность, заземленность лирического облика, самоирония — наиболее общий недостаток нашей нынешней поэзии. Может быть, в нем выражается что-то вроде смущения поэта перед своим даром: как же это получилось в самом деле, что в этой вот брэнной оболочке живет дух, способный воспарить? Отчасти, может быть, дело в том, что поэт не уверен в самом парении. Да к тому же и поэзия наша по среднему своему возрасту не очень молода.

Поэзия Л. Завальнюка, чуждо ложное вдохновение, романтически-неточная мысль о мире.

Зато к форме спасительной иронии он охотно прибегал в прежних сборниках. И отрадно сознавать, что в новом сборнике интонация становится все серьезнее, спокойнее, а если есть чувства неуверенности, даже порой растерянности, — они выступают открыто, а не прячутся в броню самоиронии.

Одна из тем нового сборника — тема возвращения, остановки: «Чем дальше, тем труднее без былого — мельчают мысли и черствеет слово».

Это не элегический вздох о минувшем как реакция на торопливый прогресс. Это естественная потребность зрелого сознания: остановиться, оглядеться, лучше понять сегодняшний день, наполненный живым, трепетом ушедших навсегда поступков и чувств. Этот-то день и можно обернуть к будущему, — «всех столетий дали освещая светом вспоминающей души».

На облике лирического героя лежит печать доброты — не специально поэтической жалостливости, а простой человеческой доброжелательности, даже добродушия.

Образная переизбыточность — вот, пожалуй, основной недостаток поэзии Завальнюка. Конечно, назвать прямо недостатком свойство чуть не всей поэзии XX века было бы по меньшей мере неосторожно. Да и опасно спутать личное неприятие с объективной оценкой. Поэтому правильнее, может быть, говорить об образной неточности, о преобладающем внешне-сравнительном принципе, о недостатке вкуса и меры в таких, например, образах: «А в синем небе поднимает петли каногото незримого чулка блистающая спица самолета».

Образная изобретательность, подменяющая поэтическое вдохновение, вызывает иногда досаду. Но только захочется упренуть за нее поэта, сказать, что обилие образов свидетельствует скорее об упадке поэтической энергии, чем о ее взлете, как вдруг у него же встречаем признание: «Обильно образы пошли, знать, сила иссякает. Скользят слова как бы в пыли, огня не иссекают».

Эта сознательная и точная оценка невольно обезоруживает.

Думается, что наибольших успехов Завальнюк достигает не в области образной изобретательности, а на ином пути — мгновенной точности, завершенной четкости неожиданной детали: «Подранок плакал в озере пустом, была пора перегоранья света, а в небе самолеты шли крестом...»

Е. ЕРМИЛОВА

У этой книги точное название — «Теченье лет» (Восточно-Сибирское книжное издательство). Это оставленные позади годы. Они

включили в себя сделанное и предполагают движение дальше.

«Теченье» — плавное слово, не определяющее, однако, ритма жизни. Ритм этот всегда стремителен. Только один скажет — «бег времени», другой — «теченье лет», а третий — мгновенное — «вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова». Три ощущения времени. В каждом исключена случайность и выбрано самое верное слово.

Кинематографическое мышление Юрия Левитанского спроецировало именно слово «теченье». И все стихи книги оказались с ним в органическом единстве. Перед этим плавно течет лента его жизни, и он, зритель ее и режиссер, выхватывает стоп-кадром самые памятные места. «Загораются строгие лампы памяти, подчиняясь мудрым законам памяти». И, как импульсы, мигают на движущейся ленте тревожные картины минувшей войны: «Синяя лампочка» — «Мое поколение» — «Смерть»...

Левитанский — поэт сложной гармонии. В его стихах есть тонкое ощущение Чехова. Сперва ускользающее и неуловимое, оно вдруг ясно выступает в стихотворении «Элегия»:

Сон происходит в
минувшем веке,
Звук этот слышится век
назад.
Ходят веселые дровосеки.
Рубят, рубят вишневым
сад...

А когда в стихотворении «Популярность» называется уже и само имя — Чехов, не остается сомнений, что чеховский дух в стихах не случаен. Есть в Левитанском что-то чуть-чуть старомодное, это придает его стихам особое очарование.

Стихи Юрия Левитанского больше рассудительного плана, но в их правильной, выстроенной логике бьется нервная напряженность, и поэтому их нельзя назвать тихими, спокойными, скорее, они выдержаны в душе поэта, как выдерживается вино, не теряя своей первородной силы. Они без суеты. На них лежит отпечаток зрелости, не иссушающей, а лишь обостряющей восприятие: «И убивали, и ранили пули, что были в нас посланы. Были мы в юности ранними, стали от этого поздними».

Зрелость научила поэта не судить опрощенно и наложила на стихи отпечаток внутреннего достоинства. Интели-

гентность уберегла его от безвкусицы. Умение наблюдать внесло в поэзию ироничность, но эта ироничность не стала почерком, а осталась в его стихах как качество, присущее человеку тонкого ума.

Чем сложнее человек, тем меньше у него потребности искусственно усложнять. Поэт, умеющий подняться над условностями, не побойсь показаться банальным. Когда Левитанский рифмует «горе» с «морем», эта столько раз использованная рифма оказывается единственно верной. Он пренебрегает внешней броскостью, но мастерски умеет «расцвечивать» одну рифму, одну интонацию, и в этом его стилистическое своеобразие...

В. СКОРИНА

«Потомки Ермака» — так называются сборники, рассказывающие о великой стройке на Енисее. Вышло уже три книги. Ее авторы — строители Красноярской ГЭС, члены литературной группы при дивногорской газете «Огни Енисея».

Коллективный автопортрет молодого поколения встает со страниц этих необычных книжек, любовно изданных Красноярским книжным издательством.

Третий выпуск посвящен вводу в строй первых агрегатов крупнейшей ГЭС мира (соавтатель и один из авторов сборника — журналист и старший прораб Олесь Грен). Стихи и рассказы, очерки и фотографии — свыше двадцати авторов приняли участие в их создании. Летопись строительства — это и летопись возмужания характеров; будни великих строков — это и будни духа, возвышающегося до ясного понимания своего места в жизни, а иногда до подвига.

Требовательный читатель, наверное, отметит разный художественный уровень материалов сборника. Не пройдет он мимо явных удач — стихов Владилена Белкина и Петра Ермолаева, «Енисейского дневника» Веры Троицкой, очерков И. Соколова и Олега Луцевича...

Люди написали не просто стихи, очерки, рассказы: они создали своего рода антологию молодой дивногорской литературы.

В. ИНДУРСКАЯ



«ВОТ ИМЕННО— ПЕРВИЧНАЯ»

*Несколько суждений
Бориса Сергеева, комсорга ЦИЦа*

Забавна эта аббревиатура — ЦИЦ. Так и напрашивается в шутку, чем заводские остряки всегда не прочь попользоваться. «ЦИЦ» — окрик?

А на самом деле нет на всем ленинградском Кировском заводе места спокойнее, чем ЦИЦ — центральный инструментальный цех. В пролетах его — цветы, почти учрежденческая чистота. Станки десятка разных назначений удивительно деликатны: ЦИЦ обрабатывает легкие по весу детали мелкими партиями, без надсадного режущего режима. Ювелиры при тракторах. Это ЦИЦ.

— Вот именно что ювелиры, — соглашается Борис Сергеев.

И на этом я закончу предисловие, призванное лишь расшифровать вам, с кем имеем дело. Перейдем («вот именно сразу») к суждениям Бориса.

ПУТИЛОВЕЦ-70

— Вы вот как себе представляете путиловца? Небось, с «питерскими усами», в кожанке, с кустистыми бровями. Радость Изогиза.

Между прочим, старики наши бреются до микронного блеска...

Но вот — шли, наверное, через центральную проходную? В десятом часу? Поздненько. Вы бы к восьми. Я, вот именно, не новичок уже, а иногда утром просто вздрогну. Это же как на молодежное гулянье! Болоньи, куртки, дубленки стильные, каблучки за километр слышно. Путиловец-70!

Позднее Борис вместе с молодым партгором цеха Александром Румянцевым подсчитал: из 600 рабочих ЦИЦа 269 комсомольцев. Плюс еще «несоюзные» подростки (от 16 до 18), плюс половина парторганизации — до 30 лет. Убеждает? Крупнейший завод страны становится молодежным.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

На площадке между абразивным термоучастком — два легких, почти щегольских станка. Укреплены на деревянных полозьях. Перед дорогой, наверное.

— Точно. Переселенцы. Еще послужат хороший век где-нибудь в РТС. А нам, вот именно, новые.

Ведь в чем идея? Превратить работу в цехе в непрерывное учение. Профессии — без границ! Чтобы не было дня, когда ты не обучился новому: чертежу, оснастке, приему, устройству. Вот вечером (студентов и ШРМ не беру) — курсы, курсы, курсы. Наладчиков, мастеров, лекальщиков. Учебный комбинат работает с напряжением таким же, как завод.

В комсомольском бюро Борис показывает генеральную схему-перспективу. Планируется все: присвоение очередного разряда, выдвижение в мастера или перевод в конструкторское бюро, ступеньки от школы рабочей молодежи к техникуму, к институтам. Комсомольцы ставят своей задачей исходный уровень в 10 классов, а от этого рубежа — вперед и выше. Есть уже и правофланговые. Виктор Читаев, например, слесарь-ремонтник, после третьего заочного курса инженерного института с помощью бюро переведен в конструкторское. Лариса Кудряшова заканчивает 5-й курс заочного политехнического, Саша Морозов там же — на втором.

«В ЧЕМ ИДЕЯ!»

— Как подумаете иногда: где ты? Организация, завод ну буквально со всемирной славой. По существу, вся история русского освобождения, ведь так?

Или комсомольская организация. На ее знамени орден Трудового Красного Знамени. И по делам ждут от Кировского все нового. Чуткости ко времени, да? Вот 31-й цех выступил с почином: соревнование комсомольских бригад за право носить имя XXIV съезда КПСС. Ну и работаем, как это у вас говорится, в таком контексте. Наши награды поскромнее.

Борис показывает радиоприемник, магнитофонную приставку, грамоты, переходящее знамя.

— Но в чем идея? Что, спрашивается, первично? Не на комитетском (комитет у нас на правах райкома) уровне все решается. И не на общезаводской конференции. Там уже «обобщают» мед из первичных сот. А соты — мы, первичные ячейки. Поставишь задачей «работа — учение», и уже есть вкус у твоего меда.

...Очень, скажем, трудная публика — подростки. Один не хочет учиться: скоро в армию. Другому работа кажется пределом свободы, уходом от школьного принуждения. «За что боролся», да? И нужно испробовать десятки подходов, пробраться к нему, поразить его воображение: слушай, как же ты мал рядом с умной машиной, не говоря уж об умном человеке!

А пережал с правоучением — сломаешь. Вот сегодня выбираем совет подростков. Как считаете, поймут, что доверяем им самим?

Ну, вот-вот. Именно — первичная! Здесь либо получают вкус к коллективизму, либо утрачивают его. Впервые пробуют силенки: «Могу — не могу?» Ну и так далее.

Первичная. Как в диамате, верно?

Сейчас он ощупывает это слово, вертит так и эдак. В самом деле, первична ячейка не потому, что сама изобретает велосипеды, вынашивает почину, предлагает до сей поры не слыханное. Первичная она надежностью, настойчивостью, сплочением индивидуальностей, равномерно притершихся. И только тогда рождается свое. Как в ЦИЦе: «работа — учение».

ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ

— Что запомнилось тебе, комсорг, за последние месяцы?

— Тридцать восемь. Это, понимаете, идет у нас общезаводской воскресник. Между прочим, от бесполовой массовости давно отошли, четко распланированы задания, участки, точно известно, сколько человек от каждого цеха нужно, чтобы работали толково, не суча руками впустую: на ЦИЦ — 12 человек. Выделили. А наутро, на сборе, — тридцать восемь из цеха.

Умиляюсь, да? Черт его знает. Но вот в чем твердо уверен: сколько бы ни понадобилось, будет больше. В этом не цифрой убедишь. В этом пожить надо. В первичной обстановке, а?

Вот с ребятами познакомьтесь. Каждый на особицу, какой-то чертой поразителен. Два Витьки: Ольшевский и Лазарев. Помните, ювелиры при тракторах? Инструментальщики при безграничных рамках профессии — это золото. В любой цех их оторвут с руками.

Оба Виктора из таких. На заводских соревнованиях «лучший по профессии» — призеры. Вот тут мы, в ячейке, ничего не жалеем: подготовить конкурс, растрюбить о нем, сделать этот день праздником. По-

сле этого любой несмышленыш задумается. Ведь стать таким виртуозом на весь Кировский — без культурных мозгов, без учения — что вы, что вы...

Люба Терентьева тоже красиво работает. И лучшая комсомольская группа у нее. Правда, и преемственность сильна. Петр Арсен, недавний комсорг участка, теперь мастер здесь же. Очень складно получается.

Действительно, складно. Добавлю к этому, что у бюро неукоснительно исполняемый план: ежегодно несколько рабочих-комсомольцев заканчивают курсы мастеров, становятся старшими в цехе. Организация диктует уже и административную политику, которая становится все ближе молодежи, все «воспитательней».

СВЯЗИ

— Каждый заводской, если уж он всерьез заводской, мечтает о крепости связей. Ну, говорят же «заводская семья». Очень хочется, чтоб была эдакая непрерывающаяся линия: от отцов к сыновьям, внукам — и до скончания века. Пришел, скажем, к нам Володя Петерсон — уже потомственный кировец. После десятилетки пришел... Но обидно, что для многих завод — дальний резерв. После десятилетия институтских попыток на худой конец — сюда.

Да, связи...

Шефствуем над 9-м классом 456-й школы. Не формально шефствуем. Хотим за их счет пополнить свою первичную. Мы — к ним, они — в цех. И концерты, и спорт, и политехнизация. А придут ли, попомянут ли? Ну, не буду гадать...

Вот беседовали с вами о простом, о хорошем. А из первичной и трудное первичней видится. Жгучее дело — пополнение. Помните, говорил я о толпах молодых у проходной? Нет, все верно. Но не забудьте, что шеголяют здесь в скороходовских туфельках девчонки Пскова, в болоньях — парни из Брянска, с Орловщины. А Ленинград дает все меньше молодых. По крайней мере в последние годы. Пролетарский-то оплот! Вы извините мою горячность, беседа же...

Завод — школе... Это я понимаю, тут с нас можно еще больше потребовать, верно. А школа — заводу? О, брат! Может, нам лучших-то комсомольцев-рабочих и учителями по труду направлять?

Связи, конечно, связи. Живые, заинтересованные. От ячейки к ячейке. Самые прочные.

Из них и самое крупное вырастает. Вот вам пример. К XXIV съезду партии заводской комсомол обязался выпустить 10 сверхплановых тракторов. Только за счет добровольной работы. И пошла связи от цеха к цеху: кто, где, когда, что делает, безвозмездно и споро. Как дальше протянется ниточка? Спишемся с деревенскими ячейками, определим десять лучших молодых механизаторов в разных районах. Им вручим свои трактора.

Вот это, я понимаю, связи. От тебя во все концы...

Негромка, неброска жизнь первичной комсомольской организации. Но ее лицо — лицо ВЛКСМ. Ее почерк, ее дело своеобразны, если бьется в первичной мысли, определяются цели, замечен человек.

Об этом будут говорить на ближайшем Пленуме ЦК ВЛКСМ. И пусть несколько суждений Бориса Сергеева будут считаться речью, хоть и негладкой, в этом нужнейшем обсуждении.

Вел беседу А. ЕГОРОВ.



ПУБЛИ-
ЦИСТИКА

Юрий Скоп

ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Из цикла
«Открытки с тропы»

Рисунки А. Шульца.

Слово стройка ярче других выражает наше движение вперед. Гидроэлектростанции и комплексы заводов, газовые магистрали и сотни километров железных дорог преобразуют лицо нашей земли.

А как преобразуется во времени сама стройка? Чем обогащает она людей? Какие методы хозяйствования, культуры, человеческих отношений на строительстве можно считать сегодняшними, зрелыми? И что должно быть отброшено, убрано, как мусор со стройплощадки?

XXIV съезд КПСС определит магистральные пути новой пятилетки. «Практический, сообща переработанный опыт», как говорил о том Ленин, будет лучшим подспорьем в большом партийном разговоре, в прогнозах, охватывающих всю страну.

В восьмом номере журнала за этот год мы напечатали первый очерк о дороге Тюмень — Сургут. Сегодня предлагаем читателю второй — о планах, делах и мечтах молодежи, о трудностях счастливых и трудностях досадных. В конце концов — и о том, как мы будем строить завтра.

Часам к двум-трем ночи начинала петь на разъезде Савинском цыганка:

Дорогой длинною, да ночью лунною,
да с песней той, что вдаль летит звеня...

С темного неба шла к земле невидимая покаяющая изморозь, прямо от Королевского дома (он крайний в поселке) начинались пойменные, притобольские пустоши. Саныч в одних трусах валялся на диване возле проигрывателя и никак не мог заснуть после очередного сумасшедшего рабочего дня. Вот уже вторую неделю подряд начальнику строительного поезда № 227 нравилась эта цыганская песня, и он лежал с открытыми глазами, курил и слушал. В это время я обычно не мешал ему разговорами и тоже слушал цыганку из другой комнаты, под сохачьими рогами, на которых колбасным кругом выгнулся патронташ и тяжело зависла потасканная централка.

Пластинка кончалась и почти сразу начинала снова:

...Дорогой длинною, да ночью лунною,
да с песней той...

В эту поездку я прихватил с собой старую книгу про Сибирь, выпущенную в неизвестно каком году книгоиздательским товариществом «Дело» в Москве. И вот, пока пела про дорогу цыганка, я читал в этой книге, что свое название Сибирь получила, как думают, от небольшого народа сывыр, или сыбир, который жил по среднему Иртышу в нынешней тобольской земле и еще до прихода русских в Сибирь был покорен татарами, пришельцами из Средней Азии. Имя этого народа к тому времени уцелело лишь в названии столицы хана Кучума — Сибирь, или Искер, завоеванной Ермаком... Немного погодя я дошел и до более подробного места и узнал, что после распада Золотой Орды сибирские татары основали на реке Ишим свое независимое царство, а в половине XIV столетия в этом царстве произошло междоусобие. Бек Чинги, убивший хана Она и боявшийся мести со стороны родственников последнего, перенес свою столицу на реку Туру, где и основал город Чинги-Тура (ныне Тюмень). Но на Ишиме также основалось независимое царство, и его хан Ибак начал войну с отложившимся новым ханством, но был убит Магметом, потомком Чинги. Он-то и перенес свою столицу на Иртыш (около 1495 года), на место остяцкого города, где и основал Искер в шестнадцать верстах от нынешнего Тобольска...

— Сань, а Сань! — позвал я Королеву.

— Ну?

— От Савинского до Тобольска сколько?

— Около шестнадцати... Если с кривулями. А чего?



— Да так...

...Дорогой длинною, да ночью лунною...

Дрема разом сомкнула временные просторы, и, засыпая, я унес с собой в сон не луну, что словила, наконец, себя в оконное перекрестие, а окатую ковань ермаковской кольчуги, в которую с шипящим звоном ударила сейчас напрямую плохо оперенная стрела...

Утром я почти сразу увидел на полу рядом с койкой записку. Саныч писал в ней: «Ушел пораньше. Надо. А ты покорми моих девок и, если сможешь, подсоби им с уроками. Я за тобой заеду — рванем на головку трассы».

Покормить-то я покормил девчушек, Алиску и Алинку, но вот что мне было делать с их задачками — тут я про себя сильно сомневался. Алискина была под номером 947, и было в ней вот про что: из двух мест, расстояние между которыми 33 км, одновременно вышли навстречу друг другу два пешехода. Один из них проходил в час 5 км, другой 6... Надо было сообразить, через сколько часов эти самые пешеходы встретятся...

Я делал перед Алиской очень такой важный вид, а сам почему-то, независимо от себя, думал про другое. Задача-то ведь была про дорогу, вот и всплеснулись в памяти, с ходу смонтированной горстью, разные малости, связанные с хорошо мне знакомой когда-то стройкой Тайшет — Абакан. Там тоже из разных мест навстречу друг другу шли люди, и им тоже надо было обязательно встречаться через какое-то определенное или совестью или планом время...

— Не выходит? — участливо шмыгнула носом Алиска. — А вы еще разок прочитайте. Хотя они все равно сойдутся, если договорились...

— А если не договорились?

— Тогда... тогда они просто так гуляют. Можно, я пойду?..

— Погоди. Ты-то про них откуда знаешь?

— Про кого?

Мы удивленно посмотрели друг на друга.

— Можно, я тоже пока малость побегаяю?

— Валай!

Алиска моментально испарилась на улицу, а я, глядя в учебник А. С. Пчелко и Г. Б. Поляка, издание 15-е, припомнил...

«...Двое вышли из леса. Весной. Когда реки, ломая тропы, сбросили со своих плеч опостылевшие ледоставы.

...Двое вышли из леса. Перешли грохочущие реки по последним льдинам и явились в Бирюсу, в штаб СМП-288.

...Двое вышли из леса. Когда на Саранчете стало особенно трудно с продуктами, жильем, письмами. Когда таежная, стремительная Бирюса отрезала Саранчет от большой земли».

...Двое вышли из леса. Перебрались через реки и в штабе потребовали назад свои документы.

— Увольняйте!

...Через пару недель на Саранчет все-таки забросили почту. И когда конверты, посылки разошлись по загрубелым рукам, на столе осталось два письма. Они были адресованы Владимиру Овчинникову и Анатолию Волкову...»

Одну минуту, сейчас все объясню. В 1961 году у меня вышла в Иркутске первая книжечка очерков о молодых строителях Тайшет—Абакана. За год до этого мне крупно повезло: почти первым из журналистов я умудрился пешком в конце осени выскочить на головной десантный участок стройки — будущую таежную станцию Саранчет. Там жили тогда ребята из третьей колонны строительно-монтажного поезда № 288. Около месяца провел я с ними, а после и написал свою первую книжечку и окрестил ее, как поллучше — «Земля первых». Открывалась она эпизодом, озаглавленным «Три письма», а дальше и шел тот текст — точь-в-точь по моде того времени... Ну, а теперь к самим письмам:

«ИЗ ПИСЬМА К ВЛАДИМИРУ ОВЧИННИКОВУ
(Исправлены только пунктуация и орфография)

«...Здравствуй, Володя! С приветом к тебе Сима! Володя, пишу тебе второе письмо и только одно тебе, буду просить. Я уже со всеми переговорила. Уходи немедленно оттуда, пока живой. Ты сам теперь видел, куда попал. Вот только сейчас я от Павлюшина

Жени пришла, и он мне рассказал, какая там жизнь. Он говорит, тебе очень просто уйти. И деньги не надо возвращать. Можно так уйти.

«...Володя, что ты наделал? Себя усадил в яму! Как тебя вытащить оттуда, не знаю. Горбатый Павлюшин приехал, и еще приехали ребята Черкасовы, тоже ушли оттуда. И ты уезжай...»

ИЗ ПИСЬМА К АНАТОЛИЮ ВОЛКОВУ:

«...Здравствуй, мой сынок Толя! С горячим приветом к тебе мама и сестра. Спешим обрадовать, что письмо твое получили, которое нас очень обрадовало. Будь осторожен во всем. Уважай начальников. Как питание, сыт ли ты? Пиши, какой там край, холодно или тепло? О нас не горюй. Пока обживешься,ознакомишься — будешь скучать, а потом привыкнешь. О нас не горюй, мы дома как-нибудь. Все твое бережем. Гармошку завернула и берегу. Бог даст приедешь в отпуск, поиграешь.

«...У нас сейчас паводок, тает снег. Ребята все спрашивают, нет ли письма от Толи. Ничего, сынок, переживешь первое время, а потом привыкнешь...»

«...От первого письма у ребят сжались кулаки. От второго сжались еще крепче. Ушли-то оба.

Шумел над весенней тайгой апрельский ветер. Потрескивали в печурке-самоделке дрова. Ребята писали письмо:

«ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!

Нам ни разу не приходилось писать письма в редакцию. Может быть, и не пришлось, если бы не такой случай. Сами мы по комсомольским путевкам приехали вместе с товарищами на строительство дороги Тайшет—Абакан. Работаем пока разнорабочими, хотя имеем специальности. Но мы миримся со всем, ведь все работы ценятся и облагораживают человека.

И вот нам попались письма «патриотов», которые сбежали, испугавшись трудностей. Может, мы и неправильно сделали, что прочитали их письма, но уж если прочитали, то назад не вернешь.

«...Жизнь наша, полная патриотизма, конечно, не без трудностей. Но трудности мы устраняем общими силами. Сейчас мы строим станцию Саранчет. Когда мы приехали сюда, то здесь не было ничего, а сейчас мы уже установили электростанцию, поставили пилораму, построили общежития. Насчет продовольствия — всего хватает. Кто желает, может приобрести специальность, может заочно учиться...

В общем, жизнь комсомольцев, поехавших по путевкам, хорошая, каждый, кто захочет поехать к нам, приезжайте, не слушайте тех, кто испугался и сбежал, променяв свою честь на тепленькое местечко.

Коллектив строителей третьей
Саранчетской колонны».

«...Их не надо комментировать, эти письма. Они сами говорят о себе. Саранчет живет, Саранчет строится, Саранчет борется с трудностями. Там комсомольцы, там настоящие советские парни. А двое? Двое ушли. Ушли по грязной, разбитой весной дороге, с грязными, разбитыми трусостью душойками. Такие не оставляют следов...»

— **Р**ешили? А я уже погуляла, — объявилась в комнате Алиска.

— Почти. Давай вместе... — И мы стали решать, но как-то не так, как ее учили, а с моей сегодняшней точки зрения здравого смысла. И, главное, выходило все просто: тридцать три на двоих — получалось по 16 с половиной на каждого. Отсюда я предлагал 16,5 делить по очереди то на 5 км, то на 6... И в это время подъехал к дому Саныч. Коротко вник, не раздеваясь, в суть, и ответ был готов.

— Забыл? — улыбнулся он мне.

— Да и не знал, по правде...

— Ладно... Станет твоя учиться, усвоишь. Поехали? А вы тут по уму хозяйничайте. Не шибко... — уже с порога порекомендовал он девчужкам. Те согласно кивнули. А мы поехали на дорогу...

И опять валко качался в разбитой колее «газик», и снова эта самая колея неотступно вязалась к главному магистральному полотну, как бы боясь отступить от него. Уходили назад будущие перегоны — имени Саши Шестакова, Ингаир, Горно-Слинкино, Туртас... В общем, хорошо убежала на север трасса, косо пересекая тюменскую землю,

в которой расковыряли-таки нынешние люди преогромную бочку с нефтью... Здесь, на Туртасе, мы и остановимся, потому как здесь в минувшую весну обживалась «головка» Тюмень—Сургута, и сюда выбросил Королев головные путеукладочные десанты...

Внешне «головку» трассы описать ничего не стоит: голость окружная, так, с реденькими островками чахлого подлесья; вагончики строителей, сбившиеся стайкой на изрезанном гусеницами косогоре; костры, ревы бульдозеров, ветер, сдувающий цементную пыль; лед в котлованах... Все такое же, неизменное, и завяжи мне сейчас глаза, раскрути, чтобы утратилась полностью ориентировка, а после спроси: где ты? — вряд ли отвечу. Было такое и на Тайшет — Абакане, и на Хребтовая — Усть-Илиме, и на Ачинск — Абакане, и на трассе Тайшет — Осетрово... А ведь за каждым из этих названий годы и раздумья обязательно и решения, по поводу которых и хочется сейчас не спеша посоветоваться...

У каждого есть или будет еще своя дорога. Развидую тем, кому они только предстоят. Дороги в России — что жизнь: можно прожить и не заметить, если шибко бежать по ним станешь. Только когда бежишь, главное — не забывать о том, что бежишь: может и дыхания не хватить или проскочишь мимо чего-нибудь самого главного... Иногда, на привале, хорошо вспоминать ладно пройденные тобой пути... По слякоти, посуху, под грузом и налегке... Каждая новая тропа метит несмываемо память и душу какой-нибудь, пускай и крохотной, меткой. По ним, этим меткам, после, если дотянешь до истинной зрелости, можно, наверно, подобраться и к высшей сути, то есть к оценке самого себя...

Стоит учесть при этом и еще одно обстоятельство: когда-то ведь кончатся или кончаются тропы первых, а с ними, значит, и земли первых... И по ним начинают идти вторые, третьи, пятые... Этим, по логике, тоже будет не просто: привилегия первых — глухомань, комары, «медведя вот здесь пугнули»... вряд ли наново вызовет это у слушателя тот изначальный испуг или удивление... Стало быть, когда-то кончатся и географически и психологически так называемая «романтика первых», и самой волей освоения человек исчерпывает географические возможности романтики. Что же дальше?

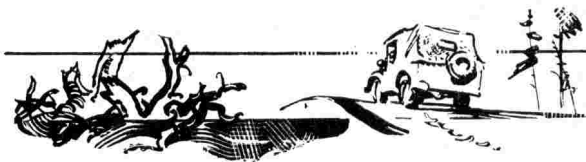
И юность и взрослость будут продолжать срывать с насаженого и уносить себя на моря или суши в поисках счастливейшего из ощущений — первооткрывателя... Как же быть? А вот так. Сама жизнь подсказывала и подсказывает перспективу — перспективу углубления романтики уже в чисто человеческом плане: сибирские первостроители не только возводят фундаменты новых городов и заводов, не только прокладывают линии новых дорог, они берут на себя ответственность за формирование будущего поколения, то есть тех, кто в недалеком в общем-то времени продолжит их дело. А это уже новый, качественный аспект романтики...

Так чем же запомнились мне — по степени взросления — мои дороги? Не все, конечно, а самые-самые...

Тайшет — Абакан

Ну, конечно, Мишкой Фадеевым, единственным тогда воспитателем (была такая должность!) на трассе Восточного плеча...

...Прошли первые дожди новой весны и крепко поразмыли лед на Бирюсе. Стал он походить на сыр с дырочками. А Мишке Фадееву нужно было позарез на Туманшет, в десант, к ребятам: письма им отвезти. Кстати, те самые, которыми я и открыл свою первую книжечку. Да... А Мишка где-то читал (он сам мне об этом рассказывал), что вроде бы в каком-



то северном государстве, «капстране», молодые капиталисты увлекаются странным занятием: в самую весну, когда море истачивает лед до тонкости, они садятся на «кровных» коней и шуруют во весь дух по этому льду — и что кони только-только успевают уходить от трещин. «Прямо за копытами — глубина!.. Во блин, здорово!» — говорил Мишка.

Здесь же у него не было кровной лошади, зато было желание перескочить на ту сторону реки, где вот уже с месяц парни-десантники не имели вестей от родных и так далее...

Фадеев оседлал смиренного, лишаистого мерина с отвислой губой и неожиданным именем Игорь и погнал его по льду, который походил на сыр с дырочками. Сыпал снег вперемеж с дождем. Игорю, екающему селезенкой, оставалось метров десять до берега, но лед треснул, и провалились они с Мишкой в воду. Как-то все-таки выбрались, но, уже подъезжая к разъезду, мерин стал: у него задеденел хвост. «Прямо как полено повис, зараза! Холодное и гладкое», — пояснил Фадеев.

В общем, догадался Мишка перочинным ножом по волоску отпилить Игорю хвост по самую репицу. «А что оставалось? Не на костре же ему хвост оттаивать...»

Так Игорь лишился своего единственного украшения и стал походить, как это придумали парни, получившие свои письма, на сеттера...

Байкал — Баргузинский заповедник
Работая здесь егерем, мне пришлось однажды рубить тропу — выючную лесную дорогу.

Была уже осень, и в гольцах лег первый снег. Лестела листва, и ручьи становились как бы ситцевыми, а рябье кедровки бомбили мятную от дождей землю туго заклеенными шишками. Навсегда запомнились мне последние четыреста метров тропы, что выходила на Керму. Береза и ельник сменялись на сплошной чепурыжник — мелкий кустарь. А его надо было вырубать заподлицо...

Какое все-таки странное это слово — «заподлицо!» Смысл его можно, пожалуй, понять, лишь когда вообразишь сам с мелколесьем... Как оно сопротивлялось, как больно хлестало по лицу, вставая из-под топорного лезвия! Мокла энцефалитка — таежная гимнастерка, ныла поясница, а до реки оставалось так немного, всего четыреста метров, и мелочь эта не хотела отдавать место тропе, по которой сейчас нет-нет да идут люди и звери...

Хребтовая — Усть-Илим

На старых картах сама деревенька Хребтовая означалась раньше иным именем — Избушечная... Я попал сюда в ночь под Новый год, когда налился мороз лютой крепостью и над избушками местных жителей прямо к звездам стояли нестягаемые печные дымы...

На станцию только-только подтянулся строительно-монтажный поезд № 288 — мой старый знакомый по Тайшет—Абакану. Теперь его передислоцировали сюда, «к полю» новой трассы. Визжал под валенками снег, из теплушек стреляло жилым паром, мы сошли с полотна к заиндевелым соснам с Александром Федоровичем Скрягиным, начальником СМП. По-приятельски (давненько не видались) покурили, и

он сказал, не обращая ни к кому, наверно, про себя, но вслух:

— Ну, вот... И опять я тащу народ под сосну...

Возможно, кому-нибудь станет непонятным подтекст этих слов, возможно... А Скрягин горевал вот о чем: неужели, мол, не сгодился опыт прежних строек, и неужели нельзя было до подхода СМП поставить в тайге щитовые дома для строителей?.. Конечно же, можно было. Такие, как Скрягин, не одну тысячу километров железнодорожной решетки положили по земле, пробивая пути цивилизации во вчера еще не обжитые углы. Так разве непонятен их больший спрос сегодня к тем условиям, в которых тянут они эти пути?..

А теперь Тюмень — Сургут, новая и пока еще будущая железная дорога, что вытекла сегодня желтоватой насыпью прямо из семидесятих годов.

В минувшую весну трасса в уплот подошла к разъезду Туртас, и от Саныча, а точнее, Александра Александровича Королева, начальника СМП-227, зависело тогда, выполнит управление «Тюменстройпуть» взятые к ленинскому юбилею обязательства или нет. К апрелю на Туртас должен был, хоть кровь из носа, но прийти первый тепловоз... И что же я навсегда возьму с собой от этой дороги, какую-то метку?

...Триста второй километр трассы. Оттепель. Котлован под трубу: по ней будет потом дренировать излишняя почвенная вода. В котловане лед. На косяге скрежещет бетономешалка. Пронизывающий ветер. А в котловане, в обжигающей воде девчонка... Молоденькая совсем, в свитерке, перемазанном глиной, в резиновых бахилах, с капелькой под засиневшим носом от трудной работы. Хорошенькая... Челочка на лбу, белые зубки... Руки по локоть мокры: она замыкает цепочку ребят, передающих друг другу ледовые обломки... Увидала, что на нее смотрят, заинтересничала... Рукавичкой-верхонкой цепочку подыершила, почаше зашмыгала носиком, это чтобы капельку посогнать, заулыбалась: а вдруг на фотокарточку снимать будут... Лет восемнадцать ей, не больше. Горячая кровь! И наплевать ей сейчас на воду...

Годы пройдут, а не забуду я эту девчонку с дороги Тюмень—Сургут. Не забуду, это уж точно...

В свое время я слышал рассказ приятеля, которому пришлось «от и до» отломать Великую Отечественную. И чего только не было у него на дымных ее дорогах — где-то сразу после школы попал на фронт! Но пометила она его странно, вот каким образом:

— Под Сталинградом, в окружении это было... Дали приказ — срочно доставить донесение в соседний батальон. Я на лошадь. Степь горит, и дело под вечер. Скачу... Вдруг кто-то окликнул из сумерек. Думаю, показалось, но приостановил лошадь... Огляделся, вижу: Анька! Ну, да, Анька из нашей школы, из соседнего 10-го «Б»... С санитарной сумкой... «Ты куда?» — говорит. А она мне нравилась... Удивился, конечно, чего это она в степи делает. Степь горит, и справа танки немецкие... Слышать их уже. А, главное, некогда, в обрез времени. Махнул ей рукой, мол, пока, Анька, дела!.. И поскакал. Надо было приказ отвезти, чтобы отходил батальон... И вот уже сколько прошло с войны-то, пробасть времени, а стоит у меня перед глазами та Анна!.. В гимнастерочке, с сумкой санитарной... Как этот... памятник... В потемках, дыму... Так и будет стоять... Одна посередине войны. Нравилась она мне, понимаешь? Да и в этом ли только дело?..

Перед самым отлетом на Тюмень — Сургут (билеты были уже в кармане) нас пригласили в Министерство транспортного строительства. В министерстве крайне интересовались нашей поездкой, тем более, что отчасти она была продиктована именно желанием министерства получить публикации о новой железной дороге.

Мы отправились на Лермонтовскую площадь. Совершили лифтовое восхождение на высшие этажи и потом ходили по очень ответственным кабинетам, разговаривая с нужными нам, отзывчивыми людьми. В одном из таких кабинетов выслушали следующую напутственную речь:

— Ну, что же... Поезжайте. Дело, сами понимаете, очень важное... Хорошее дело. Не вам рассказывать о том значении, которое приобретает сегодня для всей страны тюменская нефть... В юбилейном году там предстоит освоить более пятидесяти миллионов рублей капиталовложений. Сами понимаете, размах! А кто его делает? Молодежь. Она двигает стройку. И надо сказать, повсеместно в героических условиях трудится. Вот бы и показать это, а?

Я достаточно внимательно слушал, а сам по привычке присматривался к обстановке кабинета... И вот что больше всего запомнилось мне — только не улыбайтесь! — роза. Ну да, цветок...

Прекрасная, нежно-золотистого цвета чайная роза на упругом сочном стебле тянулась от холодного окна, за которым дошумливали мартовская метельная Москва, к солнечному пятну на полированной плоскости письменного стола. Она уже набрала полную крепость цвета, вскрылась всеми своими лепестковыми разрезами, а в приоткрытую форточку нет-нет да и влетала, мгновенно вытравивая, искрящая морозь.

И теперь, в вагончике на Ингаире, я снова думаю: к чему же все-таки та роза? И с какой стати она ко мне привязалась?.. Ну, мало ли, нежное, балованное растение... Украшение, и баста!..

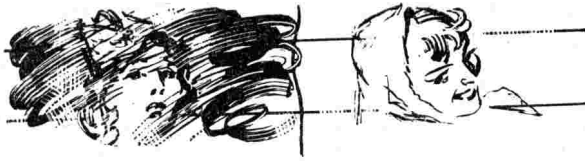
Наверное, неотвязен этот цветок, как воспоминание о своих «украшательских» репортажах.

Уже с начала шестидесятых годов я стал много ездить по Сибири. Выступал и как сторонний наблюдатель событий и как непосредственный их участник. Но сначала я все-таки привозил в газету очерки, в которых поступки подменяли раздумья. Кто-то кого-то спас... Чуть сам не утонул... А Сибирь громыкала, дрыбалась. Вторглась в нее сплошная, лавинная индустриализация, и с чем ее, матушку, только не сравнивали в те годы, даже с бетономешалкой! Именно с сим механизмом сопоставил мою родину один заветный писатель:



«...и наполнена та бетономешалка событиями, сложнейшими переплетениями человеческих судеб и невиданным энтузиазмом. Двигатель уже включен, машина сделала свои первые, самые трудные обороты, и теперь ее уже ничто не остановит...»

Перекрывались реки, падала тайга, взрывчатка снимала толщи под котлованы будущих городов и заводов... И все это делалось руками моих сверстников... Палатки, костры, «Марчук играет на гитаре», «Будни и праздники», слеты, свечи на живых елках (роза!)... Звонкое, горластое время... Только почему это однажды перестало так волновать, как вначале?



Почему не восторгало больше «отпиливание хвостов у лошадей»?

Может быть, потому, что становишься старше, и виднее от этого прожитое с его делами, беззаветностью и общезвестными переживаниями...

Да, тогда еще было много неясного — дымка героики заслоняла истинные перспективы Сибири. Казалось достаточным одного перенесения опыта индустриализации средней полосы на Сибирь. А первые эшелоны строителей шли и шли, не ощущая, в пылу, четких запросов. Удовлетворяли и костер, и палатка, и скудость пищевого и материального баланса...

Сегодня радуешься иному: невероятно быстрому взрослению вчерашнего новосела. Сегодня он, как никогда, чувствует возрастающий спрос к своему собственному месту в жизни. Этот-то спрос и породил проблемы сибирской новостройки, за которые и принялись (не без известного опоздания) и социологи, и экономисты, и медики, и демографы. Надо было научиться разграничивать сибирские районы на подходящие для жизни человека и противопоказанные этому; лучше удовлетворять материальные и духовные потребности освоителя; подготовить научно обоснованную базу для оседания второго поколения и так далее... Сибирский климат способствовал появлению особого «сибирского психологического климата» — здесь человек получал скорейшую возможность в пределах молодости приложить свои руки к любимому делу и отчетливо удовлетворить себя... Тропы вторых, третьих, пятых не оскудевали надеждами на первооткрытие... Конечно же, романтика верхнего взгляда, а с ней и инфантильность выплывали... Человеку сибирской новостройки потребовались ясность и глубина...

Вот он, реальный мир, рядом: вагончик с двадцатью, чуть ли не друг на дружке, жильцами... Они строят мою Сибирь... Вот он, героизм, — девчонка с капелькой на засиневшем носу и по колена в воде...

Стоп! Но видел же я на трассе и уютные вагончики, без тесноты, идеально чистые. И завез же, к примеру, на Савинский Саныч газовые плиты. Знал же я девчонок и парней из СМП-330, у которых есть и время и силы на озорные «КВН», самодельные песни и пьесы, на учебники и магнитофоны. И именно вот в этом прорисовывается для меня человечность Тюмень — Сургу́та, уверенность, что так будет на каждом километре.

А теперь — для ясности. Если же я и пишу о другом и на следующих страницах этого очерка нас, возможно, тронут иные, досадные картины — ничего. Они — ради дороги. Было бы нелепым не верить в ближайшие перемены этих картин. Единственное, на что я скромно рассчитываю, так это помочь замечательной новостройке и ее жильцам еще отчетливей разобраться и в силах и в слабостях своих.

Как писала 29 марта 1969 года строительная многотиражка, тот день «навсегда войдет в историю освоения нефтяного Тюменского края». Да, это был праздник на трассе — правый берег Иртыша впервые услышал гудок первого пассажирского поез-

да. 222 километра новой магистрали от Тюмени до Тобольска вступили в строй...

А за семь месяцев до этого события в Тобольске собрались сто самых лучших из пятнадцати тысяч. В морозный, выжливый день они по очереди подписали и хорошенько упрятали в бетонный сейф «Письмо в XXI век».

Недалеко от станции, с окатой сопки, что хорошо открывает на все стороны иртышский простор, отправилось то письмо в 2018 год...

ПИСЬМО В XXI ВЕК

Дорогие ребята, комсомольцы XXI века! Привет вам из середины XX века!

Нас 100 юношей и девушек, нам по восемнадцать — двадцать пять лет. Мы, строители железной дороги от Тюмени до таежного и нефтяного городка Сургу́та, съехались со всей семисоткилометровой трассы на станцию Тобольск, чтобы подписать и послать вам, поколению XXI века, это письмо.

...На строительстве дороги нас семь тысяч юных. Всего линию сооружает 15 тысяч человек... Мы приехали сюда по призыву ЦК ВЛКСМ, по комсомольским путевкам с Украины и Поволжья, с Кубани и из Белоруссии, с Дальнего Востока и из Молдавии...

Многие жили или живут в период освоения таежного царства среди болот, без электричества и радио, в небольших вагончиках, в которых нас помещается по 10—12 человек. Стоят в лесу пять—семь таких «домиков», летом кружатся комары. Не скрываем, что иногда в таких кочевых стоянках случались дни без хлеба, иногда письма от родных привозят на вертолетах пачками за две-три недели. К нам не просто даже летом доставлять овощи.

Это не жалоба вам. Мы оптимисты. После рабочей смены многие из нас учатся в вечерних школах, другие заочно в техникумах, институтах. Мы танцуем, если даже нет клубов.

На собраниях ругаем слабовольных и дезертиров. И строим, строим, строим...

Здесь мы учимся ценить дружбу и любовь, здесь мы навсегда связываем свои судьбы — заводим семьи, здесь мы до хрипоты спорим о судьбах нашей страны, о том веке, в котором будете жить вы. Мы верим, что через 50 лет вы получите от нас



страну благоустроеннее, чем она сейчас есть. Мы спорим о том, как вы через полстолетие оцените нашу самоотверженность...

Вспомните, пожалуйста, несколько раньше, при описании «головки» трассы, так сказать, с фасада — легко обращенной к нам стороны, я невольно обратил внимание на странную неизменность, похожест, что ли, строк, хотя за каждой из них годы и раздумья обязательно, а следовательно, и решения. Так вот, это, по-моему, лишь внешняя сторона одинаковости. А существует более странная схожест, и она довольно легко обнаруживается, если вы сейчас еще раз внимательно перечитаете с самого начала и те «Три письма» и как бы наново пробежитесь глазами по строчкам «Письма в XXI век».

Не правда ли, будто одной рукой писались они, а хронология чрезвычайно различная. И там и там — об одном и том же — уж не договорились ли? — о трудностях, о желании героически трудиться, об осуждении слабовольных, убегающих со строек, и — снова о трудностях, которые побеждаются героическим усилием...

Откуда столь удивительное совпадение? А может быть, оно от извечной скромности молодого труженика, от мужественного умаления истинных тягот — чего, мол, вякать, пищать, то есть, а? Или это сознательно складывающийся десятилетиями штамп?..

Проходят годы, меняется география строительства, они все дальше и дальше углубляются в самые дебри высоких широт сибирского Севера, а трудности остаются все те же: мошкара, гнус, порою нехватка продуктов, задержка почты, морозы, болота и разливы рек... Неужели только из-за этого «ассортимента» никак не зарастают травой, а все более и более делаются торными тропы, по которым идут и идут из моей Сибири «слабые духом»? Может быть, существуют трудности посерьезнее...

Совершенно точно известно, что за последние десять лет из трех новоселов, прибывших на северные стройки по комсомольскому призыву и после демобилизации из Советской Армии, только один сравнительно надежно прикипал к новому для себя местожительству, двое покидали Сибирь или через два-три года, это в лучшем случае, или буквально через несколько месяцев. И знаете, сколько теряет на этом государственная казна? Сообразить нетрудно: каждая новая тысяча строителей, выписанных из других областей или республик на северные сибирские земли, стоит шестнадцать миллионов рублей. Вот так...

А мы говорим — трудности... Мораль здесь простая: само по себе понятие «трудность» еще ни о чем не говорит — безлико оно, общевато... Свое же истинное значение трудность приобретает лишь с рядом стоящими честными, откровенными вопросами: какие конкретно и по чьей вине конкретно трудности? Хорошо бы еще и ответы иметь — они-то и помогли бы правильно разобраться в крепко назревших (кстати, и из-за годами складывающейся одинаковости) проблемах...

В самом первом очерке цикла «Открытки с тропы»¹ я попытался высказать сомнение: что же, мол, получается? Вот уже более десяти лет мы пишем о Сибири, как о каком-то горниле, и повести, рассказы наши, песни и пьесы этой поры немислимы без конфликта, замешанного на страстях, связанных с отъездом героя в Сибирь... Более десяти лет шагают по сибирским широтам мальчики и девочки, грустя о Москве, Киеве, Кишиневе и так далее. И более десяти лет мы почти ничего не знаем об истинных сибиряках, которые произошли здесь, живут, работают, и притом не хуже, чем это делают добровольцы... Это — сомнение публициста. А с 1961 года Северо-Восточным комплексным научно-исследовательским институтом Сибирского отделения Академии наук СССР эти проблемы взяты под пристальный прицел. Прогноз демографических процессов на тридцать — сорок лет вперед говорит о наиболее полном и экономном использовании чисто сибирских резервов труда как основы хозяйствования здесь. Главное же — в создании удовлетворительных условий жизни и быта. Это гвоздь. И пока о него будут спотыкаться и коренные жители и прибывшие, сибирские новостройки будут «протекать»...

Был Тайшет — Абакан, был Братск — земли первых, своеобразные «библии» сибирского первостроительства. Уже там зародились прекрасные основы стройки завтрашнего дня. Тому есть примеры: Саяно-Шушенская гидроэлектростанция началась с создания жилого комплекса; новые города — Удачная в алмазной Якутии — с проектов, в которых заранее продуманы наиболее удобные условия жизни; академгородки в Новосибирске, Иркутске — пожалуйста, здесь все для

того, чтобы максимально сократить затраты впереработанного времени на материально-бытовые нужды.

Тропы вторых, третьих, пятых не менее прекрасны... Сибирь, она большая, на всех хватит. К тому же в ней нынче отчетливо стали беспокоиться о человеке... Вон, к примеру, чего удумали — математически моделировать демографические прогнозы нового города! И дальше копают — вот-вот удастся построить логическую модель рационального использования свободного времени жителями этого города...

Живя на разъезде Савинского и вообще кочуя по трассе Тюмень — Сургут, я о многом задумывался. Делился соображениями и с Саньичем и с другими начальниками тоже.

Вокруг решалась одна, общая задача, притом, как это ни странно, весьма идентичная той, Алискиной, под номером 947...

Ну в самом деле: из разных мест, расстояние между которыми чуть поболее 700 км, одновременно вышли навстречу друг другу восемь строительно-монтажных поездов. К слову, давненько вышли, с самого начала пятилетки стартовали...

Для полноты общей картины Тюмень — Сургут перечислим места их стартов (там они дислоцируются и сейчас): в Тюмени два поезда — 280 и 237, в Мазурове — СМП-269, в Савинском — 227-й, в Тобольске, помимо СМП-241, еще и ГОРЕМ-38 (головной ремонтно-восстановительный поезд), в Салыме — 269-й, в Усть-Югане — 384-й и, наконец, в Сургуте — СМП-330. Приплюсуем к ним еще 9 мехколонн, один мостопоезд и один мостоотряд... Вроде бы все...

На первые 222 км пути — отсыпку полотна и укладку рельсов — потребовался всего 21 месяц. Так же, в достаточно короткий срок, были возведены мосты через Тавду, Иртыш, и Тобольск получил выход на Транссибирскую магистраль. Дальше темпы медленно поубавились... Но не о том речь — надо сообразить, через сколько лет будет построена линия Тюмень — Сургут и идущие навстречу друг другу СМП встретятся...

Лично я снова решал эту задачу с точки зрения моего сегодняшнего здравого смысла. И получалось довольно просто... Значит, если 700 км разделить на восемь поездов, то получится на каждый из них меньше чем по сто километров. А даже и сто километров полотна и рельсов при хорошей, продуманной до мелочей предварительной подготовке, то есть при своевременном завозе к месту стартов всего необходимого для строителей, любой СМП осилит за год...

Я всесторонне консультировался об этом со знающими людьми из управления «Тюменстройпуть». Они не без грустной усмешки подтвердили: да, можно 100 километров сделать за год, но опять же лишь при тщательной предварительной подготовке. А она займет время, и в нее бы вошло сооружение загода, до подхода основных сил, жилья и так далее... Отсюда я приходил к ответу — восемь идущих навстречу друг другу поездов могут встретиться всего лишь через год, а стало быть, и Тюмень — Сургут возможно «махануть» за это же время... Здорово, а?..

Но... жизнь есть жизнь, и пока не совсем так получается. Я чересчур идеально и умозрительно рассчитываю сроки и чересчур умозрительно провожу в уме подготовительные работы... По жизни так не бывает... Ну и жаль!..

Хотя кого-то, возможно, и устраивают десятилетия или там чуть поменьше годов, уходящих на строительство. Тайшет — Абакан, к примеру, по официальной статистике, семь лет делался... Только почему бы не решиться на серьезные капиталовложения в самом

¹ См. «Юность» № 1 за 1968 год.

начале, зато уж потом; в результате, и окупить их полностью, да еще и с поистине гигантской экономией?..

Предварительная смета стоимости дороги, перед тем, как ее утверждать, обсчитывается до копейки, причем экономится в это время (обратите внимание — умозрительно!) на всем, лишь бы конечная цифра не доводила до обморока... После же, когда дорога пойдет в запуск, на ветер — да-да, на ветер полетят миллионы... Главное, чтобы «машина сделала свой первый, самый трудный оборот, и ее уже не остановить...»

И приедут под сосну строители, и запылают оскмину набившие костры возле не менее набивших оскмину палаток... Будет чудовищное бездорожье, хотя все знают, что дорога начинается с дороги, в данном случае имеется в виду автотранспортная... В этом бездорожье будут торчать вверх колесами сотни машин, которых и без того не хватает на трассе... Вот и письма не попадут вовремя к ребятам... Начнется героизм, трудности, которые бы не воспевать с высоких трибун, а бичевать с них же, одновременно «вырубая» заподлицо...

И это не все, далеко не все... Самым главным последствием неумения «идеалистически» решать задачи станет текучесть кадров. Да, пойдут и побегут со стройки «слабые духом»... И их, как ту «бетонешалку», тоже ничем пока не остановишь...

Минувшее десятилетие лавиной индустриализации моей Сибири многomu научило самого строителя. Он уже не так просто и безудержно поддается на уговоры... Зеленая же, совсем не обстрелянная молодежь, что беззаветно отправляется в путь, не подготовленная никем, после, бываает, не враз расплавляется за приобретенный опыт...

Вполне понятно: бросок какой-нибудь девчухи, еще вчера пившей чай в родном садочке где-нибудь на Кубани, через всю страну в суровый Сургут не может пройти, «как с белых яблонь дым...» Ноющим эхом отзовется в сердце и сознании ломка «динамического стереотипа»... К северной стройке молодого человека готовить необходимо ответственно...

Валерий Чкалов в свое время пошутил: мол, после того, как в самолетах появились теплые уборные, романтика полетов над Арктикой испарилась...

Растущее благосостояние в обжитых цивилизацией областях само собой поумерило действенность существующей у нас системы материального стимулирования, которая и применяется сейчас в целях привлечения человека на сибирскую стройку. Нет, не тот уже пошел новичок! Не обольщается он одними коэффициентами и «колесными» надбавками. Ему бы подавай, удовлетворительные, без дураков, условия жизни. А еще — и это чрезвычайно важно — хочет тот новичок иметь гарантии: на что я истрочу свою молодость? Будет ли у меня перспектива для духовного и профессионального роста? Истратить самую лучшую пору только на усвоение процесса копания земли — мало. Хочу расти!.. В этих запросах — уже социальная новизна молодежной сибирской стройки. Великолепная новизна...

Хватит в конце концов неоправданных костров и палаток... Хватит слишком дорогого героизма, покрывающего в результате чье-то головотяпство... У нас в стране все есть для того, чтобы встречать строителя, создателя теплом ладно протопленных, уютных домов...

В мае 1969 года на разъезде Савинский состоялось совещание руководителей СМП, председателей профсоюзных комитетов и секретарей партийных органи-

заций управления «Тюменстройпуть» как раз по вопросу о закреплении кадров на стройке. На нем и говорилось о все возрастающей текучести. К примеру, в СМП-330 численный состав рабочих за год обновился наполовину. В автобазе управления по неубожительным причинам покинули стройку 214 человек... Отмечалось, что слишком уж много появилось в поездах людей, стремящихся по собственному желанию оставить Тюмень—Сургут... Чем же мотивировано это «собственное желание»? А вот чем:

дорога делается на глазок — до сих пор нет проектной документации;

плохо с жильем;

неразбериха с оплатой труда — до половины трассы (ст. Демьянская) одни коэффициенты и «колесные», за Демьянской — другие, выше; почему бы не сочинить какой-то единый средний коэффициент для всей трассы?..

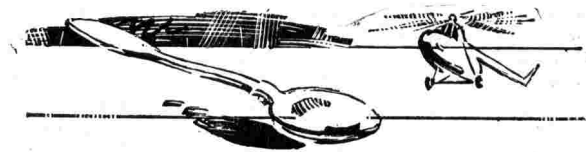
беспокойство пожилых строителей: они пока не уверены, будет у них после ухода на пенсию прописка где-нибудь в городах или нет, получают они за свой труд строителей, на который ушла вся жизнь, квартиры у государства или нет;

нехватка детских учреждений;

слабое медицинское обслуживание;

а дальше еще столько разного «мелколесья»... Кстати, нынешним летом о многом, связанном с элементарным бытом строителя Тюмень—Сургута, о имеющихся еще недостатках на трассе писала «Правда» («Болота ли виноваты?»).

Я летал по трассе на вертолете с комиссией по быту и питанию. Но о том, с чем приходилось сталкиваться комиссии, ей-богу, рассказывать неохота. Особенно в Чумбулуте и в Демьянке — 350-й, 400-й километры... Грязь в поселках, грязь в котлопунктах, грязь в пекарнях и продуктовых хранилищах... В Демьянке, например, на весь котлопункт оказалось всего 14 ложек и ни одного стакана... Здесь же «взбунтовались» женщины из пекарни: «Никаких условий, все вручную!... Ухват поломался, а починить не допросишься!..»



Вертолет плыл над железнодорожной насыпью, иногда забирая то вправо от нее, то влево... Тогда хорошо просматривалась реденькая, северная, но все же тайга... В одном месте мы с Саньчем, он тоже летал, увидели сохатых, рывками пересекавших поляну. Тянулся за ними дырчатый след... Я смотрел в иллюминатор, а сам думал: ну и что? Вот напишу я после в Москве про эти самые четырнадцать ложек, а мне скажут: «Тоже, мол, мелочишься... Читали мы про такое. Шире подымай проблему!» Даже представилось, кто это говорить будет и с каким выражением лица... И как мне суметь убедить говорящих это, что даже 14 ложек — не ерунда сегодня. А почему? А потому было такое и десять лет назад на Тайшет—Абакане и на других дорогах было тоже. Кончить бы — а? — с этой надоевшей, опостылевшей неизменностью и одинаковостью. В большом и малом... Навсегда! В конце концов если дорога строится для человека, то человек-то этот отдает себя дороге... Дорога для человека, и человек для дороги... Что тут важнее, первостепеннее, а?.. Почему я не

задумывался над этим вопросом тогда, в пору Тайшет—Абакана?..

И в памяти всплыло:

...24 января 1965 года в 18 часов 30 минут на трассе Абакан — Тайшет уложено последнее звено рельсов. Западный и Центральный участки соединились! На месте стыка забит «серебряный» костыль. Путь на Тайшет открыт!

А еще через год я восторженно писал в областной газете. Только как же пожелтел тот газетный лист!..

«...А первые паровозы с чумазыми пассажирами, а первые поселки, штурмы Тимирязевского косогора, а 172-й километр, где стоит сейчас скромныйobelisk — зарубка на человеческой памяти — здесь не стало ребят-взрывников — гроза преждевременно разбудила тридцать тонн аммонита, а...

7 лет.

647 километров 94 метра пути,

10 мостов.

9 тоннелей,

14 тысяч километров контактного провода,

46 миллионов кубометров земляных работ...

Да!.. Если бы попытаться все это сложить вместе? Невозможно. Только знаю, что работали здесь отличные парни и девчонки...

Указом Президиума пятеро лучших награждены Звездами, 745 — орденами и медалями, но я уверен, что, прожив на трассе семь лет, эти люди совсем не думали о том, что они герои... Героизм бывает разный. Но выше всего тот, который нельзя ни сфотографировать, ни пышно описать...»

Тогда он мне шибко нравился, этот репортаж... Нынче же, после Тюмень—Сургута, я приглядываюсь к нему не без грусти: нет, не все ты, паря, понимал тогда, не все!.. Но вот эти строчки: «...Героизм бывает разный. Но выше всего тот, который нельзя ни сфотографировать, ни пышно описать...» — и сегодня бы взял на вооружение. А к перечисленной праздничной цифири того репортажа добавил бы еще одно сомнение: Тайшет — Абакан строило слишком большое количество девочек в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет. Да... И Тюмень — Сургут сейчас строит слишком большое количество девчонок того же возраста... Одна из них мне запомнится навсегда — та, из котлована на триста втором километре, в обжигающей воде...

Уж кто-кто, а именно девушки и женщины, попадая из нормальной домашней среды на северную стройку, случается, получают, из-за своей неподготовленности к подобной перемене, довольно чувствительные нравственные повреждения, к тому же куда более сложные и тяжелее поправимые, чем те же юноши и мужчины.

Тюмень — Сургут не только огорчал, заставлял думать, довершал многолетнюю внутреннюю ревизию, но и радовал. Впервые на этой стройке мне встречались молодые руководители СМП. Мои, по годам, сверстники. На Тайшет—Абакане такого не было. Саньчу, Александру Королеву, хозяину СМП-227, нет еще и тридцати. Олегу Шапошнику, начальнику СМП-330, — только-только за тридцать. Прекрасно...

Что ж... Когда-нибудь и для Тюмень—Сургута поспеют праздничные дни. Будут вбиваться «серебряные» костыли и так далее... Тутти победного финала приглушит многое, и кто-нибудь так же, как и я в свое время, тоже позабудет поставить в праздничную цифирь чего-нибудь... А, может, этого «чего-нибудь» и не надо будет вовсе...

Сибирь и молодость — сегодня понятия неотдели-

мые. Сибирь — площадка лучше не придумаешь для профессиональной удовлетворенности, самораскрытия, поиска и спора... То и дело сейчас узнаешь о потрясающей новизне — комсомольских трестах, самоуправленческой молодежной основе в новых городах... Тем обиднее за Тюмень—Сургут, пока еще все-таки существующий по отжившим нормам. Обидно... Но, с другой стороны, раз еще живы явления, о которых рассказано здесь, по ним стоит вести огонь. Не под стеклянным же колпаком живет эта дорога, и на фоне новых социальных процессов, рождающихся в Сибири, она закономерно ставит себя под бой...

Этот-то бой, затеянный молодостью, ее стремлением улучшать, — лучшая перспектива.

А с Саньчем я так и не попрощался... И вот думал, стоит ли писать об этом, ведь не так уж и много я сумел рассказать о Королеве, отличном парне с внешностью футболиста... Именно вот такие загадочно играют в нападения, справа или слева, и когда выходят на штрафную, разбрасывая финтами защиту (сам когда-то стоял вратарем), точно — жди банку... Но да ничего... Еще напишу. Дойдет черед. И все-таки жаль, что не пришлось познакомиться с Королевым... Вскоре, перед моим отъездом с Савинского (когда пела про дорогу цыганка, а я не дослушал ее и заснул), Саньчу увезли в Тобольск, в больницу, с острым приступом язвенной боли... Я узнал об этом только утром, углядев на полу перед койкой записку:

«Так вышло. Унесли вперед ногами. Ни хрена — вывернусь. Покорми девчушек и задачки с ними поучись решать...»

Я читал коряво написанные фразы, и мне становилось ужасно не по себе... То ли от уважения к Саньчу, то ли еще от чего...

Он-то, какова деликатность, скрюченный болью, все сдelaл втихаря: вызвал машину, написал записку, сам ушел на улицу...

Человек для дороги отдает много. Порой даже слишком... А ночные сибирские поезда все уносят и уносят к стройкам новых кандидатов на это звание... Покачиваются на стыках вагоны, и в тамбурах тесно от дыма и разговоров... Правит сейчас теми поездами размычивое дорожное непотребство, ведь сам путь — куда-то — уже неизбежен и неотвратим, а что там, за смыслом этого самого «куда-то», пока и неважно... Поживем — увидим... А ведь едут-то они на дорогу, на профессию и, стало быть, на судьбу. Может, стоит по такому поводу спросить себя: куда же ты все-таки едешь? И за чем? Без этого, вернее, до этого понятие дорога так и останется всего лишь понятием. Зная же, куда и за чем, ты берешь на себя ответственность и за свой путь и за свою судьбу...

Выходит, договорились. Дорога — это вопросы куда и за чем? И ответы на них. А раз есть и ответы, значит, есть и уверенность... Ну-ка, поставим в одну шеренгу — дорогу, ответственность и уверенность...

Стучат по Сибири ночные поезда, покачиваются... Дорога — штука ответственная... Дорога — она... И вот именно здесь, на этом месте, я и решил рассказать один крохотный эпизод, связанный с жизнью именно человека для дороги... Сегодня он разменял седьмой десяток, а сорок из них

отдал дороге... Этот человек — Дмитрий Иванович Коротчаев, начальник управления «Тюменстройпуть», Герой Социалистического Труда. А когда еще значился обыкновенным прорабом на одной из строек, с ним было такое дело... Сдавалась дорога. К празднику. Подарок... Коротчаев отвечал за мост на той дороге. И малость не поспевал с мостом. Двадцать восемь дней выстаивает бетон, прежде чем даст ту — на годы — крепость... А прораб поставил мост, разрешив бетону крепнуть только пять дней и ночей... И верил в свой бетон почему-то, видать, не зря подолгу ковырялся в лаборатории...

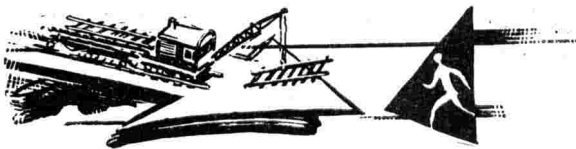
В общем, комиссия, сомнения, выдержит ли мост... И тогда Коротчаев встал под него и сказал:

— Загоняйте паровоз...

Сами можете представить состояние человека, который стоит под мостом-пятидневкой, а сверху находится и находит на тебя дымная тень локомотива... Прошел!.. Потом к нему подцепили вагоны, и снова стоял под мостом прораб, слыша в себе, как погуливают нервишки... Больше тридцати лет стоит тот мост и переносит через речку составы... Вот так!

Почему-то вижу я про себя сейчас какой-то другой мост. По нему в Сибирь идет молодость — тысячи и тысячи молодых судеб... Ну, а кто знает, сколько ве-

сит одна молодая судьба или тысячи тысяч?.. Идут по тому мосту люди для дороги. Пусть идут. Дорога, она ответственность... А ответственность — это уверенность... Самая же лучшая уверенность — нравственная... Она-то как раз и помогает, если придется, выстоять под мостом... Она-то



и поможет нам сейчас решить одну задачку (кстати, хорошие задачки решают в третьем классе. Называются они по уму — на встречное движение)... Так вот: из двух мест одновременно навстречу вышли друг другу человек и дорога... Следует сообразить: когда они встретятся?..

Тюмень — Савинский — Сургут — Москва,
Июль — август 1970 г.



**Николай
Тарасов**

Воспоминание о блокаде

Прохожу по другой стороне.
Но в то странное давнее лето,
как по тонко звенящей струне,
проходил я по той и по этой.

Прохожу по другой стороне.

На раздвоенный Кировский мост,
подчиненный дождю и ремонту.
И как будто на временный пост
вывожу поредевшую роту.

Возвращаюсь по Марсову полю.

Оставляю старинную сень —
Летний сад, перечеркнутый болью.
И из прошлого в нынешний день
возвращаюсь по Марсову полю...



...А на Гергетском леднике
я сам держался еле-еле.
Плыла вершина вдалеке.
И все к одной стремились цели.

С расщелин скальвая лед
и обнажая мерзлый камень,
Как онемевший полиглот,
Казбек простерся под ногами.

И что я мог тебе сказать
в дороге шаткой и неверной!
Какую помощь оказать
под гнетом тяжести безмерной!

Я не оправдываюсь.

Нет.
Другие битвы и походы!
Все думаю: остался след
и тянет руку через годы.



НА «МАЯКОВСКОЙ» 6 НОЯБРЯ 1941 ГОДА

Всякий раз, когда наступает очередная годовщина Октября, мы вновь вспоминаем ту из них, что отмечалась в сорок первом.

Скупы и по-фронтовому кратки отчеты о торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1941 года. Место проведения заседания не называлось. Я попытаюсь дополнить своих коллег, написав из сегодняшнего дня репортаж об историческом заседании.

Город привык к воздушным тревогам. Заводы не прекращали работы под бомбежками. Но как праздновать под бомбами? Большой театр, где происходили в мирные дни торжественные заседания Московского Совета, опустел. Трупна эвакуировалась в Куйбышев. В вестибюле театра зияла огромная воронка от фугасной бомбы. Стена между знаменитой колоннадой и вестибюлем треснула, у края воронки белели обломки скульптуры.

Бомбы падали на территорию Кремля, одна из них попала в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, но не разорвалась...

Были в Москве дворцы, которым не угрожали никакие бомбы. Они находились глубоко под землей. Это станции метро. О них зашла речь, когда члены Государственного Комитета Оборона обсуждали вопрос: где проводить заседание?

— В ночь с 4 на 5 ноября на командный пункт метрополитена поступил приказ, — вспоминает бывший начальник Московского метро И. Новиков, — в течение часа дать сведения о трех станциях глубокого заложения с большими площадями среднего зала.

Были названы три станции — «Площадь Свердлова», «Динамо» и «Маяковская». Выбор пал на «Маяковскую». Она самая большая. И красивая. Ее макетом восхищались посетители международной выставки в Нью-Йорке. Тридцать пять мозаичных картин станции выполнены по эскизам известного художника А. Дейнеки.

Метро ни на один день не прекращало своей работы. До семи часов вечера курсировали поезда. Залы и тоннели во время налетов превращались в бомбоубежища. Продолжая нести службу, метрополитен готовился в день торжественного заседания принять правительство, депутатов Моссовета, гостей.

В торце зала «Маяковской» появилась временная стена: образовалась комната для президиума. Перед ней соорудили сцену. Трибуну доставили из Большого театра, стулья — из соседних к площади Маяковского театров.

Пока рабочие хлопотали на платформе, в Москву из Куйбышева устремился транспортный самолет, на борту которого были солдаты Большого театра. Самолет летел так низко, что казалось, крылья его заденут телеграфные провода. На подступах к столице машину охраняли истребители, и от этого тревога артистов усилилась. Они не знали, куда держат путь. Вместе с их багажом летели ноты «Песни о Родине», арии Ивана Сусанина...

Вся система ПВО Москвы держалась в тот день в боевой готовности № 1. На подмосковных аэродромах дежурили 550 истребителей. В вечерней сводке Совинформбюро сообщалось: «За 6 ноября под Москвой уничтожено 34 немецких самолета».

Под грохот зенитных орудий двигались к площади Маяковского участники заседания. Они собрались в райкомах и отсюда направлялись группами.

В подземном дворце у сцены — бюст Ленина, цветы. По сторонам перрона — составы. С правой стороны шесть вагонов заменяли гардероб. С левой стороны в восьми вагонах были накрыты столы. Бутерброды, фруктовая вода, мандарины. Праздник есть праздник.

«Задолго до начала заседания зал уже полон. Людей меньше, чем было в прошлом году в Большом театре. Встречаются старые друзья, соратники. Разговоры, расспросы, короткие реплики. Тот на

фронте, и тот — на фронте, и многие на фронте...» — писала «Правда».

Еще до семи часов, когда началось заседание, метро прекратило работу из-за налета. На всех перронах было снято напряжение. Только на участок «Маяковская» — «Белорусская» был подан ток.

У перрона «Белорусской» стоял правительственный поезд из двух моторных вагонов. В кабине — старший машинист первого класса В. Калинин. Помощником его назначили машиниста-инструктора Л. Швецова. Оба известные на метрополитене люди, водившие поезда на первых линиях.

На станцию прибыли члены Государственного Комитета Оборона.

Начальник метрополитена доложил:

— Метрополитен работает по условиям военного времени. Все станции и службы находятся в нормальных эксплуатационных условиях. Поезд к отправлению готов.

Поезд прибыл на «Маяковскую». Все было, как всегда. Перед президиумом расположились для записи доклада стенографистки. И. В. Сталин, не увидев в президиуме маршала Буденного, которому утром предстояло принимать парад на Красной площади, и генерала Артемьева — командующего парадом, пригласил их занять места в президиуме. Председатель Исполкома Моссовета Пронин объявил торжественное заседание открытым.

— Никакая сила не могла нам помешать отметить Октябрь, — рассказывает В. Пронин. — Красная площадь выглядела строгой, но торжественной. Нарядными стали гостиница «Москва», Дом союзов, МХАТ, филиал Большого театра. В Москву пришел праздник.

Приведу рассказ бывшего военного комиссара Генштаба Ф. Бокова, присутствовавшего на торжественном заседании.

— Места в билете не были пронумерованы, — говорит он, — и я,

придя заранее, сел в передних рядах. Напряженная тишина подчеркивала торжественность момента... Ни с чем не сравнить чувства, испытанные нами тогда. Заседание дало небывалый заряд бодрости, уверенность в победе.

В 19.30 начался доклад И. В. Сталина. Словам Председателя Государственного Комитета Обороны, звучавшим под сводами «Маяковской», внимала вся страна:

— Наше дело правое — победа будет за нами!

Грянул «Интернационал». Слова гимна в эти минуты звучали, как клятва перед сражением:

— Это есть наш последний и решительный бой...

До начала ноябрьского наступления гитлеровской армии на Москву оставались считанные дни.

Бывший руководитель ПВО Москвы генерал Д. Журавлев рассказывает:

— На заседании я сидел у края ряда, чтобы в случае воздушной тревоги ехать на командный пункт. Адьютант дежурил у выхо-

да и должен был дать мне сигнал. Больше в тот вечер и назавтра фашистские самолеты к Москве не подступили. Зенитчикам пришлось вскоре стрелять и по самолетам и по танкам.

Вспоминает бывший командующий Московским военным округом генерал П. Артемьев:

— Как было договорено, после доклада я сообщил членам ГКО время начала парада — 8 часов утра. Оно было согласовано с С. Буденным и руководителем Московской партийной организации А. Щербаковым. После заседания Александр Сергеевич Щербаков сказал, спеша к выходу: «Буду поднимать народ на Красную площадь».

...Стихли аплодисменты, звуки «Интернационала». В наступившей тишине раздался знакомые всем слова прекрасной песни:

— Широка страна моя родная...

Пел так, что волнение сжимало грудь, Марк Рейзен, народный артист СССР.

Начался концерт. Члены прези-

диума пересели в первый ряд, предоставив место певцам.

— Мне говорили потом, — рассказывает народный артист СССР И. Козловский, — что в тот вечер многие впервые с начала войны улыбнулись... Еще один эпизод. В моем термосе, куда я обычно перед концертом наливал кофе без сахара, после выступления я обнаружил чей-то подарок. Вместо кофе в термосе оказался коньяк. Чья добрая рука наполнила термос — до сих пор не знаю. В гостинице «Москва», где мы жили, номера не отапливались... О коньяке нечего было и мечтать.

Дуэтом Козловский и Михайлов исполнили «За реченькой яр-хмель».

Перевейся яр-хмель на нашу
сторону.
На нашей стороне удача
большая...

Лучшей песни для исполнения в тот вечер было не найти. Она прозвучала незадолго до разгрома гитлеровцев под Москвой.

ЛЕВ КОЛОДНЫЙ

НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ

В помещении Союза писателей Украины есть мраморная доска, на которой золотом высечены имена писателей, павших во время Великой Отечественной войны. Как-то, стоя возле нее, я разговорился со Степаном Андреевичем Крыжановским, украинским литературоведом и поэтом.

— Не кажется ли вам, что этот список не полон? — не то спрашивая, не то размышляя вслух, сказал он. — Немало еще имен забыто. О них бы рассказать. Вот Иван Чумаченко. Хорошо начинал. Книжку перед войной собирался издавать. Жаль, что знаю о нем мало.

Меня очень заинтересовало услышанное. Потом, когда мы шли со Степаном Андреевичем по вечернему Киеву, он рассказал о первой встрече со стихами Ивана Чумаченко.

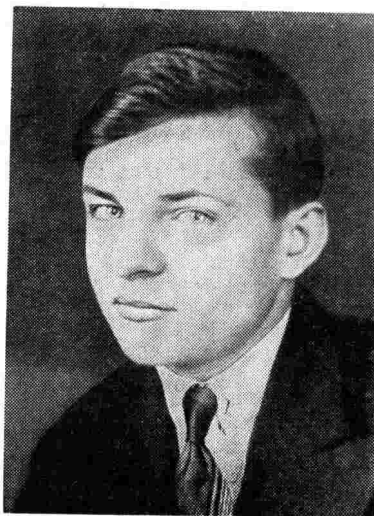
Это было в Харькове тридцать лет назад. Степан Крыжановский заведовал в те годы отделом поэзии в «Литературном журнале». Как-то, просматривая почту, он обратил внимание на стихи, присланные с Сумщины. Завязалась переписка. Иван Чумаченко писал ему

о своем родном крае, о первых месяцах нелегкой солдатской службы на границе. И в каждом письме были стихи.

Весной 1941 года начинающий поэт прислал Степану Андреевичу тетрадь, в которой были собраны его лучшие стихотворения. С. А. Крыжановский думал подготовить их к изданию. Но началась война, и тетрадь со стихами он передал в отдел рукописей Института литературы имени Т. Г. Шевченко Академии наук УССР, а сам ушел на фронт.

...Разыскать стихи Ивана Чумаченко в отделе рукописей оказалось несложно. Не прошло и получаса, как научный сотрудник К. М. Секарева положила на стол бережно сохраненную тетрадь. Листаю ее страницы, исписанные аккуратным почерком. На первой читаю: «Иван Чумаченко «Край моей дружбы», немного ниже запись: «Иван Чумаченко, молодой поэт, находится на службе в Красной Армии, в момент начала войны находился в Бресте».

Эта запись датирована 26 июня 1941 года. Четыре дня уже шла война, четыре дня в районе Бреста шли кровопролитные бои. Сре-



ди тех, кто первым стал на пути врага, был и Иван Чумаченко.

Он родился 1 декабря 1918 года в селе Курманы, Недригайловского района, в семье колхозника. Там же окончил школу, оттуда пешком пришел в Сумы продолжать учебу. В 1938 году окончил педагогический институт.

После окончания института

Ивана Чумаченко направляют на работу в Среднюю Азию. Там он преподает в школе и живет в городе Казалинске. Вскоре его призывают в Красную Армию. Поэт служит в пограничных войсках на границе с Ираном. В 1940 году его переводят в Белоруссию, в район Бреста. Стихи, написанные Иваном в армии, отличаются мужественной, строгой интонацией. В них он не только грустит о родном крае, но и взволнованно воспекает людей смелых и сильных, охраняющих покой и счастье людей.

Молодежь предвоенных лет понимала, что в мире неспокойно.

Готовая до последнего дыхания защищать родную землю, она сердцем чувствовала приближение грозы. В стихотворении «Ворон» Иван Чумаченко как бы предупреждает о надвигающейся опасности.

В конце 1941 года родители Чумаченко — Иван Аврамович и Устина Антоновна — получили последнее письмо от сына. Он писал, что собирается приехать в отпуск. Но его планы не осуществились: вражеская пуля смертельно ранила двадцатидвухлетнего комсомольца Ивана Чумаченко.

Многим известны сегодня имена

молодых поэтов, павших смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны, — Николая Майорова, Павла Когана, Всеволода Багрицкого, украинцев Владимира Булаенко, Леонида Левицкого, Николая Шутя. Все они в грозные военные годы взяли в руки оружие и встали на защиту Родины. Они погибли, но их поэзия, как и поэзия Ивана Чумаченко, сегодня с нами.

Е. ТРОСТАНЕЦКИЙ

Ниже печатаются два стихотворения Ивана Чумаченко.

Иван Чумаченко

Друзья

Где вы, друзья! В какой дали!
С кем делите свои тревоги!
И ясные ли вас дороги
По жизни бурной развели!
Все так же ли тепло цветут
Те весны, что промчались мимо!
Все так же ль в памяти хранимы
Река, и сквер, и институт!
Я полюбил простор морей,
Красу степных и горных речек,
Но все же Псёл в душе моей
Особой метою отмечен.
Под плеск любой чужой волны
Я вспоминаю город Сумы,
Лука вокруг него. И думы
Щемящей радости полны.
В том городе исток всего,
Грядущих дней и лет начало.
Куда б нас время ни умчало,
Нам не умчаться от него.
Вечерний Львов. Звенит металл...
Я взглядом в конницу врезаюсь.
Где ж друг мой Васька, где же Заяц!

Неужто конником не стал!
Над Брестом синь. Винтов напевы.
Мечты и мужества полет...
Швыдкий, Доценко, где вы, где вы!
Как мне узнать ваш самолет!
Бреду ли вдоль ночных границ,
По дальним селам ли скитаюсь,
Все сердцем уловить пытаюсь
Знакомый свет знакомых лиц.
Хочу услышать ваши речи,
Увидеть теплый блеск в глазах.
О, как мечтаю я о встрече —
В морях, на суше, в небесах!
Где вы, друзья!..
Быть может, мы
Уж не сойдемся в час покоя.
Все больше в мире черной тьмы,
Все ближе грозное: «По коням!»
Ну что ж, мы сменим стих на меч,
Мечты и Псёл возьмем с собою,
И поле праведного боя
Пусть станет местом наших встреч!

1940 год.

Посерели просторы земли,
Как в печали, в тумане долина.
Задрожала калина. И длинно
Прокричали над ней журавли.

Холод лег на луга и на плес.
Столько грусти в полоске рассвета,
Словно клич журавлиный унес
Все тепло и сияние лета.

1938 год.

Перевел с украинского Л. ЗАВАЛЬНЮК.

ТРУДНЫЕ ДНИ ОДЕССЫ

Я приехал в Одессу в конце сентября. Уже был снят санитарный кордон, но на всех перекрестках еще висели знаменитые плакаты «Бойтесь желудочно-кишечных заболеваний» с на-

рисованной на них зловещей мухой.

Итак, кордон был уже снят. Но что-то случилось с одесситами, не знаю, надолго ли, но они, как бы это сказать, не очень рас-

положены были шутить. Нет, это не значит, что одесситы приуныли или потеряли бодрость духа, но так правдивы, казалось, были превратные слухи, что нельзя здороваться за руку, чтобы не переда-

вать при рукопожатии вибрионы, что разговаривать следовало прикрываясь ладошкой, а целоваться — это уж совсем...

То не было следствием паники, охватившей жителей Одессы. Это были лишь меры предосторожности: человек, «подхвативший» вибрион, мог не заразиться сам, но передать его окружающим. В Одессе называли это так: «баццла, которая всегда с тобой». В целях профилактики рекомендовалось принять тетрациклин. Об этом стало известно в первый же вечер эпидемии, а ночью толпы темпераментных одесситов окружили аптеки, ожидая их открытия. Утром тетрациклин продавался на всех лотках, причем не только аптечных. И четыре дня подряд, по три раза в день, вся Одесса глотала тетрациклин.

Для приезжих были созданы обсерваторы. Вы проходили анализы и пили тетрациклин. Через шесть дней, не обнаружив «Эль-Тора», вас отпускали по месту жительства. Обсерваторы были устроены во всех школах, интернатах и санаториях (только один раз одесситы завоновались, когда пронесся слух, что обсерватор устроен даже в знаменитой музыкальной школе Столярского, из которой вышли Гилельс и Ойстрах, но оказалось, что обсерватор организован не в самой школе, а в ее интернате). Уже в первые дни после «закрывания» Одессы выросла очередь в обсерваторы. При этом для некоторых элементов большим соблазном было спереть чемодан у ожидающего в очереди.

В городе был создан комсомольский батальон милиции. Студенты одесских вузов и даже только что зачисленные абитуриенты получили милицейскую форму старого образца, удостоверение милиции и звание ее сотрудников. Освобожденные секретари комитетов комсомола были назначены командирами взводов и получили звания младших лейтенантов. Тем, кто прежде служил в армии, возвращались воинские звания, остальные зачислялись рядовыми. Командиром этого батальона стал «настоящий» сотрудник милиции, а его замполитом — работник горкома комсомола Михаил Лысенко.

— Миша, но оружие вам все же не выдали?

— Совершенно верно. Мы даже принесли клятву, что наше сильнейшее оружие — убеждение. И мы действительно легко доставляли задержанных в отделение милиции.

— Расскажите поподробнее о ваших обязанностях.

— Мы должны были охранять город, охранять море и охранять обсерваторы. Охранять город — это обычная работа милиции, но так как основные силы милиции были брошены на охрану больниц и обсерваторов, мы послали людей в штатском осматривать кварталы, где были случаи квартирных краж. И, например, вскоре задержали парнишку, тащившего ворованный узел. Наши люди также ездили в трамваях для пресечения всевозможных сплетен о холере. Охранять море приходилось потому, что в воде на расстоянии до ста метров от берега был найден «Эль-Тор». А до самой середины сентября температура воды превышала двадцать градусов. Купаться было запрещено, но кое-кто все же пытался. Люди раздевались на пляже, прыгали, пытаясь сделать вид, что хотят согреться, а потом потихоньку влезали в воду, думая, что мы их не видим.

Но как только они это делали, подъезжали наши автобусы, ребята оцепляли пляж, и купающихся штрафовали, а затем направляли на лабораторные исследования. Обсерваторы охраняли с целью не допустить их контакта с внешним миром, иначе вся проверка и обсервация шли насмарку. Были случаи, когда обследуемые пытались выскочить из обсерватора «на волю» — купить себе продуктов или искупаться в море. Мы их ловили и ставляли в обсервацию на повторный срок.

Если находили у них передачи — помидоры там или яблочки «с волю», — тут же опускали в хлорку (передачу, разумеется). Еще труднее было тем нашим ребятам, кто находился внутри.

— А как отнесся к вашему отряду город? Вас все-таки знали — и вдруг вы в милицейской форме...

— Не скажу за весь город, но на моей улице ситуация такая: теперь со мной все здороваются, а у кого есть шляпа — снимают. Мне лично это очень приятно. А некоторым ребятам так понравилась эта форма, что они решили ее вообще не снимать, а для этого остаются в милиции.

— Никто не пытался злоупотреблять формой?

— Однажды наш парень взял такси, чтобы переехать с одного поста на другой. Наездил 30 копеек, оплатить отказался по причине службы в милиции. Шофер привез его к нам, сюда, в пионерский лагерь, где наши казармы. Вот, говорит, возьмите, говорит, не служит ли здесь его папа, а то я подозреваю, что он отцовскую

форму надел — слишком молод на такси «за так» кататься.

На время «закрывания» в Одессе действовало чрезвычайное постановление исполкома горсовета об особой ответственности за нарушение санитарного режима. Так, например, в самые напряженные холерные дни официантка, плохо мывшая посуду, была привлечена к уголовной ответственности. То же случилось и со стюардессой, пытавшейся вывезти из города без справки кого-то из своих знакомых.

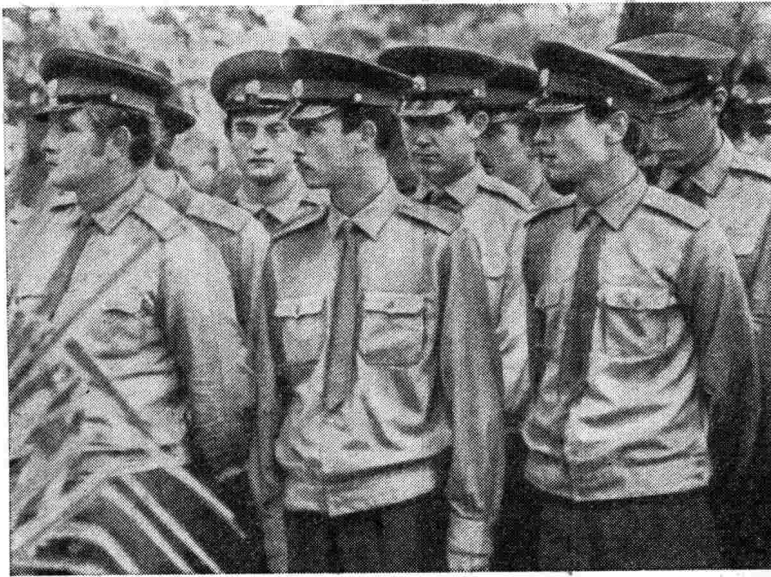
Чтобы избежать большого скопления народа, был закрыт знаменитый одесский «толчок». Но самым большим ударом для одесситов была временная отмена выступлений футбольной команды «Черноморец» в городе. Впрочем, ходили слухи, что холера — лишь предлог, чтобы хотя бы на время уберечь команду от проигрышей на глазах ее болельщиков.

Прилетев в Одессу, я первым делом направился в горком комсомола. Меня удивило вначале, что перед входом стоял бак с хлорированной водой. Тут же висело приглашение вымыть руки. Но я заметил вскоре, что эти чаны стоят всюду: в кафе, в официальных учреждениях — словом, куда бы ты ни пошел. Более того, все ручки дверей были обмотаны хлорированной марлей. Но вообще-то все старались открывать двери ногами. Людям еще не верилось, что с холерой покончено.

Секретарь горкома комсомола Олег Стальниченко сказал мне:

— Тысячи комсомольцев Одессы включились в борьбу с холерой, они не только помогли милиции, но и создали «Комсомольский прожектор», который вскрывал нарушения в санитарном режиме города. Обком и горком комсомола, комсомольские организации на местах руководили этой деятельностью, направляли ее, секретари комитетов подавали личный пример в борьбе с холерой. Напишите обязательно и строительный отряд, который рыл траншею для кабеля от водонапорной станции к электростанции.

Дело в том, что напор воды в Одессе очень слабый, так как ее подают из Беляевки, а это далеко за чертой города. Недавно же выстроенная водонапорная станция не была до последнего времени соединена с электростанцией; прорыть траншею для кабеля было сложно из-за множества коммуникаций, пересекавшихся в этом районе. А вода была особенно нужна в эти тревожные дни.



Вот он, комсомольский батальон милиции.

Поэтому был создан строительный отряд из студентов, которые за месяц ручной работы вырыли траншею для кабеля длиной 3 700 метров, вынимая каждый день по несколько десятков кубометров самого каменистого грунта в Одессе. Этот отряд, так же как и батальон милиции, был добровольным. Им руководил работник горкома комсомола Павел Корененко.

Я попросил главврача городской инфекционной больницы познакомиться меня с кем-нибудь из молодых врачей, отличившихся в августе. Он представил меня Лилии Чешской.

— До этого августа я ни разу не видела холеры, — рассказала она. — Конечно, три раза в год у нас были занятия по борьбе с инфекционными болезнями, но когда мы увидели первого больного, то сначала растерялись. Это были какие-то минуты, но я их по сей день не могу забыть. А тут еще меня назначили заведующей четвертым отделением, которое сначала только и принимало инфекционных больных. Меня и еще одного врача, трех нянечек и трех медсестер прикрепили к двадцати

двум больным. И всех мы должны были поставить на ноги еще до получения первого анализа, то есть не зная, что с ними. Потом, правда, стало полегче: открылись другие отделения, и мы принимали уже самых тяжелых больных, а когда они начинали поправляться, отправляли их к другим врачам.

— Какие дни были для вас самыми сложными?

— Первые. Мы тогда еще не были уверены, как будет проходить эта болезнь.

— Как долго не отходили вы от больных?

— Я жила в больнице с 4 августа по 7 сентября, спала по два часа в сутки, однажды двое суток вообще ничего не ела и, лишь когда все это кончилось, вспомнила, что первого сентября у меня начинался отпуск.

— Было ли вам страшно?

— Да, один раз. К нам принесли мальчика трех лет. Его принесла на руках мать. У него уже наступила клиническая смерть. Мы пытались сделать ему внутривенное вливание, но не могли: настолько сузились вены. В таких случаях

делают венесекцию — вскрывают вены и делают вливание под давлением. При этом должны присутствовать лишь врачи, но мы не могли удалить мать, у нее были такие глаза... Она не ушла до тех пор, пока мальчик не заговорил. И наш доцент... впрочем, не нужно его фамилии... словом, я никогда еще не видела плачущих мужчин, а он тоже никогда до сих пор не плакал.

— Вы, очевидно, очень смелый человек, — сказал я.

— Да как вам сказать. Помню, однажды, еще в конце августа, меня укусила во дворе больницы пчела, и я тогда здорово испугалась.

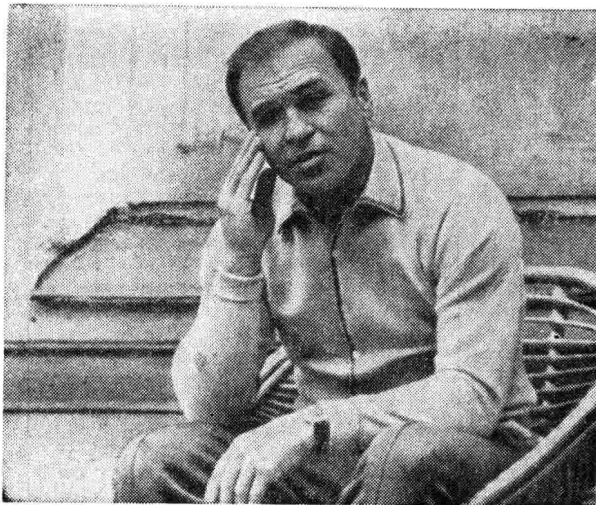
Я, очевидно, допустил неточность в начале своего репортажа, придя к выводу, что одесситы еще не склонны шутить. Улетая из Одессы, я мыл руки хлоркой в буфете аэропорта и тут услышал такой анекдот:

«Встречают одессита в раю:

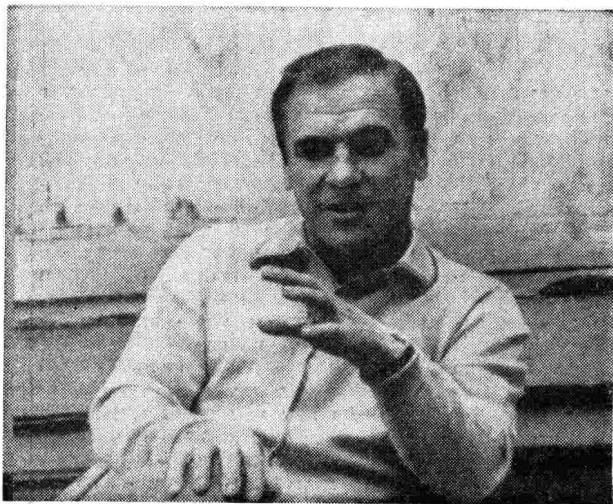
— Ты что, от холеры помер?

— Нет, от хлорки».

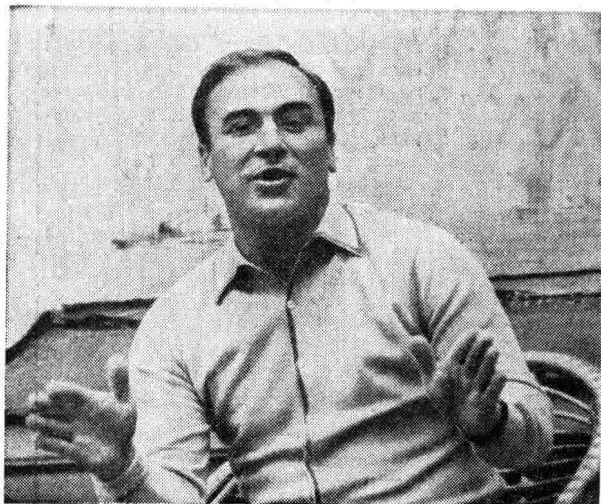
А. ПЧЕЛЯКОВ



«Это сейчас мы на равных...»



«А знаете, что такое в спорте инициатива...»



«Вот ЦСКА — это действительно коллектив...»

Константин Локтев (ЦСКА)
Борис Майоров («СПАРТАК»)

ДИАЛОГ

Хоккеистов Константина Локтева и Бориса Майорова я знаю давно: на своем журналистском веку видел не одну сотню матчей с их участием. С обоими меня связывают дружеские отношения.

Старшего тренера «Спартака» Майорова и тренера ЦСКА Локтева я знаю мало: слишком короток их тренерский стаж.

Люди они очень разные: порывистый, взрывчатый, лишь к тридцати годам кое-как научившийся сдерживать свои эмоции Майоров и никогда не теряющий самообладания, рассудительный Локтев.

Но в одном они схожи. Оба были не только выдающимися, неповторимыми хоккеистами, но и как бы олицетворяли умный, или, как модно теперь говорить, интеллектуальный, хоккей. И Локтев и Майоров играли в составе великолепных троек нападающих и при всей несхожести манеры выполняли одну и ту же функцию: каждый был мозгом своей тройки, организатором и душой ее комбинаций.

Наверное, именно поэтому оба они побывали на посту капитана и в своей команде и в сборной страны. Наверное, поэтому оба оказались теперь у руля управления команд, в которых прошла вся их спортивная жизнь.

Они великое множество раз встречались на поле и как противники и как партнеры. В этом сезоне они впервые встречаются в новом качестве. И вы понимаете, что от исхода матчей этих двух команд будет во многом зависеть судьба золотых медалей чемпионов страны, что именно они, эти матчи, должны, как и во все последние годы, стать самым ярким событием первенства СССР.

Но пока большинство встреч нынешнего чемпионата между ЦСКА и «Спартаком» еще впереди, я решаюсь пригласить двух молодых тренеров к словесному поединку на страницах «Юности».

Е. РУБИН

— Давно ли вы знакомы?

Майоров. Заочно лет, наверно, двадцать. Костято, правда, тогда меня и знать не знал. А я его очень хорошо. Он ведь наш, спартаковский, с Ширяевки. Мы с Женькой, братом моим, мальчишками ходили смотреть игры на первенство Москвы, когда



Фото Жанны Морено.

ТРЕНЕРОВ

клуб наш играл. Локтев выступал сначала в юношах, потом в мужской команде. Это еще в русский хоккей.

Потом исчез куда-то с Ширяевки, мы уж о нем забывать стали. И вдруг опять появился. Но не на Ширяевке, а в Сокольниках. Был он уже в ЦСКА и играл в хоккей с шайбой. Тогда мода была: в перерывах запасные на лед выходят тренироваться. Их называли «неиграющий состав». Костю мы главным образом в перерывах и видели. И очень почему-то мы с Женькой за него обижались: как же это так, наш, спартаковский, и вдруг — «неиграющий состав»! Он, правда, совсем еще молодой был. А в основном составе у них тогда одни знаменитости играли во главе с Бобровым. А еще через пару лет Костя не меньше их знаменит стал.

Ну, а «за ручку» мы познакомились году в шестидесятом. Нашу тройку — нас с братом и Старшинова — приняли в сборную. А Локтев, Альметов и Александров уже назывались «гроссмейстерской тройкой». Откровенно говоря, я перед этим знакомством немного волновался: как все это будет — мы-то новички, ничем еще себя не проявившие. Обидно будет, если так взглянут свысока и небрежно кивнут. Но все обошлось. Поздоровались за руку, как равные с равными. Видно, и они нас все-таки по игре знали и уважали.

Вот так мы и познакомились...

Локтев. А я, не стану врать, не помню ни того часа, ни того дня, когда узнал о существовании братьев Майоровых. Даже года и то не помню. Припоминаю смутно, что где-то кто-то что-то такое говорил, будто появились у Сеглина — он был одно время тренером «Спартака» — два лихих брата. Дескать, много забывают и подают надежды. Я особенно и не прислушивался к этим разговорам. Сколько на моем веку таких вот подающих надежды было, о которых спустя пару лет ни слуху ни духу. К тому же появились-то братья где? В «Спартаке», который тогда где-то на пятнадцатых местах перебивался. А мы что ни год — чемпионы...

Боле или менее пристально стал я приглядываться к первой спартаковской тройке году, наверное, в



«...Очень уж они по-прежнему сильны».



«Спартак» — это вроде особое братство»



«Поверим в себя — победа за нами...»

шестидесятом. Все трое мне понравились: быстрые, техничные и, главное, так сказать, зрячие парни. Но и тут не увидел я в них будущих корифеев. И даже тогда не уверовал окончательно в их силу, когда они вместе с нами на чемпионат мира 1961 года попали.

Уже после понял, какие большие они мастера. И уважал и уважаю Бориса и его партнеров, как выдающихся спортсменов. Что ни говорите, а им было в одном и очень важном труднее, чем нам. ЦСКА всегда был силен во всех звеньях. Что ни игрок, то фигура. А «Спартак» долгие годы был командой одной тройки, тройки братьев Майоровых и Старшинова. Они взвалили на свои плечи огромный груз. И тащили много лет. И в призы свою команду вытаскивали и даже в чемпионы.

А когда лично с ними познакомился, когда перешли на «Боря—Костя», этого, извините, не помню. Когда с Бобровым или Гурьшевым — помню. А с ними — нет. Я ведь в тот момент был для них кто? Фигура, игрок сборной. А они для меня — мальчишки. Как-никак, разница в возрасте с Борисом пять лет. Это сейчас мы на равных.

— Вы чему-нибудь научились один у другого как игроки?

Майоров. Мы оба крайние нападающие. Только он правый, я левый. И оба в своих тройках были разыгрывающими. То есть обычно нам приходилось завязывать атаку. Когда я наблюдал игру Локтева, мне вот что особенно нравилось. Завладев шайбой, он не шел, как большинство краев, в угол чужой зоны, а стремился обострить игру, перевести ее в центр. Обычно он старался прорваться к ближней штанге. Со временем научился так действовать и я.

Середина поля в хоккее — мертвое пространство. Но пройти ее надо как можно быстрее, пока противник не успел организовать оборону в своей зоне. Какой путь избрать? Костя нашел самый стремительный. Получив от защитника шайбу, он в одно касание сильно переправлял ее по диагонали через все поле Александрову. Трудный прием: расстояние-то большое, а времени прилечь, подготовиться к броску — ни секунды. Локтев выполнял его безупречно. Постарался научиться этому и я. Правда, задача у меня была попроще. Шайбу я передавал не с одного края на другой, а в центр, Старшинову, который был поближе ко мне.

А вот умению Кости трудиться в обороне я, хоть всегда этим и восхищался, так и не выучился. Характера, что ли, не хватило?.. Впереди ведь играть интересно, а труд в обороне для нападающего — работа черновая, незаманная.

Локтев. Я, пожалуй, ничего у Майорова не перенял: старший у младшего неохотно учится. Но вот что меня удивляло, когда я наблюдал Майорова. Как бы это выразиться поточнее... Ему шайба вроде бы не мешала совсем. Как бы ее и нет. Или она часть его самого. Он бежал с шайбой, как без шайбы. И останавливался, как и когда хотел. И менял ритм и направление. Он и не смотрел на нее никогда. Голова — вверх, глаза — в глаза противника. Подпустит ему шайбу прямо под коньки и уберет в последний момент. Противник раз ошибется, другой — и проиграл: деморализован.

Понимаете, он благодаря этому качеству был всегда в единоборствах атакующей стороной. Инициатива была в его руках. А знаете, что такое в спорте инициатива...

— Какой матч между «Спартаком» и ЦСКА запомнился вам больше всего?

Майоров. Когда мы у них впервые выиграли. 1959 год. Счет — 5 : 4. Я забил в ворота Пучкова четыре шайбы... Правда, они к тому времени уже стали чемпионами, и результат им был безразличен.

Локтев. Не припомню. Мы ведь с ними в мое время играли довольно легко. Полтора, от силы два периода они еще как-то сопротивлялись. А в третьем мы что хотели, то и делали. Как ни хороша была у них первая тройка, но против такой команды, как ЦСКА, одной тройкой не сыграешь.

Вообще же, когда они стали знамениты, мы с Борисом на поле встречались часто. Это потом наш тренер Анатолий Владимирович Тарасов стал выставлять против них «систему» (так с легкой руки армейского тренера хоккеисты называли тройку Мишаков—Ионов—Моисеев.— Е. Р.). Не думаю, что он перестал доверять нам. Просто он стремился доказать всем — и нам в том числе, — что у нас все сильны и что за «системой» будущее.

А пока мы выходили против первой тройки «Спартак», нам с Борисом приходилось сталкиваться то и дело: мы ведь оказывались с ним на одном краю. Интересно было играть. Никто из нас друг друга не «держал», никто друг за другом не охотился. Тем более что Борис имел в «Спартаке» полную свободу: мог в любую минуту уйти со своего края. Старался друг друга перехитрить. Когда удавалось, я получал большое удовольствие. Например, если случалось загнать его поближе к борту, где располагался Саша Рагулин, Борис стремился проскочить между бортом и Рагулиным. Но тот знает свое дело. И — раз! — впечатан Майоров к борту. А Саша весит около центнера. Ох, и сердился же Боря... Правда, когда научился он вести шайбу, глядя не на нее, а на противника, все чаще и чаще сердиться приходилось уже Рагулину...

— Борис, дайте характеристику команде ЦСКА.

Майоров. О хоккеистах ЦСКА книги написаны. Что я могу добавить?.. Их игровой фанатизм — вот что меня поражает. Вы, должно быть, видели, как перед началом каждой игры они собираются у своего борта. Окружат вратаря, пошепчутся минуту о чем-то, взмахнут клюшками — и поехали... И сразу начинают терзать противника. Некоторые смеются: мол, заклинания, шаманство, все на публику... Неважно, как это со стороны выглядит. Факт остается фактом: заряжаются они на игру со страшной силой. И притом на всю игру и с кем угодно. Мы, например, добьемся преимущества, решим для себя, что победа в кармане, и уже вроде играть неохота. А они до последнего момента трудятся так, будто наверстывают фору. Недаром они всегда больше всех забивают. И в последнем периоде больше, чем в первом.

— Что и говорить, восторженная характеристика. Команда без слабостей — так, что ли?

Майоров. Слабости, наверно, есть. Иначе разве мыслимо было бы с ними бороться? А мы все же боремся. И, бывает, обыгрываем...

Не знаю уж, слабость это или нет, но я, например, всегда знаю, как начнет ЦСКА матч. Мне точно известно, что их тактика простая: сразу «задушить» противника, пока он еще опомниться не успел. Все вперед. И темп, темп, темп. И как можно больше бросков по воротам. И поскорее добиться результата. По ходу игры ЦСКА может и перестроиться и где-то изменить манеру, но начнут они обязательно так. Это почерк Анатолия Владимировича Тарасова. А я сам у него в сборной очень много тренировался и хорошо знаю его стиль.

Вообще-то нетрудно объяснить, чем вызвана такая тактика. Лет, наверно, пятнадцать подряд им у нас в стране некого было бояться. Бывали сезоны, когда они теряли по два-три очка и открывались от второго призера на 15—20 очков. О команде, которая выигрывает у ЦСКА, целый год потом газеты вспоминали. Работы у ЦСКА считалось прямо-таки подвигом. Так зачем же им было ломать голову и приспосабливать-

ся к кому-то? Сразу оглушили противника, деморализовали, посеяли в его рядах панику, тут и бери его тепленьким.

Но теперь и мы вот играем с ними на равных, да и еще некоторые команды подтянулись. Значит, я, скажем, могу уже думать, как построить игру против них, могу решать какие-то задачи, в которых мне хоть одна величина — тактика дебюта — известна.

Только, к сожалению, не всегда это помогает. Очень уж они по-прежнему сильны!

— **Константин, у вас, вероятно, есть свое мнение на этот счет?**

Локтев. Мне в ЦСКА все по душе. Эта команда сделала меня человеком, ей я обязан всем. Я, когда пришел в ЦСКА, был парень безалаберный, несобранный, растрепанный какой-то. Но там таким быть нельзя. Или стань другим, или тебе там делать нечего.

У нас про любую команду принято говорить: «коллектив». А «коллектив» и «команда» — это, по-моему, не одно и то же. Вот ЦСКА — это действительно коллектив. Такой, который способен воспитать, и перевоспитать, и возвысить, и поставить на место. Не игрока воспитать — это само собой, — а человека.

Дело не только в том, что мы команда армейская, и потому дисциплина у нас на первом месте. Такие уж люди с самого начала подобрались, а потом пошло из поколения в поколение. У нас в ЦСКА столько «звезд» перебивало, сколько не было во всех остальных командах, вместе взятых. Но если человек начинает зазнаваться, или изменился в худшую сторону, или играть стал хуже, ему говорят это в глаза. Не шепчутся, не жалуются друг другу: «Вон Локтев-то стоит, а я за него горбатиться должен», — а честно, в открытую, в лицо.

Никогда у нас не было так, чтобы «звезды» кичились перед молодыми или, наоборот, молодые, входящие в силу, — перед ветеранами, которые доигрывают. Нельзя сказать, что все у нас близкие друзья и все друг друга любят, как говорится, до гроба. Люди-то все разные. Разное образование, разные интересы, разный кругозор. И возраст и семейное положение — все роль играет. Но все всегда знают: мы делаем одно общее дело, и каждый должен отдать ему себя до конца. Короче, единомышленники.

Не знаю, может, я ошибаюсь или говорю громкие слова, но я на самом деле так считаю: если и существует какой-то идеал спортивного коллектива, то это команда ЦСКА.

Правда, время идет, меняются поколения. И с приходом каждого нового появляется опасение: а сумеет ли оно сохранить, не разбазарить традиции? Могу сказать с гордостью: мое поколение традиции Боброва и Сологубова сохранило. Сейчас в ЦСКА сложное время: погоду делает молодежь. Но есть ведь и Саша Рагулин, и Витя Кузькин, и Толя Фирсов. Они-то прошли в ЦСКА все огни и воды. Должны же они передать все наше молодым... Верно я говорю?

Борис отметил, что наша тактика порой прямолинейна. В такого рода грехах нас упрекали и прежде. Дескать, не умеем проигрывать, не любим защищаться. Что поделаешь, ни тому, ни другому жизнь не научила...

Ну, а если хотите знать, то и неумение проигрывать и нежелание защищаться всегда были, по-моему, не слабостью нашей, а силой. Или признаком силы. И стремление сразу сломить противника — тоже. Зачем нам было учиться проигрывать, когда мы всегда побеждали? Даже если вначале отстанем на одну-две шайбы, все равно знаем: мы сильнее, догоним и перегоним. Так оно почти всегда и случалось. Наступательная тактика — тактика сильных. Можно спорить, какой счет в хоккее лучше. Например, 2 : 1 или

10 : 5? Соотношение-то одинаковое, но мне больше по душе 10 : 5. И этому нас всегда учили тренеры. Уверен, что и зрителям хоккей, в котором много забивают, хоккей атакующий, больше нравится.

Вспомните, какие были у нас защитники: Сологубов, Трегубов, Сидоренков, Иванов, Рагулин, Кузькин. Они все делали, чтобы отучить нас, нападающих, играть в защите. Они не только сами там справлялись, но и нам еще атаковать помогали.

Но время не стоит на месте. Теперь оборона ЦСКА не так мощна, как когда-то. А остальные команды подросли, хороших форвардов стало много всюду. Так что хочешь не хочешь, а приходится и нам порой держать изнурительную оборону. Хотя по-прежнему мы любим атаковать и стремимся к атаке.

— **А что вы скажете о «Спартаке»?**

Локтев. «Спартакский дух», «спартакский патриотизм» не пустые слова. Каким-то чудом этот дух сохраняется и передается от поколения к поколению с незапамятных времен. И не только в хоккее. Братья Старостины или Николай Озеров давным-давно уже оставили спорт, а для них, по-моему, и сейчас нет большей гордости, чем то, что они спартаковцы. Они об этом никогда не забывают сами и при всяком удобном случае напоминают всем.

Как это достигается? Каким способом передается по наследству? Это для меня секрет. Но такой сплоченности и преданности своему флагу можно только позавидовать.

Есть у них и другая наследственная черта, по крайней мере у хоккейной команды, — слабоватая дисциплина. Не в быту, а игровая, на поле. Так было и в майоровские времена, так осталось и поныне. Тут им до нас далеко.

— **Борис, теперь шайба на вашей клюшке...**

Майоров. Был когда-то «Спартак» слабой командой. Позже вышел в середнячки. Теперь вот ходит в лидерах. Но всегда «Спартак» оставался «Спартаком», всегда был не похож ни на кого. Только на самого себя.

Случается, играем мы вяло, с ошибками, отдаем инициативу, все идет плохо. Вроде и надеяться не на что, мальчишки приуныли... И вдруг поймали свою игру. Снизолло вдохновение. Тогда конец. Тогда нет для нас соперников. Пусть против нас команда на голову выше, это никакого значения не имеет, любую разнесем. Потому в нашей истории и красивых матчей больше, чем в истории любой другой команды. Потому и сенсаций от нас всегда публика ждет, и мы ее обычно не обманываем.

Взять хоть сезон 1962 года. Состав — все больше мальчишки. Многие потом рассеялись по слабым командам, да и в них-то удержаться не смогли. А мы вдруг взяли да и выиграли первенство. ЦСКА, «Динамо» — всех позади оставили...

Это и есть «Спартак»!

Может, это тоже мистика, но мне кажется, что «Спартак» — это вроде особое братство, принадлежать к которому — особая честь. Если я не прав, то почему же тогда от нас никто и никогда добровольно не уходит? На скамейке сидит, в глубоком запасе, но не уходит. Ладно, сейчас другое дело: сейчас спартаковец — значит, без медали не останешься. Но так ведь не всегда было. Но не уходил никто. Разве только Фирсов. Но он ведь тогда совсем еще мальчишкой был — девятнадцатилетним...

А слабость?.. Очень уж много у нас в игре импровизации, и очень уж все мы самостоятельные.

Импровизация — это, конечно, хорошо, это значит, игрок думает. И вообще импровизируют хоккеисты незаурядные. Но все хорошо до разумных пределов.

Попробуй, например, заставь Женю Зимина или Сашу Якушева трудиться в обороне или вообще огра-

ничить их какими-то рамками... А надо. Хоккей становится все труднее и требует все большей строгости.

— Вашим командам предстоит в этом чемпионате пять раз сыграть друг с другом. Что вы, тренер, считаете наиболее важным для успешной подготовки своей команды к каждому из этих матчей?

Майоров. Внушить ребятам мысль, что мы не слабей их.

А что, скажете, слабей? Конечно, нет. У нас сейчас «шадринская» тройка Михайлову, Петрову, Харламову не уступает? Не уступает, даже наоборот. А молодые — Крылов, Севидов и Климов? Они против кого хотите сыграют. О первой тройке я уже не говорю, в ней Старшинов с Зиминим — это же «звезды»...

Но уж так сложилось — слишком долго ЦСКА господствовал в хоккее, — что все их немного побаиваются. Ничего не понимаю — авторитет. Но и мы ведь за последние четыре года дважды первенство выигрывали. И баланс встреч за эти годы в нашу пользу. Значит, пора поверить в себя. Поверим, — победа за нами. А чтобы поверили, — тут от тренера многое зависит.

Локтев. Самое важное, во-первых, настроить ребят на трудную игру, внушить мысль, что для победы надо выложиться до конца, а то ведь мы часто переоцениваем свои силы, а во-вторых, подвести ребят к матчу в очень хорошем настроении, чтобы хотелось играть, чтобы рвались на лед, чтобы не думали об игре как о тяжелой и неприятной обязанности.

— Что дал вам в этом смысле первый матч между «Спартак» и ЦСКА в нынешнем сезоне — матч на приз «Советского спорта», который закончился победой «Спартака» со счетом 6 : 4?

Майоров. Лично мне он должен сослужить добрую службу. Ребята лишний раз убедились, что с ЦСКА можно сражаться. Он и сложился-то, словно нарочно, так, чтобы подтвердить эту мысль. Три раза они выходили вперед, и три раза мы их догоняли. А ведь когда-то никому такое было не по силам. Пожалуй, и «Спартаку», когда играла наша тройка.

Ну и, конечно, выявил тот матч какие-то недостатки в нашей подготовке к сезону. Ну, да бог с ними, с недостатками. Главное, победили ЦСКА. А это всегда приятно. И первое соревнование сезона выиграли. Тоже неплохо.

— А у вас, Константин, после этого матча настроение, вероятно, было неважное?

Локтев. Ничего страшного. Игра-то была равной. И две лишние шайбы забили они в добавочное время. Учтите при этом, что мы играли плохо, гораздо хуже, чем можем. По существу, у нас прилично сыграла только одна тройка — та самая «система», которую многие считают слабой. Уже хорошо: выявилось, что Моисеева с Мишаковым рано списывать в тираж.

— А почему остальные сыграли плохо? Они ведь все из сборной СССР...

Локтев. Я же вам говорил: игра у нас со «Спартак» может получиться только в том случае, если все выйдут на поле в хорошем настроении. А тут вроде бегали, пасовали, били по воротам. Но все это без души. Вот и проиграли. Ничего, может, это и к лучшему: другой раз серьезнее будут.

— Итак, у вас в этом сезоне пять встреч на чемпионате страны. Какой общий счет вас устроит?

Майоров. 3 : 2 в нашу пользу, и я буду вполне удовлетворен. Нам шесть очков, им четыре...

Локтев. Несколькими годами назад я сказал бы примерно то же самое. Я бы рассуждал так: мы имеем преимущество в два очка, которое если и не увели-

чим, то сохраним до конца; больше-то проигрывать никому. Но даже возьмем худший случай: они нас догонят. Тогда переигровка. Ну, а чтобы они у нас еще и переигровку выиграли, — это уж и вовсе невозможно.

Теперь у нас восемь очень сильных противников — все команды высшей лиги. Дать бой способен каждый. Всего 40 матчей. И все 40 со «Спартак», потому что каждая победа приносит дорогие два очка в соперничестве с ним. Да и не только с ним. Вовсе не исключено, что в борьбу на самом высшем уровне включатся еще команды. «Химик», «Динамо» или ленинградский СКА, например.

— И кто же в итоге этой борьбы станет чемпионом СССР по хоккею?

На этот вопрос кое мои собеседника ответили единодушно и категорически:

— Не знаем.

Что ж, будем считать, что словесный поединок Локтев (ЦСКА) — Майоров («Спартак») закончился вничью. Стороны охотно говорили о достоинствах друг друга, но оказывались куда более осторожны и немногословны, когда речь заходила о взаимных шансах и о прогнозах.

Все объясняется просто: они тренеры, и свои главные козыри предпочитают выложить не в словесной дуэли, а в поединке на льду.

Р. С. В конце сентября, когда номер уже верстался, ЦСКА и «Спартак» сыграли первый из пяти матчей на чемпионате страны. Со счетом 5 : 2 победил ЦСКА.

Локтев шел позади своей команды. Всегда сдержанный, он на этот раз и не пытался скрыть своих чувств.

— Ничего не знаю... Ничего не могу сказать... Надо подумать... Вспомнить все, разобраться... А сейчас голова даже кружится... Настроились? Настроились, конечно.

Тут он поднял вверх указательный палец и склонился ко мне:

— Настроились, но не до конца. Можем и еще почище настроиться. И в следующий раз постараемся. На скалах Майорова ходили желваки.

— Сейчас зайду в раздевалку, успокою ребят, потом поговорим.

«И сам немного успокоюсь», — хотел он добавить, как мне показалось. Из раздевалки он вышел действительно уже совершенно спокойным, но произнес первую фразу и взорвался:

— Почему проиграли? Не повезло. Женька Зимин травму получил. Это что — шутка? И Маркова сломали. Сразу первой тройки нет. В таком матче! И все равно могли выиграть! Первый период в одни ворота играли, мимо пустых били. Должны, должны, должны были выиграть! Но ничего, все еще впереди...

Р. С. В начале октября ЦСКА и «Спартак» еще дважды встретились в финале Кубка европейских чемпионов. Первый матч со счетом 3 : 2 выиграл «Спартак». Второй сложился драматично. При счете 0 : 2 «Спартак» забросил четыре шайбы подряд. Затем команды обменялись голами. И снова серия из четырех шайб, но — в ворота «Спартака». Выиграв со счетом 8 : 5, Кубок завоевала команда ЦСКА.

Сразу после матча:

Локтев. Я уверен, мы сильнее... Сильнее по всем статьям. И игроки у нас лучше, и команда в целом... Почему пропустили четыре шайбы подряд? (Разводит руками.) Сам не пойму. Да и какая разница? Победил сильнейший — вот и все.

Майоров (в азарте). Две шайбы в наши ворота были заброшены ногой: четвертая и пятая. Победать ЦСКА мы можем, это показал первый матч, да и второй тоже.



Наташа Хмелик,

ученица 9-го класса

Две истории

Рисунки Г. Саевича.

ЦЫПЛЕНОК

Цыпленке я узнала поздно вечером. Сережка позвонил и спросил:

— Как живешь?

Я сразу почуяла неладное. Сережка не человек, а сплошные неожиданности. Все люди живут: дом — школа, школа — дом, иногда кино. А он сразу в ста местах и везде с приключениями.

— Хочешь, я подарю тебе живого цыпленка? — спросил Сережка.

— Так бы сразу и сказал. Не нужен мне цыпленок.

— Подумай до завтра, — сказал Сережка. — Мы с Яровым купили его в зоомагазине.

— А зачем покупали? — спросила я.

— Хотели купить два мороженых по девятнадцать. На одном углу нету, на другом — нету... Смотрим: зоомагазин, а там цыплята. И цена — тридцать восемь копеек. Мы так обрадовались, что сразу зашли и купили цыпленка.

— Безответственные люди, — сказала я. — Хорошо, что у вас было только тридцать восемь копеек, а то бы вы целый курятник купили.

— Моя мама то же самое говорит, — вздохнул Сережка, — а цыпленок орет без остановки.

— Вези к Яровому, — сказала я.

— К нему нельзя: у него кошка. Хочешь послушать, как пищит?

В телефоне заскреблось, а потом запищало, как тихие гудки «занято».

— Ладно, вези, — сказала я, — обормот несчастный. Я подарю его завтра Артему.

— Какому еще Артему? — спросил Сережка.

— Ему восемь лет, но он очень хороший человек. Завтра у него день рождения. Только у Артема тоже кошка.

— Ничего, — заторопился Сережка, — цыпленок в коробке. А кошку можно выгнать на лестницу.

— Так! — разозлилась я. — А что же твой Яровой не выгонит свою кошку на лестницу?

— У Ярового еще собака, — грустно сказал Сережка, — понимаешь, собака, белка и птицы. И вообще у него сложный дом.

— У всех сложный дом, — сказала я.

— Значит, я завтра привезу?

Видно, Сережка боялся, что я передумаю.

Цыпленок сидел в глубокой коробке из-под лимонных долек. Это был желтый помпончик на двух спичечках. Он пищал не то весело, не то печально. Сережка сказал:

— Он ест крутые яйца.

Я сварила яйцо.

Цыпленок пищал, когда я варила, пищал, когда ел, и потом тоже пищал.

— Ему холодно, — сказал Сережка.

Я взяла цыпленка в руку, он нисколько не весил. В руках он замолчал.

— Понимает, — засмеялся Сережка. — А всего-то три дня.

Цыпленок снова запищал.

— Понесем скорей. — И Сережка стал натягивать куртку.

Артем живет близко. Когда мы шли по улице, все на нас оглядывались. Артем встречал нас около парадного.

— Где цыпленок? — закричал он и схватил у меня коробку.

— Ну, я пошел, — сказал Сережка.

— Что ты! Пойдем ко мне на день рождения. — Артем побежал наверх, мы пошли за ним. На лестнице цыпленок кричал особенно громко.

На столе стоял большой круглый поднос, к нему было приклеено восемь свечек. Сережка достал из кармана синий фламастер.

— Это подарок, — сказал он. — Спасибо, — ответил Артем, не отрывая глаз от цыпленка.

Тут пришли Алик и Саша из Артеминого класса. Они были очень нарядные, приглашенные, оба принесли книги и сразу стали разговаривать про Жюль Верна. Артем понесся на кухню варить яйцо. Сережка схватил за шиворот строптивного черного кота и по-хозяйски выкинул его на лестницу. Изумленный кот стал ломиться в дверь.

— Еще не хватало, — сказал Сережка, вышел на лестницу, вцепился в когти и унес его во двор. Кот махал лапами, как будто плавал.

Потом мы все сидели за столом. Артем включил проигрыватель, и мы пили чай с конфетами.

— Я научу его летать, — сказал Артем и погладил цыпленка пальцем.

Артем держал на ладони накрашенное яйцо, а цыпленок неуверенно клевал и часто промахивался. Артем хохотал от удовольствия и от щекотки.

Потом мы с Сережкой немного потанцевали, а ребята смотрели на нас.

— У меня есть заводной робот, — сказал Артем Алику. — Хочешь, возьми.

Робот был зеленый с разноцветными кружочками на животе. Сережка завел его ключом, и робот беззвучно пошел по комнате, как на лыжах.

— Его будут звать Цыпа, — сказал Артем про цыпленка. — Выключи музыку: он, наверное, боится.

Мы засобирались по домам. — Хороший был день рождения, — сказала я Артему. И он улыбнулся.

Мы с Сережкой шли по нашей улице, он подшибал ногами ле-



дышки, и они далеко катились по сухому асфальту.

— А этот Артем, он действительно ничего.

Я не ответила. Мне вдруг стало жалко Артемку. В первый раз за все время я подумала: «А вдруг цыпленок не выживет? Ведь тогда получится, что я подарила ему на день рождения горе».

Два дня я не звонила Артемке — боялась. Потом позвонила. Его не было дома, подошла Артемкина мама.

— Цыпленок? — сказала она очень спокойно. — А он улетел. Ты не огорчайся, ведь его купили по ошибке.

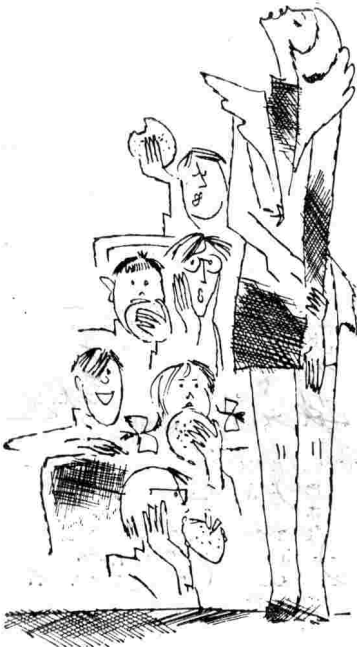
— Как улетел?

— А так... Прыгнула на подоконник, я оглянуться не успела, а он уже крыльями в воздухе машет.

Мне стало очень грустно. Я поняла, что Артемкина мама считает меня маленькой и не хочет рассказать мне то, чего я так боялась.

НА НЕРВНОЙ ПОЧВЕ

Я шла по коридору с булками, потому что наш класс собирался на доклад. Доклад предстоял длинный, булки могли стать нечаянной радостью. И тут на меня выскочил ответственный редактор стенгазеты. У ответственных редакторов всегда нагото-



ве задание. Это — необъяснимое явление природы.

— В зале проходит конкурс чтецов. Ты иди скорее, напишешь репортаж в номер.

Так с булками я попала в зал. Народу было полно, несколько девочек из нашего класса обрадовались мне, как родной. Булки все-таки...

На сцене мальчик класса из шестого с чувством читал стихи, остальные ждали своей очереди или уже выступили. Перепутать их было трудно. Одни сидели напряженные и волновались. Другие независимо поглядывали по сторонам, делая вид, что не происходит ничего особенного. Наши девочки, которым предстояло читать, были в полубормочном состоянии. Одна повторяла шепотом все время одну и ту же строчку, а вслух говорила с вытаращенными глазами:

— Дальше я, честное слово, заблуда... Дальше я, честное слово, заблуда...

Я смотрела на нее и думала, что есть же люди, которые без страха выходят на сцену, и читают стихи, и даже пляшут, и никого на свете не боятся. А тут мается человек, все слова забыл от страха, и надо его спасать. А тут еще подружки стали подталкивать меня локтями и намекать про комсомольскую взаимовыручку, про честь класса и про чувство товарищества. Я заколебалась. И тогда прозвучал последний аргумент:

— У тебя же есть любимые стихи! У людей нет, а у тебя есть!

Я отдала девочкам булки подержать и пошла к сцене. Любимые стихи прыгали у меня в голове, строчки перетасовались, как карточки в подкидном. Но пути назад не было. Я смотрю в зал и не различаю лиц, начало стихов говорю не своим голосом и сама удивляюсь, что еще могу говорить. До чего же страшно стоять на сцене, когда все внимательно и сочувственно смотрят на тебя, их много, а ты, что там ни говори, одна! Монотонно, со скрипом дотягиваю стихи до конца, на ватных ногах ухожу со сцены. Чтобы я еще когда-нибудь...

Только на своем месте я перевожу дух. Девочки восторженно трясут меня за плечи. Потом смущенно признаются:

— Булки мы съели. На нервной почве.

Репортажа с конкурса у меня не получилось. Я ничего не видела и ничего не слышала. Наверное, не всегда полезно репортеру менять профессию.

Евгений Шатко

случай

Поздно вечером в день собственного юбилея романист Артемий Умоев после поздравлений и объятий нечаянно забрел в буфет. Он попросил бутылку пива, сел за столик и задремал.

Вдруг бледный человек с волосами ежиком быстро подошел к романисту. Умоев вздрогнул — перед ним стоял персонаж первой книги его нашумевшего романа «О Север, Север!» технолог Се-рафим Мялкин.

— Вы меня узнали? — застенчиво спросил Мялкин.

Изумленный Умоев пожал руку, поросшую рыжим волосом, тем самым, который он описал во второй главе.

— Я к вам по личному вопросу, — сказал Мялкин и замаялся. — Дело в том, что я не могу любить Ингу!

— Какую Ингу?

— Лаборантку из цеха химикалиев. В конце первой книги вы сблизили меня с ней на уборке картофеля. Помните?

— Еще бы! — гордо сказал Умоев. — Вы влюбляетесь друг в друга, когда вместе несете ботву... Сцена писалась на большом нерве! Все вот откуда! — Умоев ткнул себя пальцем между грудью и животом. — Критика находит в этой сцене шекспировские страсти и левитановские краски огороженного пейзажа.

— Краски не помню, — сказал Мялкин. — А с Ингой не могу. У меня семья.

— Вы же бросаете семью ради Инги! — напомнил Умоев.

Рисунки
И. Оффенгендена.



С романистом

— Не пойдет,— упрямо сказал Мялкин.— И плохо вы Ингу знаете. Ей Самсонова подавай, шофера автобазы!

— Самсонова я ей не подам! — вспылил Умоев.— Во второй книге он уйдет на профсоюзную учебу!

— Пустите Ингу за ним! — попросил Мялкин.

— Нет, она потянется к вам, ломая все предрассудки!

— Хозяин — барин, конечно, — уныло сказал Мялкин.— Только я семью не брошу.

Умоев потрепал Мялкина по коленке:

— Ты, Серафим, во второй книге сломаешь тесный мещанский мирок, которым окружила тебя Катя. Ведь тебя почти физически душит запах ее помады. Учти, это художественная находка, и таких у меня много! А Инга распахнет перед тобой мир с его многогранностью! Она увлечет тебя в поход по глухим деревням Севера, где вы будете возрождаться, искать древние иконы, туеса, прялки.

Мялкин нагнул голову, плечи его задрожали.

— Детей жалко,— вдруг проговорил он глухим, мокрым голосом.— Олюшку и Николая. Вы уж, Артемий Филиппович, кого другого за прялками пошлите.

— Да, детей где-то жалко,— согласился Умоев.— Но вторую книгу жадно ждет литературная общественность! Критик Сулико

Козлов уже написал статью о второй книге — только это между нами.

— И жена вас просит! — горько воскликнул Мялкин и, обернувшись, позвал: — Катюша, подожди!

К столику робко подошла румяная супруга героя и протянула ладонь лодочкой:

— Очень просим вас, Артемий Филиппович, от лица детей.

— Ох, как я тебя понимаю, Катя! — дрогнувшим голосом сказал Умоев, наливая пиво в стакан.— Присядь. У меня у самого сын от рук отбил, дружинником не хочет быть! А как ваша Ольга поживает?

— Учится слабенко, как вы написали,— сказала Катя.

Мялкин вдруг встрепенулся:

— А ведь мы прибавления семейства ждем, товарищ Умоев.

Артемий Филиппович возмущился:

— Позвольте, как же это? Этого у меня во втором томе нет!

— Игра природы, — скромно сказал Мялкин.

— Это — даже хамство! — сказал Умоев обиженно.— Да вы что? Это я отменяю!

Катя в испуге схватила супруга за рукав.

— Отодвиньтесь от жены, Мялкин! — приказал Умоев.— Она вам далека и чужда! Роман закончен, и аванс получен! Ничем помочь не могу!

— Да мы возвратим аванс! Мы займем, и я ночные дежурства в поликлинике возьму! — радостно воскликнула Катя.— Вы и товарищу критику его долю вернете!

Умоев задрожал и даже толкнул стул:

— Да вы, собственно, знаете, кого вы и на что толкаете? Да на мне городской психологический роман держится! Я первый во второй обойме! Да как вы, собственно, сюда проникли, в спецклуб, на спецбал?

Супруги Мялкины оробело встали из-за стола.

Умоев бодро сказал:

— Летите, мчитесь, Мялкин, на свидание с Ингой и покупайте лыжи для похода! А вы, Катя, идите стирать.

Мялкин отпустил руку жены, побрел к выходу, обернулся и попросил Умоева:

— Разрешите тогда... Катюша мне разок напишет, как там у Николеньки оспа прививается.

Умоев хотел удержать Мялкина, дернулся и... проснулся. Никого... Он сидел один на один с бутылкой пива.

— Многовато, видно, я выпил... этого... крепкого... кофе, когда круглые сутки над Мялкиным работал,— пробормотал Умоев.— Забираю семью и еду на Минеральные Воды. Литература литературой, а детей где-то жалко...



КАКОВ ВОПРОС - ТАКОВ ОТВЕТ



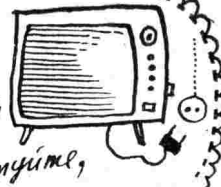
**ВИКТОР С-ЕВ,
С. КАМЕНКА**
*Уважаемая Галка!
Что делать, если у этого
века детский почерк,
и не очень красивый,
а надо писать любов-
ные письма?*

ОТВЕТ:
УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР!
РАЗ НАДО ПИСАТЬ - ПИШИ.
НЕСМОТЯ НА ДЕТСКИЙ ПОЧЕРК,
ТЕБЯ ПОЙМУТ. ЕСЛИ, КОНЕЧНО, ОБЪЕКТ
ТВОЕЙ ЛЮБВИ УЖЕ УМЕЕТ ЧИТАТЬ.



**ОЛЯ Л-НА,
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ.**

*Милая Галочка!
Неделю тому назад я включи-
ла телевизор и увидела Николая
Смигунко. С тех пор он всегда
перед моими глазами. Посоветуйте,
как избавиться
от этого.
Как поступить?*



ОТВЕТ:
**ВЫКЛЮЧИТЬ
ТЕЛЕВИЗОР.**

**ПЕТР М-ИН,
Г. ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК.**

*Галка!
Я отпустил длинные волосы.
Мне это очень нравится, а ма-
ме не нравится. Она даже грозит
подрезать мне волосы, когда
я буду спать.
Что мне делать?*

ОТВЕТ:
БОДРСТВОВАТЬ

**НОННА А-КО, ТАНЯ Ш-ВА,
Г. МАКУШИНО**

*Дорогая Галка!
Пишут тебе две
подружки. Мы только
набали носите мини-
юбки, а уже говорят,
что в нынешнем сезоне
модны макси. Как нам
быть?*

ОТВЕТ:
ДОРОГИЕ ДЕВОЧКИ!
ИЗ ВАШИХ ДВУХ МИНИ-ЮБОК
СШЕЙТЕ ОДНУ МАКСИ И НОСИТЕ
ПО ОЧЕРЕДИ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ.

АЛЬБЕРТ П-КО, Г. ХАРЬКОВ.

*Уважаемая Галкина!
Мне очень хочется узнать,
как выработать легкую походку.
Все редакция и на радио,
минимум по этому вопросу
но еще не получила ответа.
Я спрашиваю теббя,
Галкина, как вы-
работать такую
походку?*

ОТВЕТ:
УВАЖАЕМЫЙ П-КО!
КАК ТЕБЕ НИ ТРУДНО, ПОСТАРАЙСЯ ХОТЯ
БЫ В ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ НЕ
ПИСАТЬ В РЕДАКЦИИ. ТЫ СРАЗУ ПОЧУВ-
СТВУЕШЬ, КАК У ТЕБЯ ПОЯВИТ-
СЯ ЖЕЛЕЗНАЯ
ВОЛЯ.

КАТЯ В-ВА, Г. МОСКВА

*Дорогая
Галка Галкина!
Недавно я заметила что очень постопа
на ноги лопят. С каждым днем это
сходство все увеличивается. Я не
знаю что мне
этим делать.*

ОТВЕТ:
**НИКОМУ ОБ ЭТОМ
НЕ ГОВОРИ.
АВОСЬ НЕ ЗАМЕЯТ...**



И снова на стендах «Юности» произведения молодых художников — Гарифа Басырова, Ирины Большаковой, Евгения Струлева. Эта экспозиция не совсем обычна, она совпала с 15-летием журнала. Во многих номерах, вышедших за это время, «Юность» знакомила читателей с молодыми художниками. Число выставок на стендах журнала перевалило за тридцать. Не только москвичи, но и многие из художников Азербайджана, Армении, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Якутии впервые увидели свои произведения опубликованными на страницах «Юности».

Гарифу Басырову, два года назад окончившему художественный факультет ВГИКа, нынешняя выставка поможет определить только еще начинающийся путь в искусстве. Художник по преимуществу работает в графике: его офорты, темперы, рисунки пером к произведениям современных писателей отличает вдумчивый подход, желание охватить целое, не упуская из виду и деталей. Говорить о Басырове как о художнике со своим сложившимся стилем сегодня еще рано, хотя некоторые особенности его творческого почерка можно проследить по тем работам, которые выставлены, и по тем, что я видел в его мастерской.

Обладая хорошим чувством цвета, умея выстроить композицию, Басыров обращается к жанровым сценам, с удовольствием рисует московские улочки, старинные переулочки, его влекут темы спорта, уличные типажы. Художник идет за своими впечатлениями, отбирая то, что, на его взгляд, может иметь более широкое звучание, типические черты. Мы всегда ищем в искусстве то, что ближе каждому из нас, что при всей конкретности имеет как бы общечеловеческий смысл. У Басырова такие работы есть. Это прежде всего серия листов «Микрорайон». В них привлекает умение автора передать психологическую характеристику героев, создать точную атмосферу действия.

Ирина Большакова обладает гораздо большим опытом. Строй ее работ прост и ясен, она не стремится к эффектности, иногда даже кажется, что ее листы нарочито упрощены. Но эта «упрощенность», пожалуй, естественна. В работах Ирины Большаковой самая сильная сторона ее творческой индивидуальности — глубокая лиричность.

Художник стремится уловить и передать характер природы даже в небольших, камерных зарисовках. Она любит и хорошо чувствует пейзаж. В листах Большаковой есть свой ритм, своя мелодия. Мотивы и сюжеты, к которым она обращается, самые незамысловатые: луг и поле, небо и цветы. И композиции она умеет организовать очень органично, без напряжения, словно перенося на лист природу так, как она увидена. На выставке представлено много портретов И. Большаковой. Мне кажется, что они менее удачны, чем пейзажи. В них есть элемент необязательности, хотя в некоторых красивый силуэт, подвижность формы помогают точному пластическому решению.

Одна из лучших работ на выставке, с которыми выступила И. Большакова, — ее «Обнаженная». Живопись рисунка, высокий профессиональный уровень

На стендах
«ЮНОСТИ»

Григорий Анисимов

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ

исполнения, насыщенность цвета — все слито здесь воедино, создавая энергичный, выразительный образ.

Красивы и декоративны пейзажи «Таруса. Вечер», рисунки пастелью, такие, как «Туристы»; изобретательно работает И. Большакова в литографии.

Евгений Струлев — один из своеобразных представителей талантливого поколения художников, которые пришли в искусство в последние несколько лет.

Он окончил Суриковский институт по театральной мастерской В. Рындина. Его имя запомнилось многим еще по талантливому диплому — декорациям к «Катерине Измайловой» Д. Шостаковича и триптиху, показанному на одной из молодежных выставок. Кое-кто находил в его работах сильное влияние Шагала, русского лубка, искусства примитивистов. По-видимому, в этом доля истины была, да и сам художник не отрицал своих симпатий. Однако то, на что поначалу ориентировался Е. Струлев, постепенно уходило в сторону, нужно было нащупывать свое, прокладывать маршруты, по которым еще никто не прошел. Большая работоспособность Струлева, живописный талант, постоянно пополняемый запас наблюдений, впечатлений, переживаний — все обещало привести к успешному развитию молодого художника. Выставка в «Юности», на которой Струлев показал в основном серию работ, посвященных русским народным песням, еще не дает полного ответа на вопрос, нашел ли художник себя. По складу своего характера Струлев — истинный сын деревни. Он пишет ее многократно, постоянно. В его деревенских работах много свежести, эмоциональности, простора и свободы, юмора и фантазии. В картинах Струлева мечта органично сплавляется с реальностью — и в этом художник находит устойчивость, незыблемость формы. Яркость своего видения мира он хочет воплотить средствами предельно емкими и выразительными. Он мастерски, с большой выдумкой компокует, деформируя, фигуры в разных перспективах. Смело использует Струлев изобразительные метафоры, символы.

Из работ Е. Струлева на выставке наиболее интересны, на мой взгляд, «Скоро свадьба», женский портрет, «Художник». Значительность происходящего в этих картинах действия заключается в привлекаемости человеческой жизни, образов людей, которых художник несколько идеализирует, относясь к ним с большой добротой, задушевностью. Для него одна деревенская девушка — Офелия, другая, увиденная на току или сенкосе, — Джульетта. Все они русские, милые, привлекательные. Колорит картин Струлева тоже русский, его любимый цвет отвечает цвету нашей природы: синька — неба, зелень — лугов, алый цвет — зари, малиновый — заката, белый — от берез, охры — от земли. Надо сказать, что в чем-то Струлев утратил те пластические качества, которые у него были в ранних работах.

Но что бы ни говорили о молодых художниках, нельзя забывать: они молоды, их достоинства, надо полагать, со временем усилятся, а недостатки уменьшатся, потому что каждый из них работает в искусстве по велению души.



И. БОЛЬШАКОВА.



Артек. Г. БАСЫРОВ.

Вечер. Из серии «Старая Москва».

На стендах
«ЮНОСТИ»

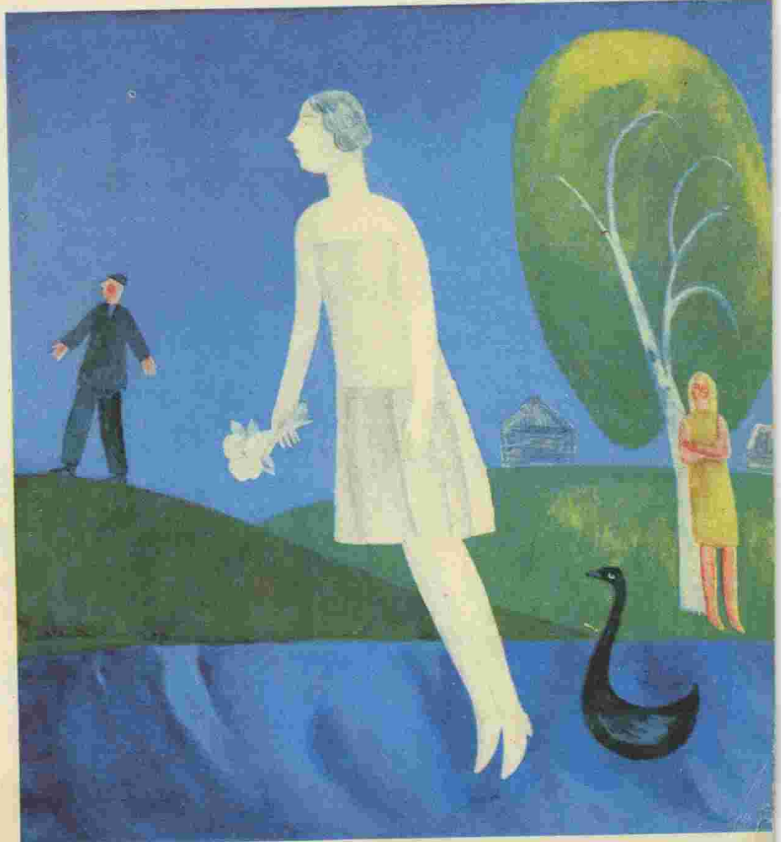
**Молодые художники
Москвы**

Г. БАСЫРОВ.

И. БОЛЬШАКОВА.

Е. СТРУЛЕВ.

*исполнено
Машей.*



Е. СТРУЛЕВ. Свидание.



Цена 40 коп.

Индекс 71120